



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года  
САРАТОВ

*9-10 (488)*

---

2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Богдан Агрис.</b> «На нитевых и ломких подосновах...» и др. стихи.....	3
<b>Иван Макаров.</b> Царь Горохов. Рассказ.....	7
<b>Дмитрий Замятин.</b> Создатель холмов. Стихи.....	29
<b>Дмитрий Брисенко.</b> Украденные и перемешанные тексты.....	38
<b>Каринэ Арутюнова.</b> На улице Белой Королевы. Записки из заточения.....	42
<b>Данил Файзов.</b> «ровно то стихотворение которое мне сегодня необходимо...» и др. стихи.....	55
<b>Александр Мендыбаев.</b> Скамейка. Повесть.....	58
<b>Данила Давыдов.</b> «изрядно удивительного вдруг...» и др. стихи.....	81
<b>Вера Сорокина.</b> Питерская Одиссея. Рассказ.....	85
<b>Евгений Стрелков.</b> «Макарий» и др. стихи.....	92
<b>Владимир Тучков.</b> Милка. Первый бобровый поход. Рассказы.....	97
<b>Сергей Слепухин.</b> «Во сне полустёрт отпечаток эстампа...» и др. стихи.....	110
<b>Дмитрий Раскин.</b> Доцент Болдин. Рассказ.....	113

### ПЕРЕВОД

<b>Георг Хайм / Georg Heym (1887–1912).</b> «Морские» стихи Перевод, комментарии Алёши Прокопьева .....	120
--	-----

### ПУТЕШЕСТВИЕ

<b>Михаил Бару.</b> Четыре конца китайки синей.....	148
---	-----

### ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

<b>Данила Давыдов.</b> Странная рецензия про все на свете и немного про книгу (Евгений Сулес. Письма к Софи Марсо).....	178
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<b>Борис Кутенков.</b> В каждом нерве бытия О кн.: Ольга Балла. Сквозной июль. Из несожжённого; Ольга Балла. Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия; Ольга Балла. Библионавтика: Выписки из бортового журнала библиофага.....	185
<b>Наталья Черных.</b> Тройная оптика одного романа с Бродским О кн.: Вадим Месяц. Дядя Джо. Роман с Бродским.....	189
<b>Ольга Бугославская.</b> ...And Justice for All О кн.: Лев Гурский. Министерство справедливости.....	191
<b>Денис Липатов.</b> На лунных батарейках О кн.: Ильяслав Винтерман. Пчеловек: Сборник стихотворений.....	193

### В СВОЕМ ФОРМАТЕ

<b>Сергей Боровиков.</b> Саратовцы.....	197
---	-----

### ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

<b>Алексей Голицын.</b> Дворянин Юстицкий и беспризорник Горшенин. Несостоявшийся побег из Саратова через афганскую границу .....	208
--	-----

## Богдан АГРИС

\*\*\*

На нитевых и ломких подосновах,  
где рай кузнечика понятен с полуслова,  
а тонкие дрозды восходят по кривой  
в сей воздух матовый, в свой образ вечевой –  
так вот, на этих всходах нитевых,  
где книги греются на птичьем солнцепёке,  
вдруг вырвется объём невиданной сороки  
звончее тетивы.

На сложенных дубах начатки и азы.  
Сорока имя произносит  
и смотрит в зеркало, и только оком косит,  
и дарит нам такой отчётливый язык,  
в котором высветится осень.

В сорочьи отсветы давно одеты мы.  
Сырое утро, но простое.  
О, как не выходить на стогны травостоя  
в канун святой зимы.

\*\*\*

Это город, отцветший во внутренний снег.  
Это оттиск скворца на оскомине век.

А окрест обрисованы древние боры  
с восковыми метелями в душных проборах.

На пути человекa ложится звезда.  
Но всё дальше живёт в горизонт борозда.

О, предзимье открыто в основе своей.  
Очевидно и голо в основе своей.

---

*Богдан Агрис родился в 1973 году. Проживает в городе Химки. По образованию – философ (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова). Публиковался в журналах «Новый Мир», «Волга», «Знамя», «Новая Юность», «Плавучий мост», онлайн-порталах «Сетевая словесность», «На середине мира», «Прочтение», «Флаги». Автор книги стихотворений «Дальний полустанок» (М., 2019). Готовится к выходу вторая книга стихотворений.*

Если мы приголубим вечерние пашни,  
если в небо поднимем вчерашние башни,

если вдруг световой растревожим каркас –  
зазимует высокое время у нас.

Много станет иным, ничего станет прежним –  
будем мы выходить в кроветворных одеждах.

Значит, в зеркале на сердцевине лица  
станет как-то отчётливей оттиск скворца.

\*\*\*

Пробросы заколдованной воды,  
ещё заметные, и врановые крылья,  
и это нежное, льняное изобилье,  
воркующее всласть до матовой звезды,  
и эта оторопь, степная и ковылья.

Восходят образа к растянутым мирам.  
Плоть куликов сполна налита кровью.  
А утром по степи простая гать воловья  
выводит времена на ощупь умирать  
на стогны огарей и оговорки совы.

Ты, время новое, будь образа внутри.  
На слётах снегирей пылают отголоски.  
Куда мы падаем? В проталины да сноски.  
А в небе, верные, вершатся сизари  
в подкупольном своём, неприхотливом лоске.

### **Подражание Олегу Юрьеву**

К огромной мировой свирели,  
То в лад поющей, то невпопад,  
Восходят святые отроги хмеля,  
И бьётся выжившая неделя  
В двояковыпуклые черепа.

А дрозд вседневный, а свет надменный  
Настолько вычурны и тяжелы,  
Что вылетают в оснастке мерной  
На скрип мировой, опять же, юлы  
И верят в паводок атмосферный,  
Где только голубь курлы-курлы.

Они возьмут ещё запах пряный  
И гром, расхлябанный и глухой.

Но, вешние, выцветают страны,  
А мы воздушные бьём стаканы  
И пропадаем в него гурьбой.

\*\*\*

Где зоркие проталины вещей  
в библейских зеркалах ломки и приоткрыты –  
там золотой сверчок – палеозоя мытарь –  
играет с иволгой во глубине мещер  
и льётся лунный клён по кровле мезолита.

Пространство сведено в скупые образа.  
Всё прорисовано впервые.  
Ещё на пастбищах волы не клонят выи,  
но прочертил уже ликующий сизарь  
нам линии городовые.

По швам невидимым расколота луна.  
Се время нимродовой ловли.  
И зримы нам уже и Пникс, и Квиринал.  
Но здесь ещё пока – ограда, не стена,  
и голубиный страж на кровле.

\*\*\*

Ты выведи меня за рубежи  
тех световых полей, где ясень глохнет в плоскость,  
где реки сведены в щебечущее войско,  
а млечные шершавые ежи  
уже разветвлены в широких отголосках.

О взвинченная мгла мгновенных сизарей,  
их отпечаток равнокрылый...  
Кто вновь разворошит воздушные могилы  
и встанет на кону в пресветлом сентябре?  
Кто в прилагательном и полом серебре  
нам явит свой оттенок милый?

Немного оттяни все эти времена –  
держи свой оборот на полюс.  
Во травах щелевых объёма ни на волос,  
но ясневый вихрь танцует имена:  
они то встретятся, то разлетятся порознь.

Да всё понятно мне – такая глубина...

\*\*\*

А если в мгле городской,  
в той, совокрылой, кривознамённой,  
прохватит вдруг тонкой развёрсткой хвой,  
то, верно, впору гудеть совой  
на ветви еловой, на ели тронной.

И вервие рвётся вразрез всему –  
лихое вервие, непростое –  
в сию городовую тьму,  
в сие, разверстое берестою,  
в сие, которое потому

идёт в свой выморочный декабрь,  
что никогда не брало иного.  
И, световая, кровит река,  
и тени, выпуклые пока,  
стоят стотельчато, медноброво.

\*\*\*

На яркой чаше львиного огня,  
которая проявлена всё краше,  
прошу – не стоит ворковать меня.  
Я становлюсь на переливе дня  
одной из ломких и предельных башен.

Кто будет рваться в сей широкий свет,  
распластанный над ломаной кривою?  
Ты принеси мне ласточку в ответ  
и расскажи, что нас сегодня нет,  
а завтра мы – но двое, только двое...

\*\*\*

Да где же это твёрдое, бесшовное крыло,  
что тёмными обводами мерещилось и шло.

И шло оно, докуда звезда не проросла, –  
крыла лихое чудо в пробеле без числа.

А те, кто мог немеряно, кто выветрился вдоль, –  
звезда у них потеряна, что отзвалась звездой.

Была такая малость, незрелые крыла.  
Собою называлась, собою назвала.

Иван МАКАРОВ

## ЦАРЬ ГОРОХОВ

*Рассказ*

Хорошо было жить в детстве.  
И в печальной и туманной юности.  
В школе. В старших классах.  
Только порой и эта жизнь трудной казалась.  
От непривычки, наверно.

В 9-м, 10-м классах так хотелось на переменах между уроками курить в туалете, а вместо этого приходилось иногда «дежурить»: торчать на втором этаже, где были младшие классы, и следить, чтоб они не очень поубивались, бегая, а еще лучше – ходили бы чинно по кругу парами. Как пенсионеры.

И торчал бедный акселерат Вася, педагогическими (бедагогическими) способностями не отягощенный, высоко над клубящимися, кружащимися, резвящимися, весело дерущимися, спотыкающимися и падающими мышино-серыми школьными форменными костюмами и разгоряченными лицами первоклассников, не умея с ними справиться и совладать. И даже не думая выстроить парами. И как же они страшно все шумели! Беспомощно стоял над ними Вася и думал свои грустные думы...

А мысли иногда приходили странные: совершенно никчемушные и ненужные. Вася с высоты своего роста и возраста смотрел на младших школьников и представлял, что и кто из кого вырастет.

Да нет, не представлял, он это ясно видел. Он не хотел этого, не придумывал, это само получилось. Они просто оживали перед ним в своем недалеком будущем и во взрослом виде. Он так ясно представлял это, что самому страшновато становилось.

Вася не угадывал, не умом сознавал, он видел их живых, какими они станут через относительно недолгое время. Когда вырастут.

Этот, толстый с большими щеками и хищной улыбкой, будет (Вася не сомневался, точнее быть не могло) директором, все равно чего, но непременно директором – и хитрости, и наглости довольно, а совести совсем нет... Будет носить костюм и широкий галстук... Вася чувствовал даже, как трудно было бы ему, простому, в сущности, человеку, с ним, таким важным, разговаривать, как он будет неприятен ему, когда вырастет...

---

*Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т.д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавучий мост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публикуется с 2017 года.*

Этот, полный и темненький, непременно и, похоже, по следам родителей станет завбазой или завскладом, во всяком случае, не последним человеком в торговле или снабжении...

А этот – совсем уже очевидный будущий партийный бонза, партайгеноссе и вообще... Он и теперь уже совершенный секретарь райкома, только маленький...

Этот за границу поедет. Нет, не в эмиграцию, конечно. В посольство. Дипломатом... Будет, пользуясь иммунитетом, шмотки из-за кордона таскать...

А этот простоват: так и останется навсегда честным пролетарием и, может быть, героически умрет под забором... И этот тоже... И этот... Жалко, если совсем напрасно погибнет... Такой добродушный...

Ни одного музыканта или художника не наблюдалось среди такого множества малолетних человеческих лиц... И ни одного летчика или геолога. Ни учителя, ни врача...

Потом уже Вася догадается: те, которые могли бы вырасти в летчиков и врачей, представлялись честными пролетариями или даже погибшими в подзаборной...

Школа была новая, окна в ней большие, но это не радовало, потому что ничего нового или примечательного в них видно не было.

Потолок подпирали две квадратных колонны, двери в классы были обыкновенные...

Не на чем было остановить взгляд, задержать внимание...

Только эти первоклассники, клубящиеся, вертящиеся, смеющиеся и дерущиеся, но и они мелькали так шумно и быстро, что все смешивались в один ненужный ком...

2.

Годы пролетели, прошли, прозвякали.

Эпохи сменились. Новые эры настали.

Что-то из общественных бурь и потрясений удалось, конечно, проспать, проспать и пропьянствовать, сделать вид, что не заметил, но оттого многие новые условности и несообразности жизни показались или оказались еще неожиданной. Мучительней и смешней.

Много-много воды утекло. Кое-что даже и под лежачий камень попало...

Подорожало метро. Подорожал хлеб. Вино, табак и так далее. И вообще все подорожало и стало дорожать уже непрерывно, так что к этому стали почти привыкать.

Да и не только в этом дело.

Стало доходить до того, что многие люди стали как бы немного портиться. И не любить друг друга. Подозрительно относиться.

Как будто все друг от друга ушли, и нередко, увы, по причине одной только бедности и сопутствующих ей бед...

Так разошлись, что уже не собраты, а если сходимся, то большей частью для взаимного недовольствия и злословия...

И вожденной свободы как-то не получилось.

То есть, с одной стороны, свободы вроде бы стало немного больше (номинально, по крайней мере), а с другой – гораздо, гораздо меньше...

3.

...Фу, какая мерзкая рожа!

И, кажется, я где-то видел ее.

Хотя где и с какой стати? Бред. Нигде я не мог ее видеть.

А мерзкая рожа улыбалась со всевозможной приятностью:

– Что вы? Вы ошибаетесь... Не было при вас никаких денег... И телефона не было. Вот посмотрите, все записано: ботинки, носовой платок, рубашка (грязная)... Книги, 3 штуки: Я. Полон-



ский, «на иностранном языке» и «церковная»... Все. Больше ничего нет. Наверно, раньше где-то потеряли...

Жизнерадостная рожа была в капитанском милицейском кителе и фуражке.

– Вот здесь распишитесь, и вы свободны, гражданин Горохов.

...И все же знакомая рожа...

Веселая летняя улица цвела и благоухала. Деревья и тени от них... Липы, клены, трава... Птицы и бабочки...

...А все же хорошо еще, что на дворе лето. И дождя, кажется, не ожидается.

4.

Еще почти не начало темнеть.

Василий шел возле университета на Ленинских Воробьевых горах. Башня, клубная часть. Памятник. И человек на памятнике показался вроде знакомым. Не как тот великий ученый и поэт, который «песчинка как в морских волнах», которому памятник, а просто, как теперь говорят, «по жизни». Где-то он его видел? Где?

Василий шел дальше. Химфак, биофак. Длинная оранжерея.

Еще памятник... Махатма Ганди.

С виду – черт чертом, и к тому же с палкой, а ведь на самом деле неплохой был вроде мужик, только худой очень.

И непонятно почему, тоже как будто знакомый...

Миша Захаров?

Что-то общее есть. Хотя Миша вовсе никакой не индус и не индуист, а наоборот, почему-то стал вдруг убежденным католиком, хотя раньше православным был, ходит теперь в костел Непорочного Зачатия, что на Грузинской улице, и Горохова несколько раз туда звал...

Нет, не Миша, конечно. Просто похож.

Вася шел дальше. Мимо широких витрин, к Мосфильмовской.

Неожиданно асфальт поднялся и двинулся ему навстречу.

5.

It was... It was... Не знаю, как дальше сказать не по-нашему. А по-нашему тем более не знаю, как сказать...

Было ранее утро. Прекрасное, живое, радостное летнее утро.

И хотя физически и телесно Горохов чувствовал себя хуже, чем кое-как, душа его изо всех своих последних сил «звучала и пела».

Горохов шел от трех вокзалов в направлении Красносельских улиц, строил какие-то мелкие жизнерадостные планы на предстоящий день, но, главное, наслаждался относительным душевным покоем и сладкой погодой. И непонятная ночь прошла, и солнце светило...

Неожиданно путь ему преградили двое. Совершенно неизвестно откуда взявшиеся.

– Слушай, – стал говорить ему один, «кавказской внешности», – тыщу заработать хочешь?

Он выражал свои мысли нескладно, но внятно. Другой, большого роста, явный монголоид, может быть, дунганин или бурят, солидарно молчал.

...Конешно, нет слов, Горохов в тот момент жизни очень хотел заработать тысячу, тысяча ему была в тот момент очень даже необходима. Тем более тысяча была в то время еще совсем не то, что теперь, это были еще довольно-таки большие деньги, а у него денег совсем не было... Но не надо было быть очень умным, чтобы понять, что та тысяча, которую ему предлагали заработать, была совсем не та тысяча, которая была ему нужна.

– Видишь, там, на остановке мужик в белом стоит? Я видел, у него есть деньги. Подойди, скажи ему, что хочешь ему комнату сдать, отведи его за угол, больше ничего не надо, мы все сами сделаем, и тыща твоя, честно... Ты только за угол его уведи.

Горохов, естественно, сказал, что ему это не нужно и тыща не нужна, и что он никуда не пойдет, но человек был настойчив, и с блеском совершенного безумия в глазах, и отвязаться от него было непросто:

– А если нет, не пойдешь, мы тебя самого сейчас здесь кончим... Ну!.. А так: тысяча!.. Честно, без обмана...

И еще монголоид держал руку так, что, похоже, у него был нож в заднем кармане рыжих штанов...

Не имея с утра особенных сил драться, да еще с двумя, Василий кое-как вырвался от них на средину Краснопрудной улицы и пошел там, посредине, благо, ради раннего часа, машин было совсем мало... Посреди проезжей части все же не станут приставать. Одуревшие венцы творения на проезжую часть, действительно, не пошли, что-то кричали и грозили ему с тротуара.

Прекрасное утро было испорчено. По крайней мере, осквернено.

Похоже, наркоманы, думал Горохов. Совсем без ума... Но этот, кавказец, вернее, скорей полукровка, полукавказец... Я где-то видел его. Совершенно точно, видел... Но где? Когда?

При всем своеобразии его прошлой и нынешней жизни ни при каких обстоятельствах такая колоритная фигура не могла возникнуть в кругу его знакомств.

И все-таки он его где-то видел.

И еще с чувством бессильного негодования на этих людей, испортивших ему такое прекрасное утро, он думал, что, может быть, он неправильно поступил... Надо было подойти к тому типу в белом, вроде чтобы увести его за угол, и предупредить о грозящей опасности...

Хотя реально: могли ли они ему что-нибудь сделать? Едва ли...

Слишком яркое утро и слишком людное место. На широкой улице вблизи трех шумных и как будто хронически не выспавшихся вокзалов... А за угол с ними этот тип в белом не пойдет...

А вообще... Ну их всех совсем! Какое мне до них дело!

И кавказца этого я вспомнить не могу... И видел ли я его вообще когда-нибудь...

6.

С виду мирный, безопасный, не слишком проблемный и очень-очень обыкновенный Горохов имел, однако, как и все мы, грешные, свои тайные недостатки и мелкие слабости.

Например, он любил читать книги по истории и при всякой возможности вспоминать и не то чтоб обдумывать, а скорее, переживать прочитанное и даже воображать себя участником событий.

Начиная с пунических войн и до... А неизвестно, до чего... Никакие войны у нас не кончаются, ни пунические, ни героические...

А история – материя тонкая и неоднозначная.

Особенно учитывая, что хотя у Горохова была когда-то не плохая память вообще, но очень плохая на даты, а с возрастом постепенно и на имена...

Так что представления об истории у него выходили порой весьма несвязные и несообразные.

Тем более что эта самая история, даже если она и не очень длинная, другой раз так разветвляется и перепутывается, то и дело на всякий вкус разнообразно пересказывается, что никакой памяти не хватит...

Однажды сын, когда он пытался убедить его хоть немного учиться, и истории в том числе, сказал ему следующее:

– Да, я согласен (вроде уговорил), история – это очень интересно, но зачем она вообще-то нужна? Какая от нее польза? Какой смысл? Ведь это все прошло и уже никогда не будет. Зачем ее изучать?

И ничего существенного Горохов ему на это ответить не мог.

«Чтобы быть человеком, а не животным... Чтоб себя уважать и хотя бы попытаться понять... Что история повторяется...» – все это были бы правильные, но все-таки слова.

Ничего «реального» они не содержали.

Но вот теперь для нее, для истории, стало явно обнаруживаться некоторое понятное практическое применение: для утешения. Для понимания, что переживаемое в настоящий момент не есть самое худшее, что в истории человечества бывало. Всякое бывало. И хуже тоже.

7.

...Однажды, правда, ему все же удалось объяснить другому человеку, зачем нужна историческая наука...

К нему пристал с этой проблемой один знакомый азербайджанец, неторопливый и обстоятельный человек:

– Ну, а в государственном масштабе история зачем нужна?

– Ну, это очень просто... Ты, например, утром встал и забыл, как штаны надевать. Ну, и пошел по улице со штанами на голове...

– Нет, а в государственном масштабе?..

– А в государственном тем более... Представляешь: вся страна со штанами на голове...

8.

Дмитрий Шишкин (Дима) страшно боялся всяких сложных инструментов, машин, приспособлений, техники и т. п.

Все, что возможно, даже тяжелое, он старался грузить вручную, толстые доски пилил ручной ножовкой и т. д... Нет, не подумайте ничего такого... Конечно, он все умел. И более того, он когда-то в техникуме учился. И не маниакально-идейное это у него было. Он не самой техники боялся. Он боялся, что она сломается во время его работы, и у него из зарплаты вычтут.

Вася Горохов познакомился с ним, когда поступил поработать в сестричество во имя свт. Игнатия Ставропольского, в Марьиной роще рабочим – «конюхом, поваром и плотником».

Нет не поваром, конечно, поваров (поварих) там без него хватало. И готовили они все более чем очень хорошо. И не конюхом. Лошадей в сестричестве не было. Так что был он там просто рабочим.

Дмитрия Шишкина мама в детстве назвала Эдуардом (Эдиком), и вначале это ему даже нравилось...

А как мать с ним поступила, ему не нравилось.

Когда она его родила, ей совершенно некуда было его девать, и неизвестно было, что с ним делать...

Он рос и воспитывался то в одном, то в другом интернате в разных концах нашей родной и необъятной, где-то крестился с именем Димитрий (кажется, в честь Димитрия Солунского), тогда-то ему и разонравилось его первоначальное имя Эдуард, «потому что оно “неправославное”».

В довершение всех радостей он оказался без жилья и мотался где попало, не опускаясь, впрочем, до совершенного бездомничания.

Эта беда в конце концов и привела его в сестричество.

А там все особенно располагало к осторожному обращению с инструментом: штрафовали за все и вся.

Трапезную в сестричестве украшало множество плакатов и плакатиков с цитатами и изречениями свт. отцов, а так же ныне здравствующих церковных писателей и подвижников. Один

плакатик особенно вдохновлял, утешал и радовал. И здравостью мысли, и ясностью, и красотой и лаконичностью слога:

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАТЬ»

Подписано было: Игумен Сергей (настоятель храма, духовник сестричества).

И словно в тон ему по всем зданиям и помещениям сестричества, доступным простым смертным, рабочим и прочим (в остальных Горохов не был, но, видимо, и там тоже), были расклеены объявления на разные темы, но с неизменным началом:

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ...»

«Запрещается оставлять открытой данную дверь. Штраф 100 рублей».

«Запрещается» еще чего-то, не помню чего и сколько штраф, но с прибавлением: «В случае необнаружения виновного штрафуются весь персонал...»

«Запрещается включать в сеть две ванны (для плавления воска) одновременно. Штраф 500 рублей».

Зачем это-то? Не проще ли, наивно думал Вася, написать, что от перегруза сети может выбить предохранители? И три восклицательных знака поставить... И никто не станет одновременно включать... Зачем?

А этот Дима, который раньше был Эдуардом, перед поступлением в сестричество около года провел в одном из монастырей на Волге. В Сызрани, кажется. И там он научился многим вещам и шуткам, в том числе и не совсем хорошим. И за одну шутку Горохов однажды чуть его не убил.

Он шел, таща газовый баллон. Пустой, правда, но все равно, тяжелый. На пути его встретился Дима и диким голосом закричал ему: «Осторожней!»

Вася испугался, остановился, едва не выронил баллон, едва сам не упал с ним вместе, поскользнувшись на мокрой доске.

– Что такое?

– Осторожней, – уже спокойней и радостно улыбаясь объяснил Дима, – нимбом за угол не зацепись...

(Это, если кто не понял, такая идиотская монастырская шутка, означающая в данном случае, что он, Василий Горохов, мыслит себя настолько святым, что предполагает у себя над головой сияние.)

И несколько минут спустя, уже успокоившись, Горохов понял, что в порыве безумного, дико-го гнева, охватившего его, действительно готов был убить Диму. Просто поднять с земли железную арматуру и ударить по голове. Ему стало страшно.

Господи, помилуй! Дима, конечно, дурак, но я-то, выходит, еще глупей, если так на дурака рассердился...

Дима в Сызрани жил... То есть монастырь, в котором он жил, находился в Сызрани...

Горохову почему-то вдруг очень захотелось поехать в Сызрань. Во-первых, Волга... Во-вторых, просто интересно...

Я ведь ничего не знаю об этом городе... Знаю только, что это на Волге... Знаю, что при предыдущей советской власти там был единственный (или самый главный) в Союзе сажевый завод.

Жгли газ: получали сажу. Ценный продукт. Официально называется «техуглерод»... Может, завод и до сих пор есть... Работает... Сажу делает... Техуглерод... Ничего не известно...

Марьяна Роша, сестричество...

Что-то там еще запрещается.

Горохов хотел было вспомнить, что именно, не смог и лег спать.

Горохов работал в сестричестве... В должности рабочего. Вроде уже не привыкать, и все же...

Осень. Погода мокрая и холодная, работа не очень легкая. Канаву копали. Почва городская, столичная: кирпичи, камни.

А после обеда пришла сестра Лена, по одной ей ведомым признакам определила его как не самого прожорливого из рабочих, поговорила с прорабом, и Васю поставили временно на другой участок. Всего-то надо было разгрузить из машины шоколад в коробках, поднять по лестнице и там разложить в шкафы на полки согласно надписям на полках. Что же, шоколад так шоколад...

Приехал автомобиль, стал к двери задом. Вася стал вынимать шоколад и носить наверх. Тоже оказалось не совсем ладно. По лестнице ходить жарко, внизу у машины ветер пронзительный... Нет в мире совершенства! Ну, да ладно...

А когда раскладывал шоколад, я на одной полке прочитал: «Святитель Пантелеймон с орехами»...

«Святитель Пантелеймон с орехами»... Это, оказывается, шоколад такой.

9.

Изо всех наших болезненных подорожаний минувших эпох для многих людей особенно болезненно оказалось подорожание транспорта. Общественного, городского. На несколько порядков.

При этом некоторые люди умели преодолевать турникеты метрополитена без билета, а другие не очень.

Естественно, страшные цены на проезд болезненно обсуждалась.

Говорили об этом и в курилке на складе печатной продукции возле станции Тестовской (Горохов и там успел поработать).

Говорили, впрочем, все одно: раньше было дешево, хорошо. Теперь стало плохо, дорого...

Полтора десятка мужиков, комплектовщиков в грязноватой одежде, сидели за одним большим столом, накрытым газетами с кроссвордами: больше на всем огромном складе никакого хотя бы относительно отапливаемого помещения не было.

Сам не зная зачем, от холода, может быть, Горохов встрял в единодушный хор про дороговизну проезда и про безбилетный проезд в транспорте:

– А когда-то и в метро контролеры ходили. По вагонам. Билеты проверяли.

Ему не поверили.

– В самом деле. Было такое. Это когда первую линию пустили: от Сокольников до Парка... В тридцать каком-то году. И многие просто так, не выходя, туда-сюда катались, им нравилось под землей проезжать, и по вагонам ходили контролеры, проверяли билеты: в ту ли сторону у проезжающих билет...

– А ты откуда знаешь? Сам видел? Тебе лет-то сколько?

– Да нет. Сам, конечно, не видел. Рассказывали.

– А... Рассказывали...

10.

Тесный зал автовокзала,  
Обезьяна убежала. –

От беспомощности ожидания Горохов сочинял в голове стихи:

Тесный зал автовокзала,  
Обезьяна убежала...

В автовокзале было темновато, пасмурно, как в ноябре. Вроде и ламп было немало, но плафоны были немые, пыльные. И окна тусклые, и стены пыльные.

Это, вероятно, от того, что жизнь там происходит круглосуточно, и останавливаться на помывку некогда.

«Да приходи уж ты, наконец, подонок! Сколько можно ждать?» – бормотал про себя Горохов.

«Подонок» не приходил. По залу, по площади, по асфальту проходили другие, ненужные, непонятные люди с сумками, с телефонами или просто так. У некоторых женщин даже были красивые лица. А некоторые даже и просто были красивые. Но все они были не нужны теперь, он не их ждал, и поэтому они раздражали. Зачем они здесь? Непонятно было. Нужен был один человек. Этот самый «подонок», который не приходил...

Что-то случилось в мире. Все вдруг сразу сошло с ума. И Горохов как будто тоже сошел с ума. Он поступил на работу в сыское агентство.

Как, собственно, это вышло, Горохов и сам не особенно понял. Весело и чуть-чуть пьяно он спускался однажды по лестнице к набережной между стадионом и вокзалом и неожиданно встретил свою одноклассницу Аллу Давыдову. Выглядела она превосходно. Горохову обрадовалась, и они довольно долго гуляли по улицам.

Беспечная Алла щебетала без умолку и, казалось, была занята только собой одной и своей прекрасностью, однако, как-то незаметно она успела о многом рассказать Горохова, про его жизнь, про его совсем незавидное полубезработное состояние и трудности привыкания к «новому времени», хотя он изо всех сил старался не жаловаться.

Он проводил ее до дому, у подъезда поцеловал в щеку, а на другой день она позвонила ему по телефону и не допускающим возражения тоном пригласила в галерею «Караван» на открытие выставки каких-то никому не ведомых молодых художников, мужа и жены Придворных.

Придав себе, сколько это было возможно, разбойный и донжуанский вид (мятая рубашка, серая панамы), Горохов явился.

Молодые художники оказались почему-то если и молоды, то больше душой, и произведения их были немного слишком абстрактные...

Осмотр картинок, необходимые вздохи и ахи прошли довольно быстро, и народ потянулся к фуршету.

Как и все, с одноразовым стаканчиком в руке, Алла подошла и крепко взяла Горохова под руку.

Горохов не удивился. Он давно уже привык, что во время фуршетов и тому подобных мероприятий знакомые дамы часто особенно опекали его, чтобы он не злоупотребил себе во вред, но у Аллы на уме было другое:

- Пойдем, я познакомлю тебя с одним человеком.
- А он кто?
- Так. Добрый знакомый один. Он хочет тебе предложить работу.
- Какую?
- Он сам скажет.

Доброго знакомого звали Олег. Он был настоящий денди в модном пиджаке и с оранжевым галстуком:

- Очень приятно, Олег Игоревич. Лучше просто: Олег. Мне Алла о вас рассказывала...

Горохов вежливо поклонился.

- Давайте присядем... Как вам это нравится? – Он кивнул на выставку и на картины.

Честный, но вежливый Горохов ответил неопределенным жестом:

- Вино хорошее... Венгерское.

– Да, правда. Не знаю только, очень ли хорошо, что оно нам очень нравится... Но дело не в этом... Мне Алла о вас много рассказывала, и много хорошего в том числе, и я хочу предложить вам работу в моем агентстве... Нет, не совсем журналистом. У меня сыское агентство. Только не

пугайтесь раньше времени. Никакого свинства я вам не предлагаю. За всякие гадости я и сам не берусь. Можете верить или нет, но я стараюсь просто по-честному помогать людям. Мы здесь все, увы, бываем такие беспомощные... И – оплата приличная...

Вот и стоял теперь Горохов на автовокзале. Ждал «клиента». Вернее, «объекта». Задача была простая. Относительно.

У некоторой очень богатой матери (впрочем, доброй женщины) был сын. Соответственно, тоже богатый и тоже добрый.

Только слишком доверчивый и отчасти безвольный. И его надо было оградить, не допустить слишком сильно растратиться и наделать непомерных долгов.

Недавно он вернулся из-за границы, не то из Турции, не то из Таллинна, и в настоящее время пребывал в своей квартире на Фрунзенской набережной. Звали его Иван Вельяминов.

Так что на автовокзале Горохов, естественно, не его встречал.

На вокзале он ждал другого человека.

Того, который, как ему объяснили, являясь приятелем доброго сына и наследника богатой матери, мог дурно на него повлиять в смысле промотания денег, наделявания долгов и других неприятностей.

Автобусы из Полбино прибывали каждый час, а еще он мог приехать на проходящих, так что совершенно нельзя было угадать, когда этот зловерный человек придет.

Горохов уже устал и ждать перестал.

Просто стоял, стоял, ходил, терпел, страдал, курил белые и невкусные сигареты «Союз-Аполлон».

Почему-то у нас было принято когда-то называть табачные изделия «космическими» именами: «Орбита», «Спутник», «Лайка» (это была такая «космическая» собака), просто «Космос», этот самый «Союз-Аполлон», который и до сих пор остался...

Чтобы как-то успокоить себя и оправдать вынужденное безделье, пытался вспоминать прекрасное из своей прошлой жизни...

Завод в Печатниках, густой черный дым над каждой единицей перерабатывающего оборудования, и под этим дымом работницы в ситцевых халатах, среднюю школу в Мневниках, каникулы в Подмосковье, каникулы в Эстонии и – соответственно: Люду, Лену, Ольгу, другую Лену... Горохов любил влюбляться.

Сколько же было всего прекрасного в его жизни!

Как смею я, думал он, быть неблагодарным...

Ожидаемый появился неожиданно.

Стоял, смотрел по сторонам.

Безусловно, это был он, Григорий Баранов, 1980 года рождения, уроженец города Павлово на Оке.

Точно таким видел его Горохов на фото: небольшой лоб, богатая, выразительная, почти обаятельная мимика, волосы сзади схвачены в косичку...

Он подошел к молодому парню в ветровке и о чем-то спросил. Парень отрицательно покачал головой.

Тогда приехавший обратился к женщине средних лет в бежевой кофте, круглолицей и светло-волосой. Она тоже покачала головой отрицательно, что-то сказала в ответ и нетерпеливо махнула рукой.

Горохов два раза глубоко вдохнул и медленно выдохнул, чтобы заставить себя быть внимательным и ничего не пропустить.

А преследуемый Баранов между тем пошел прямо к нему...

От удивления какая-то нехорошая острая неприязнь охватила вдруг Горохова, и когда приехавший к нему обратился, он быстро сказал:

– Нет!

Разумеется, это был плохой, необдуманный поступок.

...Надо было, разумеется, хоть и жалко, хоть и предпоследние, дать ему, как он просил, денег на метро, а заодно, может быть, вместе с ним и поехать, познакомиться, хотя при не особенной разговорчивости и не чрезвычайной общительности Горохова это тоже было не очень просто...

А теперь вот, «условный противник», во-первых, запомнил, может быть, его (демаскировка), а во-вторых, он, возможно, нажил в его лице врага. И не потому даже, что не дал денег, а потому что получилось, что тот напрасно просил... А это очень обижает и озлобляет...

Долговязый, шикарно и надменно одетый юноша дал Баранову на метро.

И какое счастливое было у него при этом лицо! Видно было, как ему радостно было хоть такое маленькое доброе дело сделать, видно, не часто ему это удавалось...

Горохов преследовал за гостем столицы в метро. При этом предполагал, что тот его не заметил.

Перед этим позвонил начальнику, Олегу:

– Вспомнил. Еду. Помню.

На условленном у них языке это значило: «Он (объект) приехал (прибыл). Еду за ним и наблюдаю (веду)».

В метро Горохов преследовал врага, стараясь казаться невидимым.

Впрочем, на переходе в центре он уже и перестал прятаться. Не до того было. Лишь бы не потерять. Горохов стал двигаться суетно, даже иногда толкая людей.

А прибывший Баранов, кажется, ничего не замечал, видно, сильно занятый своими думами.

Как и ожидалось, он вышел на Фрунзенской. Горохов за ним.

Не чуя над собой беды, супостат направился к тому самому дому, где жил Вельяминов.

Он вошел в подъезд, а Горохов остался пока караулить на улице.

Его все-таки смущало то обстоятельство, что еще на автовокзале он успел обнаружить перед «объектом» свой облик, да еще так неблагоприятно: не дал денег.

Он доложил об этом по связи:

– Сам не знаю, как вырвалось, совершенно механически сказал «нет»...

На другом конце провода, то есть не провода, конечно, а мобильной связи, подумали и сказали:

– Ничего страшного. Это даже, может быть, лучше. Теперь главный предмет твоего внимания хозяин квартиры...

Птицы не пели и не свистели.

Дорогая заграничная машина стояла с включенным мотором и выпускала дым.

Как прекрасна жизнь, думал Горохов, и как ужасно мы этого не замечаем, занятые какой-то пустотой и суетой по должности... Да и вообще вся жизнь так... Всегда: то ждем, то догоняем, то преследуем, то убегаем... Третьего не дано.

Час прошел прохладно, нервно, даже немного испуганно. Пришло время действовать.

Горохов набрал номер: «Никто не выходил».

«Давай, – ответили ему, – действуй по плану».

Горохов вздохнул и отправился через квартал в иконно-сувенирно-картинно-антикварную лавку.



Там уже был готов для него сверток: картина.

И с этой картиной Горохов должен был отправиться в квартиру к хорошему человеку для убеждения его от разорительного влияния нехорошего. А для завоевания доверия ему нужно было прийти с этой самой картиной, которую этого самого хорошего человека Ивана Вельяминова заранее по телефону уговорили заказать.

С красивым свертком под мышкой Горохов пошел к подъезду. Нажал номер квартиры:

– А... здравствуйте... Я вам того... Картину привез... Что вы заказывали...

– А, здравствуйте, здравствуйте! Очень хорошо. Открываю. Заходите.

Домофон хищно щелкнул, и Горохов побрел к лифту.

Полноценная картина маслом, заказанная будущим богатым наследником знаменитому Палеогену, должна была изображать сонм императоров (в изгнании) в шитых золотом мундирах и со шпагами на фоне буйно цветущих подсолнухов: как у Ван-Гога, только цветы поменьше. (За ними в ближайшем будущем должны были последовать такие же полотна с императорскими фамилиями, нашими и не нашими, и др. и пр...)

Хозяин встретил его уже в открытых дверях. Лицо его сияло радостью и любовью.

– Сюда, сюда, в комнату проходите...

Он весь горел желанием скорее увидеть вожденное полотно, но сдерживал себя: картина должна была быть явлена в обстановке соответствующей торжественности.

От самой прихожей стены квартиры были украшены царскими портретами в рамах, генеалогическими древами, корнями уходящими в самую глубь веков, а веселенькой листвой с золотыми надписями имен в светло-серое настоящее и, кажется, даже дальше.

В гостиной висела над ковром шашка, вроде казацкой, и кремневый пистолет (похоже, не настоящий).

На столе стоял графин и закуска в виде помидоров и колбасы. Под столом – пиво в ящике.

Прибывший из провинции Баранов, уже заметно пьяный, сидел в углу и напряженно смотрел в экран компьютера.

Приглашенный хозяином отвлечься и обратиться к принесенному полотну, он встал и угрюмо застыл в ожидании.

Узнал он меня или не узнал? – думал Горохов, одновременно припоминая монархические обороты речи, причем прежде известное мешалось у него в голове со специально для данного визита наскорю выученным.

Но вот картина была развернута, явлена. Все застыли в изумлении.

Полотно было точно с «монархическим» сюжетом, но совсем не тем, какого ожидали. В антикварной лавке перепутали заказы, не то завернули.

Картина представляла собой диптих. Левая половина была иллюстрация к произведению Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей», причем царь был в короне и мантии, но с огорченным лицом, а дочери – нагишом. И правая тоже была иллюстрация – к знаменитой анонимной поэме «Екатерина и Орлов»...

– Что? Что это?.. – хозяин выхватил откуда-то японский самурайский меч, и готов был уже поразить Горохова, но приехавший Баранов, упал ему на руку и спас бедного агента.

– Стой! Нельзя! Это провокация! Он за мной с самого автовокзала следит. И на метро денег не дал...

– Какое метро? Какие деньги?.. Ты видишь это, – хозяин кивнул на картину.

– Стой. Подожди. Мы сейчас допросим его, и он сам все расскажет... Все-все расскажет... – Баранов подошел к двери и заслонил ее собой. – Мы узнаем, кто за этим стоит...

Горохов успел, между прочим, в какое-то маленькое-маленькое мгновение подумать, что «стоит-то за этим» не кто иной, как мать хозяина квартиры, и внутри себя улыбнулся...

Но ситуация складывалась критическая.

Трудно сказать, какая сила управляла Гороховым, но он нашел единственный, может быть, спасительный выход.

Он подхватил с дивана кота, а со столика кухонный нож и приставил к горлу бедного животного.

– Ну!..

Так, прикрываясь хвостатым и пушистым заложником, Горохов пробрался к выходу и вылетел вон.

Только на остановке, прыгнув в 28-й троллейбус, он швырнул своим преследователям кота и, нервно дрожа, поехал в сторону центра.

II.

Тако посрамленный Горохов не стал даже и звонить Олегу.

Все. Работа и «карьера» его в сыском агентстве теперь безусловно кончена. Даже почти и не начавшись. И где ж теперь работу искать?

«А впрочем, все равно, отрицательный опыт – тоже опыт... Жаль только, что жизнь коротка... И вообще, что это за работа в сыском агентстве, как-то некрасиво даже... Жаль только, что Алла расстроится...»

Он и телефон не брал. Пил пиво и дрожал от холода.

Иногда на небо глаза поднимал. Как оно темно и пасмурно. Ничего не видеть.

«А ведь за облаками звезды... И я это знаю... Знаю, что там высоко и далеко звезды. Их много – не сосчитать. Я их не вижу, а знаю, что они есть. А облачность и пасмурность это временно. И необходимо: вроде как одеяло... Звезды страшно далеко в небе, а облака, которые их нам закрывают, они совсем рядом, значит, они не звезды от нас закрывают, а нас закрывают от звезд... Чтоб им такого стыда не видеть... Звезды небесные, звезды морские, звезды кремлевские, звезды орден...»

На другой день Олег все-таки ему дозвонился.

– Вы что? Куда вы пропали? Я уже стал волноваться... Хотя вас самого ищи... Но все равно, поздравляю. Успех! Все даже лучше вышло, чем мы планировали...

– Да я ошибся, что-то перепутал... И картина оказалась не та... Это уж я не знаю, как получилось...

– Да, вы что! Все замечательно. Все как нельзя лучше получилось. Все просто великолепно. Когда они за вами на проспект выскочили, «догнать и отместить», на господина Вельяминова вроде как озарение нашло, и гражданина Баранова он теперь не то что видеть не захочет, а как бы наоборот: теперь этому самому Гришке Баранову лучше ему на глаза не попадаться... Из соображений безопасности... Он для него теперь хуже Гришки Отрепьева, самый главный шпион, враг и провокатор... К слову сказать, так оно и есть... Кстати, кажется, его мама имеет намерение лично от себе выдать вам отдельно персональную премию... Так что, если можете, приезжайте в офис сегодня, хотя бы к вечеру. Отметим успех. И заодно обсудим новую операцию...

И как это могло получиться? – думал Горохов. – Вместо того чтоб разъединить их, я их, кажется, должен был объединить... Хотя бы в нелюбви ко мне... Что ж там такое случилось?

После обеда он поехал в офис...

Оказывается, выбегая догонять Горохова, гость из провинции успел прихватить с собой бутылку коньяку.

А когда троллейбус увез Горохова, остановить машину для преследования они сразу не смогли. Никто не хотел останавливаться, должно быть, слишком чудной у них был вид: один заметно выпивши, другой в домашних штанах и бархатном жилете да еще с котом. И оба в тапочках.

Пешком пошли по проспекту.

Куда? Зачем?

Баранов открыл бутылку и выпил коньяк. Сразу. Весь. Из горлышка: «“Барину” все равно, у него деньги есть, если надо будет, еще возьмет...»

Благоразумный «барин» с любимым котом на руках хотел было уже вернуться домой, все обдумать, постараться понять, как это могло случиться...

И что делать с этой гадкой картиной? Уничтожить? Или сохранить? Для обличения?..

Но решительный Баранов увлек его вперед, вдаль. Куда? Зачем? Вельяминов почему-то пошел за ним. Безропотно, как привязанный...

А перед Крымским мостом с Барановым вдруг что-то случилось, он остановился и стал материться. Просто материться. Безо всякого смысла и содержания. Просто ради процесса.

Пару минут спустя Вельяминов попытался его остановить. Безрезультатно. Пьяный Баранов стоял и произносил в пространство всякие безобразия.

Кот, которого хозяин укрыл на груди под бархатным жилетом, забеспокоился, Вельяминов гладил его, успокаивая, а выпустить на асфальт боялся: вдруг убежит и потеряется. Все-таки довольно далеко от дома... Баранов пошел на мост, Вельяминов за ним.

На мосту Баранов снова остановился и перестал материться, но вместо этого громко зашел:

«Союз нерушимый, республик свободных навеки сплотила...»

Что же это!?

Вельяминов хотел ударить его по лицу и не мог: кот, пригретый на груди, мешал, связывал руки.

– Ты что? Ты с ума сошел?

– А что?.. Я ничего... Мне стыдиться нечего.

Баранов, видно, совсем из ума вышел и дальше зашел:

«Вставай, проклятьем заклейменный

Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущенный...»

Что делать?

Ничего нельзя было сделать из-за кота на груди. Кот руки связал.

Вельяминов заплакал, развернулся и пошел восвояси. Пьяный Баранов увязался было за ним, что-то бормотал бессвязное, уверял, что он честный труженик и вообще «нормальный пацан», но Вельяминов не слушал его и успел перед самым его носом захлопнуть парадное.

Поднявшись к себе на этаж, он первым делом выкинул в окно сумку коварного гостя, а что делать с похабной картиной, не знал. Оставил пока стоять. В ванной. Лицом к стене. Сам, разумеется, тоже напился с горя. Правда, успел еще позвонить матери.

Когда богатый наследник рассказал все случившееся матери по телефону, она сразу позвонила Олегу. Благодарила. Олег в свою очередь отметил добросовестную и на грани геройства работу Горохова. Действительно ведь рисковал. Действительно случилась «нештатная ситуация»...

12.

Следующее задание по шпионской, разведывательной и детективной службе Горохов решительно провалил.

Некто Барабиров подозревался в терроризме. Семейном. Домашнем и производственном. И Горохова назначили за ним следить. Чтобы не натворил лишнего. А так же выяснить по возможности, какие у бедолаги есть конкретные планы, а главное, средства, связи и возможности для их претворения в жизнь. В свою и в нашу, то есть в общую...

– Понимаешь, это очень забавный тип...

Олег объяснял Горохову предстоящую работу, вводил в курс дела.

Заодно закусывали. На маленьком столике стояла бутылка белого вина.

– Во-первых, он совершенно не ходит на выборы. Ни на какие. Ни на президентские, ни на муниципальные, ни на ... Не знаю, какие еще там бывают...

– Ну и что? Я тоже не хожу... Ни на какие...

– А... Не в том дело... И я не хожу... Но он, этот Барабиров, как бы это сказать... Он очень-очень не ходит... Он совершенный нигилист... И вот, например, из его высказываний: «Я просто удивляюсь, почему у нас происходит так мало терроризма, индивидуального... Это же так просто! А главное, у нас так много людей регулярно доводится до отчаяния...»

Я и сам удивляюсь, почему так мало, подумал Горохов, но вслух сказать не успел.

Олег глотнул вина, поправил оранжевый галстук:

– Мне, признаться, это и самому удивительно... Однако надо работать. Обратилась к нам его жена, в официальные органы она обращаться не хочет, все же не чужой человек... Но переживает. За него. Да, и за семью, наверно. И за себя. Так что придется последить... Беду лучше по возможности предупредить, чем лечить... Или как там...

Чтобы следить за гражданином Барабировым, необходимо было устроиться на работу. То есть поступить на то самое предприятие, где «объект» занимал скромную должность электрика.

– ...Видите, он и с напряжением связан, и с силовыми установками, тоже, если угодно, до-полнительный фактор риска... Поработаете там с ним немного на фабрике, кстати, заодно и там будете дополнительно какую-никакую зарплату получать, не слишком много, но все же... С начальством мы договорились, вас возьмут, хотя никто, кроме вас, конечно, ничего не знает и не должен знать... Так что, оформляйтесь...

Горохов оформился.

Стал ходить на работу. Следить.

Электрик Барабиров оказался личностью замкнутой и малообщительной, что вообще для предприятия, где он работал, было не слишком характерно.

Сотрудники там, может быть, и не больше общались друг с другом, чем где-нибудь в другом месте, но заметнее... Это была одна из фабрик ВОГ. Всесоюзного (хотя теперь, уже, м.б., всероссийского) общества глухих. Так что часть персонала действительно разговаривала между собой так, что вольно или невольно все это видели.

А вообще все люди на фабрике Горохову понравились. И глухие, и слышащие. Все спокойные, умные, приветливые. Симпатичные и незлые.

Может быть, это потому они здесь все такие, что зарплаты не очень высокие?

И Кузьма Антонович Барабиров понравился. Совершенно не нервный, как можно было бы подумать, спокойный, уравновешенный... Чуть старше Горохова, с умным лицом. Ну, взгляд, может быть, немного презрительный... Хотя с глухими, глухонемыми и слабослышащими он, это видно было, дружил. И они к нему, видно было, особенно уважительно относились.

Горохов работал и наблюдал, следил. Ничего подозрительного не замечал.

Когда дверь его мастерской (там же и электрошитовая) была приоткрыта, можно было видеть, как он пил чай, по-простому: при помощи литровой банки и кипятильника.

Чай простой, но хороший – «Лисма». Заваривал крепко. Сахар употреблял кусковой, рафинированный, прессованный.

Но больше – ничего конкретного.

...Но как же у них рано начинается смена...

Еще в сумерках Горохов шел к фабрике. Станция. Переход. Светло-серая башня гостиницы, уютно-вагонные занавесочки на окнах...

Стадион.

На краю стадиона происходило нечто страшное. Хотя на первый взгляд могло показаться забавным.

Среднего роста собака отчаянно гоняла по холодному просторному чуть заснеженному асфальту большую пустую пластиковую бутылку.

Вроде все хорошо: собачка играет...

Увы! Собака не играла. Она, конечно же, пыталась схватить посудину зубами, но раствора челюстей не хватало, бутылка летела далеко вперед, собака неслась за ней, и все повторялось сначала...

Собака сходила с ума и страдала от этого.

В собачьих движениях видна была уже совершенная обреченность.

И сизифовы, и танталовы, и еще неведомо чьи муки – и все в одном озверевшем четвероногом и хвостом лице...

...Что все это можно было предотвратить, просто отобрав бутылку, Горохов подумал только уже на фабрике, когда проходил проходную.

Работа на глухой фабрике все больше увлекала его. Спокойно, ритмично... Горохов работал на машине, машина формовала корпуса. Горохов складывал их в коробки и отдавал в другой цех, где работали одни только глухонемые. А они в корпусах собирали электрику... Провода, контакты...

И объект Барабиров был ему чисто по-человечески симпатичен и следить за ним было стыдно...

Лучше уж какие-нибудь монархисты, анархисты, либералисты, трубочисты...

С ними можно было, по крайней мере, честно чувствовать себя на посту... Или даже на боевом дежурстве...

Тем более они вроде не совсем полноценные люди... На них как бы ни человеческое, ни божеское не распространяется... То есть, конечно, распространяется, но как бы не вполне... Они – как бы вне...

Господи... Что я такое думаю! Совсем с ума сошел! Как это «не совсем полноценные»? Как я могу судить... Сам-то я кто... Но вообще, как быть?..

Горохов вконец запутался. И махнул рукой.

А на фабрике глухих работа между тем шла своим чередом.

Немалое место в жизни фабрики (по крайней мере, того цеха, где работал Горохов) занимали почему-то НЛО: неопознанные летающие объекты.

Почему так? Непонятно. Вроде общая мода на эти чудеса давно прошла, а тут у каждого почти трудящегося на рабочем месте была хоть какая-нибудь (иногда с картинками) книжечка или брошюрка на инопланетную тему.

Коллега Саша (на соседней машине работал) заставил и Горохова одну такую книжечку прочитать. Горохов бранился, зубами скрежетал, но освоил.

Одно откровение растрогало его до глубины души.

Некая десятиклассница с болью душевной поведала, как ее рассказу про пришельцев поверил один только учитель географии (молодой). В самом деле...

Горохов тоже иногда начинал фантазировать:

Полная тарелка пришельцев...

Целая тарелка пришельцев...

Еще б стакан какой-нибудь...

Увлеченный инопланетностью Саша был старше Горохова, крупный, сильный, добрый. Не слышал он совершенно. Но говорил очень хорошо. Вероятно, слух потерял в результате аварии и не очень давно.

После четвертинки он и сплясать мог прямо у станка, а если чуть больше четвертинки, то даже и спеть.

У него и автомобиль был, но домой со смены он чаще добирался на электричке. Вместе с Гороховым.

Иногда по дороге Горохов даже играл с ним в карты.

Вообще-то он давно уже карт терпеть не мог и в руки не брал, но с Сашей играл. В дурака. В подкидного. Очень уж Саша радовался, когда выигрывал... Правда, проиграть ему было трудно...

Книжка про пришельцев долго не шла из головы у Горохова.

«Рассказу старшеклассницы про пришельцев поверил один только молодой учитель...»

Это ж так понятно...

Эх, думал Горохов, будь я молодой учитель, я бы, может быть, тоже поверил...

Или притворился бы, что поверил.

А, притворившись, может быть, и в самом деле поверил бы.

И был бы теперь сам инопланетянином.

В крайнем случае, бывшим.

Или в отставке...

И, как знать... Может быть, мне теперь бы и легче было.

Если гора, говорят, не идет к Магомету, то Магомет, говорят, идет к горе...

...Так, если нам по причине дальности и принципиальной недостаточности технических средств практически невозможно лететь самим к другим планетам, звездам и галактикам, и всяким там цивилизациям, то почему бы им нас не навестить: с нежной, разумеется, вежливостью...

А почему б нет? Влажные сумерки за окном, казалось, вполне допускали такую возможность...

Горохов пару недель работал, следил, понаблюдал. Стыдно, конечно, было, но – какое-то возбуждающее нездоровое любопытство разогрело кровь...

Может быть, это все и решило: Горохову стало окончательно стыдно, и не владея собой от стыда, он прямо пошел к Барабирову, который, кроме того, показался ему чрезвычайно симпатичным, добрым и простым человеком...

– Кузьма Антонович... Разрешите представиться, Василий Горохов. Приставлен за вами следить...

Барабиров посмотрел на него внимательно.

– Плохо...

– Я знаю... Больше не буду...

– Да? Чего больше не будешь?

– Следить.

– А... Да, я не про то... Я про то, что плохо следишь... Ну, не хочешь следить, так хотя б на фабрике сколько-нибудь еще поработай... Душой отдохни... Чувства успокой... Я же с первого дня знал, что тебя ко мне приставили... Смотрел и удивлялся, как плохо ты меня наблюдаешь... Физику хоть немного помнишь?

– Физику?

– Ну, да... Согласно квантовому постулату, всякое наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие со средствами наблюдения, которым нельзя пренебречь... А поскольку это не только на квантовую физику распространяется, то сколько ты меня наблюдал, столько и я тебя... Наблюдал и удивлялся, как плохо ты за мной следишь...

Чтобы частному детективу лучше познакомиться с тем, за кем ему полагалось следить, до метро они пошли вместе.

Пива, конечно, взяли...

– А откуда... Откуда вы... Откуда ты знаешь, что я пришел на фабрику за тобой следить?.. Неужели Олег...

– Какой Олег? Это начальника твоего разведуправления Олегом зовут?.. Я и понятия не имел... Нет... Все гораздо проще... Просто за мной всегда следят...

13.

### Сон Горохова

Горохов уснул неожиданно. Сам не заметил, как уснул в вагоне электрического поезда, уносившего его куда-то на Запад. Уснул, и ему приснилось...

Светлый день и школьный коридор.

Пустой, прозрачный и чистый.

Но мало-помалу он стал наполняться живыми человеческими фигурами.

Сначала женскими.

Ленка (в очках), Светка, Ольга (толстая), другая Ленка, вся гладкая и как бы никакая, Алла...

Как они все были прекрасны!

Но потом всех их как будто смыло.

Вместо них в коридоре стали толпиться какие-то чужие, но почему-то знакомые, мужские фигуры. Взрослые, солидные.

Фигуры мелькали и двигались с достаточной быстротой, но при этом лица их сохраняли важное выражение.

Они даже улыбались вежливо и невыразительно.

Постепенно Горохов стал различать черты.

Один был генерал. И в мундире. И – государственной безопасности!

Другой – милиционер, третий полковник... Прочие больше походили на разного рода бизнесменов, госслужащих, мелких и средних жуликов. И, может быть, не самых мелких...

Стальные, нефтяные, лесные, овощебазные, а особенно финансовые если и не короли, то, по крайней мере, депутаты. Или сенаторы. А если считать по-военному, все не меньше полковников. Были среди них и владельцы ресторанов, и шеф-повары. Мелькнул и бандит-наркоман с вокзала...

Некоторые были страшно бледны. Совсем белые.

- Почему вы, – спросил Горохов, – такие?
  - Никакие мы не такие... Такие же, все... Просто мы уже умерли.
- Господи, помилуй! Да, кто же они все?

И тут – на то это и сон – у каждого в левой руке оказался маленький школьный пиджачок, а в правой личная черно-белая фотография в первоклассном возрасте.

Неужели же все это они: те самые ученики младших классов, которых он караулил когда-то в этом самом коридоре...

Неожиданно все они, и живые и мертвые, перестали быть важными и стали насмехаться:

- Вот мы-то в этой жизни чего-то достигли... А ты, Вася... Чего ты достиг?

Васе стало не очень хорошо, он во сне, полубессознательно стал «перевертывать» сон, чтобы снова были женщины, но пришла только тихая и кроткая его любимая законная жена...

– Милая!..

В это время вагон резко и громко затормозил, и по громкой связи прозвучало:

- Наш поезд прибыл на конечную станцию... Город Гагарин.

Вокзал в Гагарине удивлял относительной чистотой, приличностью и обилием космонавтской символики, ракеты, спутники... Но особенно много было скафандров.

Возле касс случился шум.

Пьяный мужик обращался по очереди ко всем, кто там был, просил дать ему на время паспорт, купить билет: теперь без паспорта даже на поезд билета не продавали... Он обещал за это денег, но никто ему паспорта не давал.

Подошел он и к Горохову, и Горохов тоже поостерегся дать ему паспорт.

Возвращаясь из г. Гагарина (Гжатска), Горохов вспомнил нечаянно (кто-то рассказывал, или где-то читал) грустную историю про освоение околоземного пространства и про Гагарина.

Известно, что перед тем, как запустить на орбиту человека, многих животных туда запускали: кошек, мышек, обезьян...

В конце концов остановились на собаках. Эта самая «Лайка», в честь которой сигареты, вроде там и погибла...

И рассказывают, что мужественный и умный Юрий Алексеевич сказал однажды:

- Я и сам не знаю, кто я был на орбите: первый человек или последняя собака...

Вернувшись и выйдя из поезда, Горохов шел по улице и сам себе удивлялся: да я же, оказывается, безумно люблю эту жизнь...

И со всеми ее пустяками, и со всеми ее сквозняками.

Со всеми глупостями, грязностями и несообразностями...

Вот как, оказывается... А я и не знал...

Удивленный Горохов смотрел то на небо, то под ноги...

Полный какой-то светлой грусти, он неожиданно увидел на асфальте сим-карту от мобильного телефона...

Наверно, телефон у кого-то вытащили, а карту выкинули.

Сам не зная зачем, Горохов поднял ее.

Какое-то хулиганское настроение нашло на него.

А почему бы и нет?

Он вставил карту в свой телефон. Карта не была заблокирована. Деньги, хоть и маленькие, на счету были. Номер Вельяминова остался у него еще с той самой «блестяще проведенной операции».

Он набрал сообщение:



«Марина и Гриша Отрепьевы едут в Москву. Встречайте. Орлов»  
И отправил. С чужого номера.  
Зачем? Он и сам не знал.  
Просто так.  
Шутовство гороховое...

14.

Лето только началось, и жизнь, следовательно, была полна надежд, пусть даже и несбыточных.

Ох, уж эти наши надежды! Избыточные и несбыточные.

Лето начиналось трудно.

В конце мая Горохов жил за городом. У Елизаветы Антоновны. Погода была неважная. То и дело шли дожди, притом холодные.

Горохов вспомнил, как в начале весны или даже еще в феврале он смотрел телевизор, и там передали прогноз НАСА, согласно которому в нашей средней полосе летом предполагается страшная жара и засуха. Тогда его это даже как-то обрадовало: в тепле жить легче, а неурожай от засухи нам не очень страшны: все равно все за границей за керосин покупаем – согласно международному разделению труда.

А теперь вот шли дожди, и было так прохладно, что иногда даже печь топили. Летом-то!

Горохов вспомнил, про прогноз НАСА и грустно посмеялся над американскими дураками.

К тому же у Елизаветы Антоновны, от возраста, что ли, стали обнаруживаться не самые красивые черты ее характера. Так что они то и дело ссорились. И дожди, дожди...

Кроме того бедная женщина стала теперь чрезвычайно патриотически партийна: все, что было когда-то, пусть и не очень давно, при советской власти, казалось ей совершенно прекрасным и правильным, а все теперешнее наоборот. Хотя при советской власти ей, как и большинству «нормальных» советских людей, все «советское», мягко говоря, совсем не нравилось...

Типическое ностальгическое выдумывание золотого века – в прошлом. Только очень агрессивное.

Понять это было можно, но терпеть трудно.

И совершенно бесполезно было что-либо объяснять.

Елизавета Антоновна ничего не слушала и пела: «То березка, то рябина...»

Где-то в половине июня Горохов уехал в город, и все вдруг переменялось в природе.

Стало очень жарко.

Даже в арифметическом исчислении. Температура днем не опускалась ниже 30 градусов. Горели леса. Все горело, где были торфяники, горело, и где их не было, тоже горело. Веси и города стояли в дыму. Дым был такой, что даже днем на солнце смотреть было вполне безопасно. Как ночью на луну. Только даже луна на темном небе ярче выглядела, чем это солнце в дыму.

Прогноз вражеского космического агентства сбывался.

Люди страдали и дурили. Многие ходили в намордниках (респираторах) или просто с марлевыми повязками. Наверно, в интернете прочли, что так надо.

В самые жаркие часы население пряталось, будто вымирало. Окна в домах занавешивали мокрыми простынями.

Только к ночи, когда темнело, наблюдалось радостное возбуждение, пиво, вода, смех...

Гибли птицы. Раньше всех голуби. Их тела чаще всех попадались под ногами. За ними синицы. Самыми выносливыми были, кажется, воробьи.

Все эти дни Горохов шатался по городу, по присутственным местам. На предмет восстановления потерянного паспорта. И просто гулял.

Он не слишком страдал от жары, хотя почти все дни проводил на улицах. Только ходил медленно.

И жара, и дым ему даже нравились. С одной стороны, не очень часто случается такое наблюдать, а это на самом деле страшно интересно.

Это вроде того, как младший брат великого писателя Чехова в 1927 году писал кому-то из Ялты, что быть свидетелем землетрясения это то же самое, что выиграть в лотерею 200 000 рублей.

Да, и вообще жара ему не была тягостна: он очень устал от холода этой жизни и не любил его.

Одно он точно знал: когда жара спадет, пожары от дождей погаснут, и дым рассеется, и если он до этого доживет, ему жаль будет со всем этим расстаться.

Так впоследствии и случилось. И дожил, и жаль было расставаться.

У одной доброй знакомой еще зимой умер кто-то из родственников, и Горохову подарили порядочное количество ставших вдруг ненужными новых белых футболок. Он клал их по несколько штук в сумку и так и ходил с ними по улицам. Когда одна порядочно загрязнялась, он просто снимал ее, бросал в помойку, надевал другую и шел дальше.

Но главное, в дыму и жаре он чувствовал себя увереннее и безопаснее. Общее стихийное бедствие как будто защищало его. Уравнивало с остальными гражданами. Нормальными и современными. С чадами века сего. Вроде теперь все равны. И Горохов тоже. Жара баюкала, дым укрывал.

А на окраине, на пруду недалеко от платформы Ракетная отдыхали, пели и делили власть.

Лихому парню Боре из Смоленска, длинного роста и серому от пыли, досталось больше всех. Целая банка (не считая водки).

Все сидели на траве или даже валялись, а он стоял прямо, довольный и счастливый, возвышаясь над всеми.

А Горохову, потому что он после всех пришел, совсем мало досталось, почти ничего.

Бесшабашная Зойка сняла с себя все и побросала на кусты: пусть сохнет...

– Из шланга два раза обливалась, и в пруд ныряла. Ничего толку... Все равно жарко.

Из-за необыкновенной погоды разговор то и дело принимал апокалипсическое и патристическое направление.

Бедные люди вообще к этому склонны, а если еще погода...

Обвиняли власти, обвиняли американцев и вообще наше время.

Заодно поминали нехорошими словами технический прогресс, космические ракеты, озоновые дыры и все такое, о чем имели отдаленное представление и на что никак не могли повлиять, но полагали, что кто-то может повлиять и «нарочно так делает».

– Ведь раньше-то никогда такого не было...

– Ну, это, допустим, глупости, – Гриша-интеллигент перевернулся с боку на бок, – все было. И такое было, и хуже... Перед взятием Иваном Третьим Великим Новгорода, например... И в XVI веке тоже... Дым от пожаров такой стоял, что за две сажени друг друга не видели... А от засухи еще и неурожай, и голод... Больше половины населения вымирала... И, между прочим, в первую очередь молодые люди...

Рыжий танкист Валерка нехорошим, хриплым от зноя голосом спросил:

– А ты откуда знаешь? Сам видел? Ты, что ли, жил тогда?

Борька, которому больше всех досталось, сказал примирительно:

– Давно это было... При царе Горохе...

– При царе Горохе? При царе Горохове? – Голая бесстыжая Зойка встала на четвереньки и смеялась. – Слышь, Горохов, это при тебе было?

Горохов подумал и сказал смиренно:

– Может и при мне. Точно не помню. Память совсем плохая стала.

Он с радостным удивлением смотрел на хохочущую Зойку: Вот радость-то. Везет дуре! – Когда она смеялась, видно было, что у нее еще почти все зубы целы.  
И губы как вишни. Или как сливы.

15.

И все равно хорошая была та жара. Страшная, но прекрасная...  
И Зойка-то, Зойка...  
Должно быть, совсем очумела от зноя и гари.  
Ушла в этот вечер с Гороховым.  
– Хоть ты и Горохов, но царь. Хочу и я хоть раз в жизни немного царицей побыть.  
И захохотала:  
– Хотя бы гороховой...

Так и стали они вдвоем гулять сквозь жару и дым. Смотрели на солнце: безопасно, как на луну...

Вечерами уезжали купаться и плавать подальше от города и от людей: на карьеры...

Однако все проходит.  
И все хорошее тоже.  
Редкостная жара с дымом и гарью постояла, постояла, поудивляла, поужасала и стала спадать.  
Трудная жизнь стала сворачиваться в так называемое «нормальное русло» (23-25 градусов).  
Считали потери от жары.  
Убытки, человеческие жертвы (и это было!) и др., и пр.

А с уходом жары и Зойка ушла от Горохова.  
Уехала. Домой. В Иваново.  
– Ты, – сказала она Горохову, – царь, следовательно, живи один...

16.

### Царская ноша

Дни шли за днями, и Горохов как-то забыл удивляться, что он все-таки жив и что жизнь прекрасна.

Дурак...

Сидел в библиотеке и читал в книжке стихи:

#### *Царская ноша*

*Г  
Известно, какой ореол.  
Страна то в огне, то в дерьме.  
Лягухообразный орел  
На медно-железном рубле.*

*Он крылья свои распростер,  
Он главы свои не склонил.  
Пылает стоглавый костер  
Над нежностью мирных могил.*

*Еще тишина, тишина...  
Но алое тлеет сквозь бред.  
У нас и весна как война,  
И осень – превратность побед.*

*Сады ли, пруды ли цветут –  
Рассвет в азиатской крови.*

*Все спутано: там или тут...  
И хоть бы немного любви...*

*Но некогда. Трубы трубят.  
Прохладно, И перья летят.*

*И тянется вязкая вязь,  
И рвется заветная связь.*

*2  
Было утро белее золы.  
Был наш быт безутешен и зол,  
И двусвязней двуручной пилы  
Был над нами двуглавый орел.*

*Мы проснемся ни свет ни заря,  
В голове ни вождя, ни царя.*

*Область боли: затылки и лбы.  
Место встреч: тупики и углы.  
Мы молчим, а над нами гербы.  
Мы одни, а над нами орлы.*

*А над ними дыханье ворон,  
Налетающих с разных сторон.*

*От ворон никакой обороны,  
Потому что орлы без короны.*

Дмитрий ЗАМЯТИН

СОЗДАТЕЛЬ ХОЛМОВ

\*\*\*

тому свидетельство языческий сенат  
никогда не бывает слишком рано  
давай выйдем на площадь этого сна  
как трагический человек софокла

ты проходишь стадию рыбы  
как будто дождь идёт где-то в другом городе  
над чёрными иконами деревьев  
взгляд улисса затоплен итакой

быстрее чем лани в нежной жатве  
под струящимся стягом слов  
на бегу

вечеровые кочевые речи  
то ли ты литоты длишь улитой  
полы пальто на стуле лопатой

\*\*\*

женщины  
огонь  
опасные вещи  
как твой воссозданный рим  
она купила зачем-то чуть-чуть голландского сыра  
в отблесках пустоты

расстегнёшь ваше платье  
наверное мы все страдаем ностальгией по садам  
поиски идентичности никогда не кончаются  
здесь шёл снег в августовские ноны

---

*Дмитрий Замятин родился в 1962 году. Окончил географический факультет МГУ, кандидат географических наук, доктор культурологии. Автор книг и статей о географических образах в культуре, пространственно-географических аспектах творчества П.Я. Чаадаева, Александра Блока, Бориса Пастернака, Андрея Платонова, Андрея Тарковского и др. Публиковался в журналах «НЛО», «Новая Юность», «Зеркало», «Октябрь», «Новый берег», «Урал», «Воздух» и др. Лауреат премии Андрея Белоого (2011) в номинации «Гуманитарные исследования».*

всё твоё тело цветёт большим  
дождливое раннее утро последней гражданской войны  
как предварительно напряжённая железобетонная балка  
в углах городского зноя

за кризисом вызванным верлибром  
ребята поющие в метро  
кафка был тайным мейнстримом  
пойменный  
пойманный  
поимённый луговой микрокосмос

\*\*\*

я неизбежно терялся в водянистых вселенных  
пролежни платёжеспособности  
дотошная трепетность репетиций  
стойкое пребывание на месте к счастью

назидательные глаголы в речи отца  
за волшебной матовой влагой  
я не хочу вторгаться в ваши девичьи сны  
хлестая в большое холодное стекло

их едва слышная беседа  
пытаясь рыдать стремился дальше  
необычайная точность языческого ничто  
мошна мощна и танки наши быстры

\*\*\*

осенняя шапочка детская с красной звёздочкой  
неоконченность чьей-то чужой моей мысли  
я бросила биофак после первого курса  
а безграничные степи центральная азия

на самых верхних багажных полках  
он летел через океан уже второй раз  
проникаясь пространством чем-то  
я или брат в этой шапочке

в тот дачный подмосковный посёлок  
помогаешь да природа хороша  
я любила ездить долгими пассажирскими поездами  
но книги были действительно всем

среди картинных почти берёз на склоне  
но простить тот город нельзя за его недоужность  
ты звонила несколько раз и всё что-то  
провинциальный британский университет на магистерскую программу

цены отпустили  
наука непросто давалась  
молодая красивая сотрудница оксана  
надо было принимать решения

\*\*\*

я заболел красным и золотым  
женщина будто течение реки  
реальная ритуальность аллитераций  
в сибире он поселился на заимке

сохраняется это семейное беспокойство  
вереск цветёт  
жуть нежна рукопожатьем дрожью  
поехать на две недели в парагвай

в деликатно урчащих роскошных лимузинах  
идти налегке к высшей цели евангельской  
просто я умею управлять пейзажами  
как голый остов логической структуры

ночи на юге спускаются скоро  
включённые сами в расслоение человеческих слогов  
мы годами жили как придётся  
полузабытые тексты ортодоксальных армейских уставов

так возникает то и это  
продолжая собой вибрации голосовых связок  
не выходите за линию огня  
ну а потом выскользнул из себя

\*\*\*

долго хотел поехать в питер  
дружба была немного странной  
хрустит снег ушанка греет  
катя была дочерью начальника

иногда чувствовал себя в вагоне утром ранним  
среднеазиатское южное пиршество за копейки

и что делать сразу не скажешь  
те дачные ночи он хорошо запомнил

посиделки были хорошие у костра  
а мне нужно моё я  
кочевники резня растаявшие империи  
как только мы начинаем думать

если бы это был хронотоп  
в выгоревших глазах бровях не было вопроса  
вечер темнел  
ни капли религиозности

любой прилетевший в лагерь вертолёт  
могли быть отдельные рассказанные истории  
неотделимы от теневых сторон улиц  
пальцы которые вытягиваются

\*\*\*

бороться впоследствии доказать  
осторожно и привычно идя медвежьей тропой  
мы жарили яичницу по очереди  
не будут слышны призывы к необычным идеям

заброшенные волейбольные площадки  
оставить во времени ещё молодых родителей  
майские жуки погожий майский вечер  
осознавать телесные точки локализации

фильмы про фантомаса в старом кинотеатре  
какие-то деревянные ложки висящие на стене  
драма развёртывается не среди чувств  
ходишь как случайный прохожий

переселяться сюда пока не тянет  
мы все умираем внезапно  
ты звонила несколько раз  
вот так в конце концов когда свобода

\*\*\*

неизвестность стала рассеиваться  
я не знаю что было в его жизни  
наверное мартовское солнце  
моя мама очень хотела чтобы



сырость мягкой погоды была  
целая жизнь проходит  
тебя тянет загород через все предместья  
вообразить звучание воздуха

разлагающаяся скульптура ночи  
ветер важен не сам по себе  
в сенях столь открытого дома письма  
с детства я был послушным мальчиком

каждый плывёт по орбите  
голод гладкого и ледяного  
где стойко отпускают водку в розлив  
слегка затуманившееся стекло вечности

\*\*\*

топлёное молоко приречного вечера  
зелёное солнце авангарда  
твои нукеры приветствуют тебя  
какие-то шкеты останавливают тебя

глотаю у костерка обжигающий чифирь  
пожилой провинциальный человек сочиняющий книжки  
обычные влажные чуть изношенные слова  
мы забывшие кочевые шатры

пар доверчивого оленьего дыхания  
ветшающее тело дождя  
следить с балкона за перемещениями дворника  
письмо о порядке сосуществований

\*\*\*

свистом полуночных троллейбусных проводов  
хочется быть своим  
нерешительные снежные пятнышки  
попытки затерянных местностей

так и катится текст перевозданный  
как угасает её улыбка  
та же самая мороженщица из клина  
сохранились и чёрно-белые фотографии

талая теснота телесности  
теперь дальше образов тёплой норы

лёгкий крен горных массивов и кряжей  
и требуют двадцать копеек  
а тебе пятнадцать лет

\*\*\*

плитчатая раскадровка ландшафтного сценария  
еле угадываемые фигурки местного кино

вырезанные фрагменты пейзажных указателей и ориентировок  
весь этот драйв пространства  
ощущается скользкой глянцевою чешуёй  
шероховатого визуального образа  
глубины самого времени

\*\*\*

влажновоздушная оторопь  
закатного склона  
красящая светоносные кущи  
щекой шершавого щебнистого  
проваливающегося ландшафта  
древесно-веточных пройм

\*\*\*

нервное пространство  
неровного выщербленного перрона  
холодок мешкотных клубящихся теней  
пугливая остановка  
убегающей поездной гусеницы

многоликие офени  
кружатся неистовствуют  
курево пиво дым пирожки  
тапочки на босу ногу  
простукивание колёс  
ворованный хрусталь  
собаки как бездомные дети  
брошенный щебень судеб  
нежность  
входящая бесконечностью  
грязной вагонной подножки

скрытое сожаление  
растущее дорбогой  
мишурной раскрашенной осени

\*\*\*

палочки-щепочки  
разметанного стойбища  
киммерийской ночи  
охваченной полузабытой картой  
арктической памяти  
плавающей распорошенным ветром  
дымкой ледяного деепричастия  
пространства

\*\*\*

франкенштейном полярного ужаса  
бежит-трепещет-плещется  
арктичность  
на трёх мощных старых моржах

она разговаривает с домом  
холодеющей вселенной  
как шелковый чернеющий великан  
сказкой больного морозного солнца

студится-простужается она  
как что-то тихо шепчущая рыба

радугой краснеющего чума  
она снаряжает ковчег  
оленьего путешественного спасения

\*\*\*

лайки  
лениво сидящие  
среди лунок  
на льду

нарты  
ещё нарты

корочка вечности  
ломкие  
ненадёжные  
припаи бытия

\*\*\*

под предлогом гор  
пустота знака  
размытого неба  
снега  
нега  
расташенного разложенного  
ландшафта  
текущего образом  
кисти  
руки  
реки  
разница оснований земли  
в холмах руинах  
реющем свете нитей  
отдалённого взглядом  
дождя

\*\*\*

штык или  
внезапная молния

светящейся на стекле  
с полутьмы рассветного  
полустанка  
струи дождевой

напоминание о сумерках пространства  
тяготящихся  
неприбранным  
полураздетым  
ландшафтом  
еще неизвестного  
неоткрытого  
места

\*\*\*

длительная и настойчивая  
стучащая  
дорожная  
тьма  
в убегающем окне-иллюминаторе поезда  
протяжённая настолько

насколько  
хватает  
сил  
увидеть себя  
свой собственный географический образ  
как зеркальную сферу  
рельефной  
оконной  
вечности

\*\*\*

пылающие столбики отсвечивающих фонарей  
окон  
в сумраке городского вечернего пруда  
водяной свет  
дрожащий и  
тонущий  
подтверждает сквозящую правоту  
легкого  
небесного  
снега  
чей вертикальный  
белый-белый цвет  
(объ)являет  
конец холодающей неверной горизонтали  
поздней  
осени

## Дмитрий БРИСЕНКО

### УКРАДЕННЫЕ И ПЕРЕМЕШАННЫЕ ТЕКСТЫ

#### Твен vs Мелвилл

– Человек за бортом!

Нет ответа.

– Человек за бортом!

Нет ответа.

– Куда же он запропастился, этот юнга? Том!

Нет ответа.

Капитан оглядел палубу поверх бинокля; потом вздернул бинокль и глянул из-под него: он редко смотрел сквозь бинокль, если ему приходилось искать такую мелочь, как юнга. В первую минуту он как будто растерялся и сказал не очень сердито, но всё же довольно громко, чтобы якорь и швартовы могли его слышать:

– Ну, попадись только! Я тебя...

Позади послышался лёгкий шорох. Он оглянулся и в ту же секунду схватил за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть.

– Ну конечно! И как это я мог забыть про камбуз! Что ты там делал?

– Ничего, сэр!

– Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?

– Не могу знать, сэр!

– А я знаю. Это – варенье, вот что это такое. Кстати, ты слышал мою команду «человек за бортом!»?

– Да, сэр! Я слышал, но не мог взять в толк, что это за «человек-забор» такой и при чём тут я? Я даже на секунду выглянул из камбуза, но ничего подозрительного не увидел!

– Юнга! Да ты вздумал издеваться надо мной?

– Никак нет, сэр! Я на миг даже представил, что вы решили напомнить мне об одном русском поэте и его стихотворении о человеке по имени Иван Топорышкин – нам рассказывал о нём в школе мистер Доббинс. Правда, Иван сравнивается с бревном, а в реке проваливается в забор его пудель. Поэтому в вашей версии это мог быть пудель-забор – вот так я подумал. Однако никакой собаки на палубе я тоже не заметил!

Глаза капитана расширились, побелели и стали размером с окуляры бинокля.

– Тысяча чертей! Отставить вкручивать мне мозги! Сорок раз я говорил тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот шпицрутен.

---

*Дмитрий Брисенко – поэт, прозаик. Родился в Великих Луках. Жил на Урале и в Подмоскowie, учился в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Публиковался в журналах «Волга», «Урал», «Русская жизнь», «Полдень XXI век», «Новая Юность» и др., а также в нескольких антологиях современного рассказа. Автор книги стихов «Из всех орудий» (2019). Живет в Москве.*

Шомпол взметнулся в воздухе – казалось, беды не миновать.

– Ай! Капитан! Что это у вас за спиной!

Капитан испуганно повернулся вокруг своей оси, чтобы уберечь себя от смертельной опасности, а мальчик в ту же секунду бросился бежать, быстро спустил шлюпку на воду – и был таков!

Капитан остолбенел на миг, а потом стал добродушно смеяться.

– Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он выкидывал со мной всяких штук? Мог бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Впрочем, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то другая – разве тут догадаться, что у него на уме? Ivan Topogyschkin, ну надо же! Ха-ха-ха...

Старый Ахав (таково, вне всяких сомнений, было имя капитана) похлопал по карманам кителя, достал трубку, разжёг её и, продолжая посмеиваться, направился в судовую рубку. Протез, заменивший ему потерянную ногу, выстукивал по палубе в ритме фламенко. До встречи с Моби Диком оставалось двести сорок склянок.

### Чжуан-цзы vs Хармс

Однажды Чжуан-цзы заснул и увидел сон, будто он стал мотыльком. Порхает он с цветка на цветок, а за кустами сидит Калугин и боится милиционера.

Чжуан-цзы проснулся, позвонил в колокольчик, лег на правый бок и снова заснул, и опять увидел сон, будто он стал мотыльком. Порхает он с цветка на цветок, а за кустами сидит Калугин и боится милиционера.

Чжуан-цзы проснулся, попросил слугу принести ему стаканчик холодной рисовой водки, выпил водку, лег на живот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он стал мотыльком. Порхает он с цветка на цветок, а за кустами сидит Калугин и боится милиционера.

Чжуан-цзы проснулся, посмотрел из окна на реку Хуанхэ, посидел в позе лотоса, лег на левый бок, и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто стал он мотыльком. Порхает он с цветка на цветок, а за кустами сидит Калугин и боится милиционера.

Тут Чжуан-цзы проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто мотылек стал Чжуаном-цзы, а Калугин сидит за милиционером, и мимо них идут кусты.

Чжуан-цзы закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не смог.

Чжуан-цзы спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день проснулся таким тощим, что учитель Ляо Пинь не допустил его до утренней медитации. Чжуан-цзы был вынужден покинуть монастырь и начал странствовать по свету. И с тех пор он уже не знал, кто он: Цзы, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому снится, что он – Чжуан-цзы.

Калугина же сложили пополам и выкинули как сор.

### Нимёллер vs Летов

Когда смерть пришла за Андреем, я молчал, ведь я же не Андрей.

Потом смерть пришла за Жендосом, я молчал, ведь я же не Жендос.

Потом смерть пришла за Паштетом, я молчал, ведь я же не Паштет.

Потом смерть пришла за Валериком, я молчал, ведь я же не Валерик.

А потом смерть пришла за мной, но уже не было никого, кто бы это опроверг.

### **Рябинин vs Оқуджава**

Один раз в год сады цветут,  
Весну любви один раз ждут,  
И только мы плечом к плечу  
Врастаем в землю тут.

### **Кормильцев vs Дербенёв**

Она читала мир как роман,  
А лучше бы как Марина,  
Ну или как Александр,  
На худой конец как Оксана,  
Или как Павел,  
Павел был лучший в классе  
По скоротчению;  
Отлично прочитывал мир,  
Например, Иннокентий.  
Ведь этот мир придуман не нами,  
Этот мир придуман не мной.  
Она читала мир как роман,  
А лучше б сама,  
Теперь устала и мучит мигрень,  
Сидит у окна  
И думает:  
«Эх, Ромка-роман,  
Где ж ты теперь».

### **Чуковский vs неизвестный автор**

У меня зазвонил телефон.  
– Кто говорит?  
– Смерть Легавым От Ножа.  
О, спасите моржа!  
Вчера проглотил он морского ежа!  
И проч., и проч.  
– Повесьте, пожалуйста, трубку.  
Не повод шутить, уже ночь.



### Конан Дойл vs Янссон

В конце ноября Холмс совершает затыжной прыжок с Рейхенбахского водопада (три винта, оммаж Клаусу Дибиаши, дальше свободное падение). Через 5 секунд полёта он превращается в хомсу. Войдя без всплеска в воду, хомса (паспорт выдан на имя Тофт) выныривает на поверхность в сотне метров ниже по течению реки. Там, прямо на берегу, под ольховыми кронами, стоит зятнутая брезентом лодка хемуля.

Никто не знал, что там живет хомса. Хомса Тофт обожал запах дегтя, он был доволен, что в его доме так хорошо пахло. Просторное теплое пальтишко хомсы (ну, какое пальтишко, скорее, пальтище – чёрное кашемировое пальто Холмса размеров на 20 больше, хомса мог спрятаться в рукаве целиком) согривало его долгими осенними ночами.

Говорили, что имя Тофт означало просто банку (при этом уточняли: «имя его не имело ничего общего с корабельной банкой, это было просто совпадение»). Но это не так. В переводе с английского Тофт значит «усадьба», о чём знали в том числе и создатели телесериала про знаменитого сыщика (1979–1986 гг., реж. И. Масленников) – в частности, в усадьбе на острове вблизи Выборга проходили съёмки. Говорили также, что эту знаменитую усадьбу впоследствии прибрали к рукам некие люди, близкие к окружению президента страны, в состав которой входит упомянутый остров.

Хомса зимует в лодке, а в начале весны возвращается к себе домой на Бейкер-стрит, вновь приняв обличье Холмса. Его встречают доктор Ватсон и миссис Хадсон (если бы они, подобно Холмсу, знали тайную дорогу в Муми-дол, там бы их звали, несомненно, Тофсла и Вифсла). Холмс рассказывает о происходивших с ним историях. В одной из них он сражается с профессором Мориарти (в Муми-доле известном как Морра, чьё имя используется там как ругательство), побеждает его и, совершив затыжной прыжок с Рейхенбахского водопада (три винта, оммаж Клаусу Дибиаши, дальше свободное падение), превращается в маленького хомсу.

Ватсон слушает эти рассказы с невозмутимо-туповатым выражением лица, попыхивая трубкой Холмса, к которой успел пристраститься за время отсутствия ее хозяина. Невозможно понять, случилось ли это с великим сыщиком на самом деле или это был лишь сон, приснившийся хомсе во время долгой зимней спячки. Впрочем, Ватсон особо не вникает, просто радуется, что зима кончилась, и его друг и старший товарищ наконец вернулся домой.

Так происходит каждый год, в конце ноября.

## Каринэ АРУТЮНОВА

### НА УЛИЦЕ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ (записки из заточения)

Утренний свет такой едва слышимый, едва уловимый.

Слово «дождь» не передаёт монотонности стекающих капель.

Пожалуй, – только «маим» (вода, ивр.).

Ма-им – будто яма, заполненная дождевой водой, в ней влаги на много жизней вперёд, и если бы не вязкость ее, гигроскопичность, одному богу известно, что творилось бы в этой самой яме. Но земля впитывает влагу, всасывает ее, набухает, угрожая грядущим плодородием. Ненасытная, точно исполинская самка, поглощает она тонны воды, – затянута пленкой пластика, коркой бетона и асфальта, корчится, тужится, кряхтит, и – о, чудо чудное, – чахлый росток пробивается из недр ее, – такой, казалось бы, слабый и едва различимый посреди нагромождения бездарной (будто в снятой поспешно мебелированной квартире) планировки городских окраин.

Жизненная сила ростка и заключённый в нем будущий свет, напитавшись сегодняшней влагой, завтра станут деревом, листом, тугими прожилками на нем, ароматом и цветом и, собственно, самим светом, заимствованным из монотонности стекающей воды, из сырости и глубины наполненной мутной водой ямы.

И слово «маим» (в иврите воды и небеса, шамаим, даны во множестве, и в этом отличие от одномерности, плоскости воды и неба – как наивно раскрашенная ребенком картинка отличается от работы мастера) внезапно наполняется глубиной, объемом, спектром и перспективой.

Дождь. На улице Белой Королевы дождь. Пришла поздороваться с этим миром. И увидеть, что он все же хорош.

\*\*\*

Сиди дома. Не сиди дома. Дыши воздухом. Читай новости. Сходи с ума. Медленно, но, увы, неизбежно. От ссылок и репортажей рябит в глазах, ощутимо нарастает напряжение, до спазма в груди. Знаете, как тревога разрушает изнутри? Отбирает чувство жизни, сиюминутное, вот прямо сейчас. Но – не заглядывать невозможно. В пятый (десятый) раз читаешь рекомендации. Моешь руки. Опять моешь. С опаской открываешь дверь в подъезд. Сталкиваешься с супружеской четой, соседями, короткое приветствие (отмечаю про себя, что дыхание зажато, но силой мысли заставляю себя дышать свободно, вон и птички поют, и жизнь налаживается уличная). Ну да, птичка поет, потому что дура. Не читает за завтраком газет. Ни советских, ни других.

---

*Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы, в том числе «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Цвет граната, вкус лимона», «Падает снег, летит птица» (Каяла, 2017), «Нарекаци от Лилит» (Каяла, 2019), «Мой друг Бенджамен» (Киев: Наири, 2020). Публикации в журналах «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.*

Собираюсь идти за хлебом насущным. Надо это... салфетки влажные, очень удобно. Одноразовых перчаток упаковку, и вот. Мыло. Люблю, когда его много, ароматного, разного. Выдвигаешь ящичек, а там благоухающее мыльце в нарядной упаковке. Соль (армяне любят соль, – папин голос).

Сахар. Тростниковый. Кусковой. Это важно.

Есть вещи незыблемые, стабильные. Например, серебряная сахарница из дома моего папы. Из его самого первого дома. И даже, по всей видимости, из дома его отца. Она не должна пустовать. Простаивать. Распечатьваешь коробку, заполняешь уютное пространство сахарницы. Щипчиками (они пришли в дом вместе с сахарницей).

Такие простые действия. Один, два, три. Надо же, успокаивает. Что-то обыденное. Важное. Придет момент, и каждый кубик будет в цене.

Стайка хохочущих подростков, всклокоченные головы, разноцветные рюкзаки, разболтанные движения. Девушки в огромных, будто белые парусники, кроссовках. Губки, бровки, селфи. Плынут, покачиваясь на ветру. Он тебе написал? Ты серьезно? И что ты ответила? А он что?

Чувство смелости, лёгкости, преступной наивности, безалаберности. Запах жизни.

Старушка в стоптанных ботах прутром подзывает рыжего лохматого пса. Она тут часто, старушка эта. Лицо красивое, без дураков. Ладонью прикрывает глаза. В зрачках отблеск солнечный, пелена многих жизней, тихое свечение.

Жалуетса (без гнева) на непутевую дочь, говорит о внучке – вот, подарила щенка, а «оно мне надо?» Но не выбросить же, так и живём. В любую погоду. Пыльные чоботы, шерстяной платок, душегрейка, рыжий пёс, длинная веревка. Вирус? Какой такой вирус. Тут один день как огромная жизнь. Как бесценный дар.

Перчатки, латекс, спички, соль. Про соль все понятно. Сахар вот тоже. Кивает, будто вспоминает что-то, из давнего.

Улыбается всеми морщинами. Это ей как раз понятно. В сложные времена ценность приобретают самые простые вещи. Рукопожатие – холодное, отстраненное, теплое, подбадривающее, горячее, влажное, пугливое, тревожное. Объятие, так быстро сокращающее дистанцию между людьми, поцелуй.

Стоп. О чем это я? О сахаре. О сахарнице. Она заполняется потихоньку, и это уже хорошо. Один, два, три...

\*\*\*

С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.

Вдумайтесь только, – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп бытия живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?

Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.

Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Нырнешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.

Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова – на помощь приходят запахи.

Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой – так пах-

нет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости, – накануне долгой зимы.

А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет, – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользящий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) – двадцати, тридцати, – слышишь, как ветви стучат в окно? как ускорится шаг?

Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало, – кажется, только вернулся с шука, раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил, – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «леуми» (банк в Израиле).

Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.

Как пахнет тоска, как уголком загибается лист прочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.

Свет далеких окон, нежность скомканных слов, – дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза, – сопровождающих на каждом ухабе.

Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.

Как пахнет жизнь, подаренная... господи, ни за что, просто так, еще одна. Новая, неизношенная, целая.

Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела), – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.

\*\*\*

За день солнце совершает кругооборот вокруг дома и, соответственно, нашей квартиры, которая расположена в торце.

Я следую да ним, перемещаясь в лоджию, а из нее в боковую комнату.

Утро я встречаю у мольберта, постепенно сдвигая его вдоль, открывая окно за окном. Господи, это такое упоительное путешествие! Тень от треноги становится острее, чётче, там и сям следы от маленьких лап моего друга. Наконец-то мы живём в унисон, радуясь простым вещам. Солнце включили, места под ним хватает. Да, вдобавок нашелся теннисный мячик, пропавший из поля зрения в прошлом году.

По мере передвижения вслед за проснувшимся светилом обнаруживается уйма предметов. Упаковки кисточек (про запас), коробки с пастелью, карандашами, засохший растворитель, ретушный лак, свечи, коллекция монет, полная коробка из-под леденцов с турецкими лирами, армянскими драмами, грузинскими лари.

Будет чем занять себя долгими вечерами, перебирая горсть монеток и загадывая, пригодятся они когда-нибудь или нет. Некоторые из них (грузинские лари с нанесенной на их поверхность утонченной чеканкой) можно разглядывать часами

Жаль, канула в Лету коллекция пуговиц, марок, запонок, зажигалок и курительных трубок.

Как, однако, удивителен мир затерянных (в недрах домов) предметов, обладающих памятью и связью с прошлым. Записная книжка с ненужными телефонами и адресами. Шнуры и зарядки от бездействующих телефонных аппаратов (о, сколько тайн таят они в своих проводках и мембранах), сколько будничных, смешных и горьких фраз.

А чёрно-белые снимки ушедших эпох?

Из окна моей комнаты можно наблюдать угасание дня. Как медленно солнце опускается за крыши домов, и где-то там (уже за ними) его последние лучи касаются земли.

Долгое путешествие заканчивается на подоконнике, и я вспоминаю героиню одной картины из старого подольского дома на улице Притисско-Никольской.

Точно так же сидела она, обхватив колени сцепленными пальцами рук, у окна с распахнутыми ставнями, и картина эта была про счастье.

\*\*\*

Внутренняя (утробная) жизнь, похожая на приоткрытую кладовку со множеством ящичков и шифлодиков. Приоткрывается, оттуда тряпье, старушки, кастрюли, густая, пахучая, точно мясной навар, жизнь.

Зимой всего этого как будто не существует. Но стоит какой-нибудь двери остаться открытой, как тяжкий дух вырывается наружу, стелется, проступает, точно жирное пятно на скатерти (ну как тут не вспомнить мамлеевское «мы все ядим, ядим», – голосом востроносы старушки, идущей через комнаты с шипящей чугунной сковородой).

Внизу четыре квартиры занимает одна семья. Давно все перемешалось. Дети, родители, зятья и золовки. Будто осине гнездо. Дети давно стали родителями, родители – детьми. Иногда появляется пожилой мужчина с наполненным доверху ведром. Он носит его на улицу. Бог его знает, что там, в этом ведре.

Жизнь семейства кишит изнутри. Крестины, именины, проводы и смотрины. Я вижу старшего сына, высокого тощего точно жердь, с неряшливо растущей рыжей бородой. Он похож на старообрядца. Вскидывает глаза, в них одно и то же выражение. Что-то истовое, из другой жизни. Интересно, куда он ходит каждый божий день со своим рыжим облезлым портфелем? Старики на мое приветствие косятся настороженно, но упорно молчат.

Боюсь окон первого этажа. Скорбных недвижимых занавесок. Обычно за ними скрываются раздраженные уличным движением и детским гомоном старушки. Всё-таки, образ старухи Ивановны из детства до сих пор жив.

В памяти моей странным образом удержались пыльные (будто припорошенные временем) желтоватые тюлевые занавески в одном из окон нежилого на вид дома в случайном провинциальном городке. Я помню долгий день, себя, родителей, маленького брата, бегущего впереди, и это тяжёлое чувство – будто невидимая глазу жизнь наблюдает за идущими нами, пришельцами из другого, насыщенного событиями и движением мира.

Как, каким образом чудо возникающей тут и там жизни закрепляется и удерживается (благодаря, вопреки) в одном из этих городов, на одной из улочек, почти безликих, почти безымянных, со стертыми выражениями на осевших фасадах.

Пришельцу эта жизнь кажется незначимой, случайной, лишённой смысла. Один день похож на другой. Один и тот же цветок герани в тусклом окошке. Сонное (лишённое пола и возраста) лицо в просвете. Расплывшийся ко всему безразличный кошачий силуэт на подоконнике.

Тревожное чувство сдавливает грудь. Я оглядываюсь на идущих родителей. Они молоды, но кажутся безмерно уставшими, как будто бессмысленное сражение с действительностью высасывает из них силу, молодость и красоту.

Я выдыхаю с облегчением только дома, в окружении книг. Все становится на места. Папа в своем кабинете за пишущей машинкой, я, блуждающая в нескончаемом книжном лабиринте. Чужой непонятный мир остаётся за порогом. Где-то там, за трамвайной линией и автобусной остановкой.

\*\*\*

Циклонам принято давать красивые звучные имена. Изольда, Эль Ниньо (малыш, мальчик), Катрина. Наивная попытка очеловечивания дикой стихии. Конечно, если все объяснить и назвать, оно уже не так страшно.

Как, вы говорите, они встречаются, эти холодные и теплые воздушные массы? Над Тихим, говорите, океаном? Захотелось взять в руки учебник географии. Муссоны, пассаты... География считалась так себе предметом. Не тригонометрия. Средний по значимости. Где-то после истории. Но как же уныло беспросветно ползли строки, от раскрытого учебника разлило тоской. Все эти экибастузские месторождения.

Я ничего не помню. Все уроки я смотрела в окно. Или на смугло-желтое лицо нашей географички. Душной грузной женщины, с уверенностью крейсера плывущей по классу. Как шла ее властной руке указка. Есть женщины с темными тяжёлыми лицами, с печатью призвания на них. Допустим, нелюби к детям. У нелюби этой был отчётливо выраженный запах. Скорее всего, это был запах отечественной косметики. Пассаты с запахом сладкой рассыпчатой пудры, кричащей помады морковного цвета. Муссоны – темно-вишневого, хищного, жирно поблескивающего на узких, точно прорезь в копилке, губах.

Отрезвляющая реальность обыденного. Формирующиеся над Атлантикой воздушные массы никакого отношения не имели к смеющимся девочкам, стайкой идущим из школы. К сливовому дереву у дороги.

К канцелярскому отделу в книжном магазинчике на углу, – там можно было заметить охваченное необъяснимым желанием лицо девочки лет десяти. Блокнотики, ручки, карандашники. Новизна развернутого тетрадного листа, целостность и цельность крошащегося грифеля. Лавка чудес.

В магазинчике торговали похожие на мышей женщины – видимо, из одного семейного клана. Красноватые глаза на белых, будто обсыпанных мукой острых лицах, неслышная походка, бескровные, лишенные рисунка и цвета губы. В помещении царила тишина, – то ли больничная, то ли храмовая. И мышьеобразные женщины казались служительницами неведомого культа.

Я часто паслась в этом храме, сжимая в ладони сэкономленные на обедах копейки. На них я покупала крохотные сшитые книжечки для младшего брата, – довольно славные, разукрашенные наивными иллюстрациями. Нечитанная книжица дарила ощущение лёгкого триумфа над предсказуемостью будничных дней. Сколько этих, незамысловатых, точно знаки препинания, книжиц пылилось на полках. Прочитанные, они теряли смысл. Уже с первой страницы проступало разочарование. Их невозможно было перечитывать, упиваясь подтекстом или сюжетом.

Зачем же я покупала их вновь и вновь? Очарование бездумной траты? Лёгкой добычи? Небрежности пересыпаемой из детской руки мелочи?

Как-то, уже повзрослев, я вновь оказалась в книжном на углу. Снисходительно обвела глазами полки. Ничего не изменилось. Притихшая детвора (под строгим взглядом старшей мыши, – или это была постаревшая младшая?). Мучнистые пальцы с заусенцами, запах клея.

Писчебумажное царство, заманивающее мигающими лампами скудного света. Заколдованный мир раскрасок и карандашей.

Я провела там полтора часа. Перебирая книгу за книгой, листая жёлтые страницы, я ловила на себе пристальный взгляд белой мыши, робея (как и в прежние времена), пристыженно ставила книгу на место.

Ещё бы, некоторые хитрые покупатели так хитры, что читают книги не отходя от книжной полки и уходят, не заплатив ни копейки. Вот о чем был ее взгляд.

Да, она была почти права. Давно уже я могла отличить пустышку от настоящей книги, с первой страницы, с несмелого шороха ее, с формы шрифта и расстояния между абзацами. Я раскрывала книги одну за другой, распознавая текст, ощупывая буквы, я предавалась древнему, как мир, инстинкту – познания. Ощупывая, впиваясь, разглаживая, я не могла остановиться, вырваться из заколдованного круга.

Очнулась я уже за порогом. От нехватки кислорода мысли путались в голове, мой будущий сын нетерпеливо постукивал крошечной ступней изнутри, ему тоже не хватало воздуха, он явно пресытился запахами типографской краски, книжных корешков, клея. Выходя, я столкнулась с немигающим взглядом мыши.

Дни магазинчика были сочтены (знала ли она об этом?). В учебники истории (и географии) скоро внесут поправки. Экибастузский угольный бассейн окажется в другой стране, у ураганов появятся звучные иностранные имена. Изольда, Эль Ниньо, Катрина.

\*\*\*

Я когда-то поражалась – отчего это бабушке моей все не спится?

В четыре утра долгие пространные беседы у кухонного стола, причем такие, довольно эмоциональные, с подтекстом и надрывом.

Ну, там, слава богу, всегда был подтекст. Жизнь непростая. Лишения опять же. Невзгоды. Тут одну войну как вспомнишь, не до сна, знаете ли. Не до бубликов с баранками. Опять же мастер Яша с четвертой обувной время от времени мерцает. Соседка алкоголичка тетя Паша. Та самая, которая в ногах плакала умоляла не уезжать. Куда вам с ребенком, Розочка, с дитем? В дорогу. А вдруг бомбить начнут? А кормить чем? Дитё малое, чахлое опять же, к тому же единственное. Уж тут как-нибудь сообща. Не дадим пропасть. Кто коржик, кто коврижку. А в дороге что? Жмых один.

Ну да, права была тетя Паша. Жмых и был. Только и был, что жмых. И холод, и вши. Зато живы остались. Как выжили, не спрашивайте. И полы за тарелку горячего мыли. И балетки за пазухой выносили, чтобы дитя подкормить. Вернулись, а тети Пашина семья уже тут как тут. В комнатке шестиметровой полуподвальной. Всей семьёй. Зять пьющий мрачный, пузо чешет. Дочь на сносях. Присмотрели за комнатой, значит. Чтoб чужим не досталась.

И вот, сидит моя бабушка в четыре утра, жестикулирует, обращается со всем своим почтением к Всевышнему, – смотри, Отче, дитя сберегла, и сама (хоть и с туберкулёзом) выжила, мир все же не без добрых людей, там тарелку супа, здесь кусок жмыха, в общем, уговор сдержала. Но и ты будь человеком. Как разделить неделимое?

Не знаю, что ей там отвечал Отче, похоже, ему все время было не до того. Манкировал бабушкиными просьбами и мольбами. Ну, ясное же дело. У него там сотни окошек в чате. Мерцают, заклинают, благодарят. Чудны дела твои. Одно слово – Творец.

Не до квадратных метров. Не до мелких потуг.

Однако, с божьей все-таки помощью, и здесь выкрутились. Ай, сколько радости от простых вещей! От кровати с пружинами. От никелированных шишечек. От платя с вытачками где положено. От того, что жива. Пульс под белой кожей, шаг ровный, лёгкий. Куда вы бежите, девушка? Какая красивая! Девушка! Стойте!

В общем, бабушке моей Розе всегда было о чем поговорить со Всевышним. Там зажал, здесь недодал. С причудами дядька, забывчив по-стариковски, рассеян.

Вот так сидела она на кухне полутемной, свет не зажигая, и телевизора никакого не надо! Бабушка моя сама себе была телевизор, и радио в придачу. Такие спектакли! Такие лица и голоса!



Они у нее все в голове сидели. И рада бы избавиться, хоть ненадолго, но не тут-то было. Галдят и гудят. Будто места им другого нет, кроме ее головы. Иной раз до такого договорятся!

Боже вас сохрани узнать!

А тут уже и пять, слава богу. До шести совсем ничего. В шесть можно взять кошелочку, потертую на сгибах, пальтишко набросить, балетки, и на рынок. Самая вкусная клубника, если хотите знать, та самая, утренняя.

Проснешься, бывало, только потянешься (ах, как сладок утренний сон), окно раскроешь, а внизу – она. На скамейке. Бормочет, кивает головой. То так, то этак. С кошелочкой своей. Полной меда и молока. Сидит, ноги в балетках вытянув, ивовой веткой от мошкары отмахивается.

Так вот отчего она не спала. Мошкара. Твари кровососущие. Иду на кухню, зажигаю свет, ставлю чайник.

Сухари, если их в чае размочить, есть таки можно. И голоса, слава богу, при мне.

\*\*\*

Вышли на прогулку. Странная ватная тишина, несмотря на то что люди на улице есть. Вроде все как обычно – дети на велосипедах, старушки на лавочках, собачники, пользуясь особым положением, выгуливают счастливых питомцев. Но нет, не то.

Старушки в масках, мамочки с колясками в масках, под домом полицейская машина. Возле овощной палатки и бывшего киоска Союзпечати (теперь там грузинская лавочка с хачапури) встретили В. Она смеется, прикрывая густо накрашенный рот. Всклобоченные, мокрые от жары рыжеватые колечки волос. Большие тяжёлые руки. Груды привольно разложены, не стесненные условностями. Ее тело под заношенным платьем уютно подрагивает. В нем много простой жизни. Глаза блестят, голос сильный, в нем тоже жизнь, энергия живущего легко человека.

Даже на невзгоды она жалуется легко, без стенаний, напротив, с певучим юморком. Жильцы, обои, ремонт, все живое, сиюминутное, неотложное.

Вчера увязался за мной господин переплетчик. Ему не терпелось рассказать еврейский анекдот. Сути анекдота я так не запомнила, обеспокоенная явным беспорядком в нижней части его одежд (одет он был в летнюю рубашку с коротким рукавом и широкие брюки, которые хотелось назвать парусиновыми). Так и слушала этот самый анекдот, и даже чему-то рассмеялась (ведь в конце анекдота положено смеяться), но мысль о беспорядке и неловкости затмила суть истории.

Днём под окнами сидела парочка – она с красным, будто ошпаренным лицом и припухшими (но яркими и молодыми) глазами, в мятой-перемятой одежде, он – серый, пыльный, с кирпичным уже в апреле загаром. С рюкзаками. Тихо проводили взглядом степенно идущего пса. Интересно, есть ли у них маски? Как часто моют они руки, эти двое, не имеющие, по всей видимости, не только куска мыла, но и умывальника, и дома, в котором он должен быть.

Тихо проводили взглядом. Тихо сидят. Дети тихо бегают. Собачки тихо лают. Велосипеды ездят, тихие такие, смиренные.

Все будто по-настоящему, как в жизни. Люди, собаки, деревья. Земля белым цветом усыпана, будто невеста на выданье или балерина на пуантах.

Дивная весна, нежная, тихая, праздничная. Увертюра к чему-то огромному, к началу какой-то новой удивительной жизни.

Все это понимают, вот и притихли. Ждут.



\*\*\*

Отсутствие внешних впечатлений (даже не впечатлений, а сюжетов, неизбежно возникающих от ритма и движения самой жизни, от ее поворотов и сбивчивого дыхания), как это ни странно, влияет на сновидения.

Как будто все глубже погружаешься в мир, ничуть не менее красочный и парадоксальный.

В них (в сновидениях) с пугающей частотой повторяются некие неразрешимые в прошлом жизненные ситуации, которые, конечно, разрешались в ту или иную сторону, но оставили тяжкий след именно в силу своей повторяемости и неотвратимости.

Там, в моих снах взлетающие самолёты, чемоданы с разноцветным тряпьем, которое тянется, волочится за мной, бегущей, опутывает и не даёт вдохнуть и выдохнуть. Тряпье это, точно серпантин, цепляется за пальцы, вспенивается и взрывается, решительно не желает укладываться ни в какие геометрические формы.

В небе тянется след. Рейс, на который я не успела, и по-видимому не успею никогда.

Или лавка, полная прекрасных свежих и вычурных яств, и очередь с тележками (ухаженных и капризных покупательниц, у них пожилые и надтреснутые голоса), – они напирают, настаивая на обязательности выбора, да я и сама не прочь все это купить, но... растерянно (и подавленно) перевожу взгляд с одного яства на другое, – чего тут только нет, – и все виды салата, свежего, с его влажных листьев стекают капли воды, – это хаса, в ушах переливается, надрывается многоголо-сье израильского шука, – вот круглая, а вот чуть горьковатая, особо полезная, а вот кресс-салат, а вот мощные стволы сельдерея, а вот «мелаффоним» (ивр.) – огурчики, хрустящие, полные целебного серебра в любое время года. А вот многослойное нечто, поражающее своей сложносочиненностью, я слышу аромат ванили и корицы, пьянею от острого духа сырных кругов, тонкого аромата вин.

Вот-вот наступит шабат, моя тележка пуста, но я не в состоянии выбрать, – слова застревают в горле, и, вымученно улыбаясь, тычу пальцем в нечто, – я без очков, и наименование этого нечто прояснится в тот же миг, – толпа напирающих капризных старух взорвется хохотом, – да вы посмотрите на нее! Она таки выбрала – вчерашний сэндвич, упакованный в целлофан, – такой, казённый сэндвич с листиком тривиального сыра и увядшим кружком помидора. Я и сама осознаю смехотворность и убожество собственного выбора, но выдыхаю с облегчением (не без сожаления провожая взглядом остающуюся на витрине и в глубине лавки красоту), – выбор сделан, бери свой бедный сэндвич и не мешай другим.

Я с радостью покидаю этот душный, обезумевший от невозможности выбора мир, – в моем все просто, выбора почти нет. Испытываю лёгкость, идя с пустой тележкой вдоль мертвенных рядов. Ни спаржи, ни антрекотов, ни сырных кругов.

Ни распятых мясных туш, ни винных этикеток. Я делаю шаг и останавливаюсь у кофейного стенда. И просыпаюсь.

\*\*\*

Раз в день должна быть горячая пища. Хоть умри, а должна. Обед или ужин, или два в одном, неважно. Нет, не ложкой из кастрюли, не вилок из сковороды, не надо свисающих уныло подтяжек, подштанников, семейных трусов и пижам.

После душа укладываем все, что можно уложить, придаем чертам чуть надменное выражение, избавляемся от домашней расхлябанности, подбираем... это самое. Да. Держим спину.

Стол сервируем. Салфеточка под углом, в тарелке желательнее не менее двух цветов, пусть запах идёт такой, что голова кругом.

Вспомнилось глупое детское слово «подливка». Подливочки мне. Да, ещё. Девственно белый рис оформляем соусом. Специи не забываем. Пустой бокал, сами понимаете, не к добру. Если есть чем, заполняйте, можно воду с лимоном, компот, кизилую водку и табуретовку.

Сегодня обнаружила остатки белого сухого (на дне бутылки), долго цедила, пока варился рис. Хочется сделать подарок скучающим рецепторам. Побаловать разнообразием.

Помните, от чего сошла с ума мама Чарльза Спенсера Чаплина? Да, отсутствие домашних обедов. Ведь, кроме банального чувства голода, проваливается кульминация. Итог и смысл дня утопает в десятке монотонных действий, лишенных сюжета.

Сюжет – вот что жизненно необходимо сидящему в вынужденном заточении. Бедная мама Чаплина, бедные мы.

Жизнь без аджики, ткемали, сацебели и киндзмараули похожа на тягостный сон. Похоже, из всего перечисленного в избытке имеются только специи. Но это гораздо лучше, чем ничего. Горстка того, щепотка этого.

Главное, соуса не жалейте. Постелите скатерть, плесните в бокал. Выключите все, что можно выключить, но полоску заката не забываем. Если вы ее всё-таки видите – значит, все состоялось.

Скатерть, щепотка, глоток. В сюжете важны детали. Спросите у Чаплина.

\*\*\*

Парижа больше нет.

Все вроде бы на месте – Нотр-Дам, Монпарнас с Монмартром, и Елисейские, и Булонский лес, и прононс, и витрины, в них отражаются живые лица настоящих парижан.

Я узнаю их по твоим рассказам, – по сказанному и невысказанному, по твоим мечтам о нескончаемом путешествии, имя которому – Париж.

Париж черно-белый, сошедший с экранов и старых снимков, – я вез его с собой, – очень бережно, боясь повредить в дороге, – точно хрупкий предмет, требующий особого, трепетного обращения, – обернутую в ватный кокон стеклянную игрушку.

Словно древний книжный лист, он рассыпался, облетал, испарялся, оставляя после себя тонкий, горьковатый шлейф. Шкатулка из комода, на дне которой – несколько пожелтевших открыток и пузырек духов, – настоящих, из Парижа, – скажешь ты, вдыхая терпкий аромат, – вернее, то, что от него осталось.

Духи, открытки, а еще песенка уличной девчонки, – смешная, страстная, трагичная, – трам, парам, парам...

Парижа давно нет.

Может, он остался там, на дне комода? Или в бороздках, исцарапанных иглой?

Я знаю, они еще живы, все эти прекрасные Мужчины и Женщины, – встречаясь глазами, они все еще ведут свой бесконечный диалог, – на прекрасном французском с прекрасным прононсом, – пожалуй, его стоит внести в Красную книгу, как и всю добрую старую Европу вместе с круассанами к утренней чашке кофе, – круассаны есть, мама, и кофе, представь себе, тоже.

«Le Monde» в руках пожилого господина в плаще и берете, – того самого, с морщинками вокруг водянисто-голубых глаз, – я сразу узнал его, – он долго выбирал круассан, и лицо его было детским, поглощённым важностью момента, беззащитным каким-то, – он окунал булочку в чашку с шоколадом и осторожно пережевывал сладкое тесто, – вместе с новостями, улицей, воркующими голубями, – вместе с гарсоном-китайцем и гарсоном-алжирцем, и еще каким-то человеком в бурнусах и золотых шлепанцах.

В глазах его отражался Париж – черно-белый, со старых открыток, – он еще отражался и переливался там, на глубине зрачка и поверхности, испещренной красноватыми сосудами сетчатки.

\*\*\*

Человек, побывавший в Париже, остается бесконечно очарованным и навеки влюбленным.

Даже если Париж он видел мельком, краем глаза... Даже если он видел его в проеме иллюминатора, – все эти полукружья, ромбы, квадраты и прямоугольники, в которых затерялись и Елисейские поля, и Эйфелева башня, и Нотр-Дам де Пари и Монмартр, и, конечно же, плас Пигаль и Мулен Руж.

Вот он, мир Азнавура, Дассена, Пиаф. Где-то там, за магистралями и плавными лентами шоссе, существует он, живет своей обыденной жизнью, картавит, грассирует, заказывает горячие круассаны, выходит из супермаркетов и мелких лавчонок, похрустывая на ходу свежим багетом. Серое небо над Парижем. Серое, сырое, весеннее. Небо над Парижем – это уже кое-что. Стоит пересечь границу, как из гражданки и гражданина вы превращаетесь в мадам, мадемузель, мсье. И, представьте, вам это нравится.

Мерси, мадам, оревуар, мадам.

Позвольте, это мне он улыбнулся такой тонкой, ироничной, лукавой улыбкой – это все мне? Вся эта бездна непринужденного очарования, игры ума, манер, изящества – мне? Мне? Как равной, возможно даже, своей, близкой, способной понять и оценить французский прищур и сарказм, и такую милую, совершенно обезоруживающую иронию.

Пролетая над Парижем, вы успеваете влюбиться на всю жизнь. Влюбленность – это дуновение, сладчайшая из иллюзий, предчувствие возможного и невозможного одновременно. Жизнь, которую вы бы прожили иначе.

Ах, если б только...Когда-нибудь...

Закрыв глаза, раскачиваетесь в такт французской песенке, разученной на уроках французского. Очень легкомысленной, но полной того самого шарма. Французский язык нам преподавала настоящая французенка. Возможно, всего лишь наполовину, но и этого было достаточно. Вполне достаточно для торопливых до задыхания шажков, горячих глаз, не томно и не дымчато-карих, а живых, полных нездешнего огня и смеха, – и непременно яркого платка на смуглой шее.

Лидия Мартыновна была прекрасна. Ее можно было только обожать, обожать страстно, с замиранием и нежной тоской.

Отец ее был членом французской компартии – и это единственное, что мы знали о ней.

У французенки была астма. Астма, внезапные приступы гнева и сложный аромат духов, в котором не последнюю роль играл ее собственный немного душный, терпкий запах.

Увы, французский так и не стал моим вторым языком.

Впрочем, как и прочие языки, в которые я влюблялась безответно, страстно, но непоследовательно.

В моих отношениях с языками хватало первоначальной очарованности, не доходящей до длительных и постоянных отношений. Французский был и остался мечтой, светящейся точкой, маяком, но уж никак не стойкой привязанностью.

Думаю, главным уроком, полученным на занятиях Лидии Мартыновны, был урок настоящего шарма. Этот кокетливый платочек, эта вздымающаяся грудь, этот быстрый и взволнованный, с придыханием говор, этот головокружительный прононс. Согласитесь, нечастое явление в советской школе – мрачноватом трехэтажном учреждении, в котором властвовали истеричные, закомплексованные и чаще не особо счастливые женщины.

Кстати, с прононсом у меня как раз все хорошо.

В прононсе равных мне мало.

На прононсе, и только на нем, держался мой школьный авторитет. Правда, недолго. Пока не обнаруживалась (а она обнаруживалась всегда!) огромная зияющая пропасть, в которую бес-

следно проваливались все эти проклятые артикли, правильные и неправильные глаголы и обстоятельства места и времени.

-----

Первый вечер в Париже. Привкус египетского кофе, затхлость временного жилья, в котором могут сосуществовать либо весьма стеснённые обстоятельствами, либо влюбленные, либо студенты, что зачастую одно и то же.

Первая мысль – на это серое бельё я не то что не лягу, даже не присяду, бог знает, кто на нем нежилась вчера, и полотенца нет, и газовая конфорка нерабочая, и бог знает для кого это жильё, возможно, сдают его на час-другой изголодавшимся по плотским утехам, и вторая, тут же, а хрен с ним, с бельём этим невятным, главное – Париж! Зачем конфорка, когда внизу (только на лифте спуститься) – настоящий кофе, и асфальт в трещинах, и улица, и все настоящее, живое.

Гул планетарный, космический, и сквозь него – очарование мелочей, территория частной жизни, свободы, шарм повседневности.

\*\*\*

У каждого он свой. Либо оставшийся неисполненной мечтой, либо увиденный (все же) anomalно жарким днём в изнемогающем от духоты городе.

Девочки, вприпрыжку марширующие по дорожкам, усыпанным гравием, клошар на ступеньках, гитарист из Андалусии (признаюсь, с ним я изменяла застывшей в камне вечности, – нас, почитателей фламенко, собралось некоторое количество (а если точнее, всего двое – я и некий совершенно беззубый, но живой и весёлый бродяга в кепке и рваных джинсах), – мы щелкали пальцами, перебирали ногами и обменивались понимающими взглядами, время от времени вскрикивая «Оле!». Мы даже поболтали немного, на нашем, непереводимом языке страстных почитателей жанра.

Девочки (в своих развевающихся платьицах) прыгали и пели, гитарист перебирал струны, клошар, щелкая пальцами (средним и большим), танцевал (с экстатически прикрытыми глазами, с вытянутой в струнку спиной).

Потом стояли в тени, прислонившись спинами к прохладному камню, и слушали летний Париж 2018-го года.

И никуда не спешили, потому что есть же какие-то вечные моменты, неподвластные времени и стихии.

\*\*\*

Лучший кофе в Париже варят на улице Белой Королевы. Арабский кофе с кардамоном, крепкий, сладкий, густой как нефть, тяжёлый как ртуть. Энергия, заключённая в глотке этого напитка, способна оживить полумертвого от тяжкой жары туриста. Вообще-то, это единственный вариант настоящего кофе в этом городе. Все прочие производные от эспрессо-американо-макиато-латте-капучино – для американских туристов.

В кальянной радушного египтянина не ступала нога женщины. Мужчины, мужчины, мужчины. В крайнем случае мальчики. Мальчик – сын хозяина – с любопытством поглядывает на внезапную гостью. Сладкоглазые мужчины, пребывающие в полудрёме, недоуменно провожают взглядами. На улице Белой Королевы звучит Умм Культум, что могло бы казаться абсурдом, но отнюдь не кажется таковым.

Если около часа ночи для вас выносят один единственный столик, бутылку и два бокала, извиняясь, что повар уже не у дел, и, пританцовывая около стойки, терпеливо ждут (не нависая и не проходя сотни раз со шваброй «вас много, а я одна»), – это Париж.

А в это время по этой же улице, чуть поодаль, ползет некто, преодолевая дюйм за дюймом, но этого мы пока не видим, так как мизансцена разворачивается за спиной, – а все, что перед нами, это сверкающая проезжая часть, огни в домах напротив, белое охлажденное (да вы сопьетесь там, милочка, в этом вашем Париже), и, собственно, что ещё нужно, – бармен пританцовывает у стойки, впрочем, не один, к нему заходят ещё двое, – и все трое молоды, красивы, смешливы, излучают... А в это время, взвизгнув тормозами, на полном ходу останавливается красное спортивное, допустим, авто, и вот уже владелец его – поджарый, с каскадом святающихся волос, стоит на коленях, придерживая безвольно падающую голову в плюшевых плотных завитках, – все слишком далеко, чтобы я могла видеть и помнить подробности, но в иные моменты зрение уступает иным органам восприятия, когда видишь не глазом, не встроенным в него хрусталиком, а кожей, каждым волоском на ней, – merde! – это тот, владелец спортивного авто, юный щеголь, прожигатель ночных часов и минут, стоя на коленях, пытается достучаться до брата по разуму, но с хрипом вздымается впалая грудь, крупные капли пота стекают по лбу и щекам, – merde, – кричит неведомый спаситель, – ты жив, друг? Отзовись! Тебе плохо?! Подожди, сейчас, сейчас, – люди, господа, ситуация, да кто-нибудь, помогите же, видите, человеку плохо, ведь умрет, может умереть, – не знаю, то ли сила его слов, то ли мера отчаянья, а только лежащий на мостовой оживает, и зажатая в ладони купюра свидетельствует о том, что жизнь полна всяческих чудес, – алая тачка уносится в ночь, и тот, кто ещё минуту назад умирал, корчась в невыразимых муках, бредет, пошатываясь, за новой дозой, продлевающей блаженство.

Парижу приблизительно двадцать два, максимум тридцать пять, – за редкими исключениями, и то исключением следует считать всего лишь поражение, добровольную капитуляцию, – эй, дружок, похоже, они все тут знают секрет волшебного эликсира, – и пожилой клошар, подпирающий стену спиной, – вот он оборачивается, – все тот же блеск молодых глаз, живость, смешливость, ирония, – морщины, проступающие на худых руках вены – это всего лишь некое недоразумение, дань, уплатив которую, ты можешь бежать дальше, вровень со всем бегущим вперед, – все гладкокожее, нежнолицее, смеющееся человечество примет тебя, дождетя, возьмёт на поруки, впишет в этот живописный уголок на Сен-Мишель.

Бульвар на плас Пигаль, – ни одной свободной скамьи, – всюду кальяны, темные лица в капюшонах и без, слышна русская речь, – вот от чего вздрагиваешь, ожидая подвоха, – вот этот набор туристических открыток и есть Париж? Тот, о котором столько? Похоже, это удачно выполненные муляжи – открытые кафе, смеющиеся люди, – с Монмартра хочется бежать, но зной, духота, усталость, похоже, прохлада возможна только здесь, – мадам, мсье, не желаете ли? Только у нас, – не то чтобы праздник, нет, праздником здесь и не пахнет, – раз и навсегда прописанные борозды на древесном улыбающемся лице, – о, проходите, – блаженный полумрак, шесты, помосты, зеркала, – угадываются силуэты юных вышколенных тел, – за столиками немногочисленные туристы, они настроены доброжелательно и бурно аплодируют танцующим.

У Мулен Руж фотографируется восточное семейство – низкорослый, с густыми усиками отец, обернутая в цветные шали мать и полнотелые девочки-отроковицы, послушно улыбающиеся в камеру.

Простите, а как отсюда выйти? Где заветная дверь в иные миры? Когда крошечный «бар-умывальник» «Гайя» был выложен голубой плиткой, а «Бык на крыше» на Буасси д'Англе был все ещё «Быком»? Где юные девы с нежными бедрами распевали «Глоточек птичьего молока, кусочек молодого быка»?

Где Монпарнас Бодлера, Мане, Аполлинера? Дерена, Пикассо, Жакоба, Уистлера? Где Модильяни, Вламинк?

Где старая лампа Таможенника Руссо?

– Мы, французы, любим есть сыры так. От простого к сложному. По кругу тарелки. Вначале – сладковатый эмменталь, а потом уж стекающий с кончика ножа бри, нежный как слеза камамбер, и этот, острый, с привкусом паленой шерсти и нестиранного исподнего.

Я вижу, как сладострастно приоткрывается рот, он наполнен слюной, – глаза экзотически прикрыты, – пухлая ладонь едва заметно касается моего плеча, – хозяин заведения, седовласый, уютный, весь состоящий из кругов (наверное, сырных) и овалов, протирая бокалы, подмигивает из-за стойки, – ему необходимо быть уверенным в том, что мы оценили его внимание, заботу, тарелку с сырами и вкус вина. Между столиками сует восточный человек по имени Муса – о, сколько достоинства в прямой спине, в чеканных чертах строгого лица. Мадам, мсье, – сыр сыром, но чего стоят движения смуглых рук, отточенность каждого жеста? Он накрывает так, будто вы одни в целом свете, – он, вы, столик, вино, эта непохожая ни на одну другую ночь – для вас – первая в Париже – и от действий его, собственно, виртуозного действия, зависят судьбы вселенной. Возможно, так оно и есть. Отлаженный десятилетиями механизм, прополотые столетиями дорожки. Сыр остаётся сыром, вино вином. Париж – несмотря ни на что, Парижем.

Париж – это они. Безмолвный чудак, слоняющийся у стойки бара, странноватый молодой (относительно всего прочего) человек, одетый со всей тщательностью денди, но, похоже, ужасно одинокий в своей стародевичьей тщательности...

Улыбка, возникающая словно по мановению волшебной палочки, – на любом (уставшем или поникшем) до того лице, – тебя здесь ждали, – сообщает она, расцветая, тебя здесь ждали... и будут ждать, несмотря ни на что.

Париж стар, очень стар, – обилие серой пыли, клубящийся из-под подошв, истертые сидения в вагоне метро (о, злосчастная зелёная ветка, похоже, туда не поступает кислород), вот и юная парижанка (скулы, блестящие выпуклые глаза, курчавая шевелюра, темные впадины у острых полированных ключиц, – благородное дерево и бронза, шлейка опасно соскальзывает с точеного плеча, за алым ртом угадываются клавиши совершеннейшей клавиатуры), – вот и юная парижанка, возложив ногу на ногу, обмахивается веером, – изгиб ее спины, подробность выступающих позвонков, лик подобен маске, – Париж стар, если судить по испещренной линиями темной ладони, в которой су и сантимы, перекачываясь, образуют бесспорную величину в один евро.

Сметая крошки со стола, гарсон поднимает голову, и наши взгляды совпадают на долю мгновения, – не знаю, кто успевает улыбнуться первым – я, чувствующая себя своей в этом городе? Он? Кто успевает улыбнуться первым, – конечно же тот, кто, сталкиваясь с вами (в переходе, на лестнице, в супермаркете), – выдыхает «бонжур», добавив непременно «мадам» (мсье), отчего спина ваша выпрямляется, подобная летящей стреле, походка пружинит, душа танцует и поет, даже если за пять минут до того собиралась заплакать – если это случается с вами, господа, можете не сомневаться, – вы в Париже.

-----

«Невидимый, ты можешь присесть на обочине. Теперь видно, как там, за стенами, плачут окна города» (Леон-Поль Фарг).

Данил ФАЙЗОВ

**ровно то стихотворение которое мне сегодня необходимо**

что возьмешь то сразу станет летом  
хоть смородиновый лист хоть одиночество  
вот вода вот тучка фиолетовая  
ей нельзя ни дня прожить без строчки

хватать и все и радость перевесила  
что ты тут молчишь все время дуешься  
только кажется что тишина невесела  
замечтался делая что думаешь

\*\*\*

расстраивает в общем-то не то  
что небо серое и в целом решето  
что так встречаются которой раз  
накидка от дождя с велосипедом  
есть человек он знает только деда  
а дедов было два и не сейчас

ей говорить что бабушек не шесть  
что моль голодная и очень любит шерсть  
просторен дом смородина созрела  
расти цветок ты будешь ягодкой опять  
ведь дедушек и бабушек не пять  
да и давно кому какое дело

\*\*\*

смотри кино какое интересное  
послушай блюзу плохо оттого  
что настроение под стать телесному  
оно такое в общем существо

---

*Данил Файзов родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар Татьяны Бек и Сергея Чупринина). Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор книг «Переводные картинки» (М.: АРГО-РИСК, 2007) и «Третье сословие» (М.: Воймега, 2015). В 2004 году вместе с Юрием Цветковым основал проект «Культурная инициатива», специализирующийся на проведении литературных мероприятий.*

послушай музыку она таит о жалости  
о нежности о ветре и вчера  
о девочках о мальчиках о малости  
которой хватит и на чай и на ура

смотри оно давно заведено  
мужское род и женская вина  
давно наскучившее скучное кино  
и белая беззвучная спина

\*\*\*

сам нашел не поможет ни гугл  
ни другая вселенская ложь  
словно выкинул мусор за угол  
где его и себя соберешь

вопрошающим знаком вопроса  
двоеточием скобкой затем  
отправляется найденный воздух  
я умру и останусь ни с чем

\*\*\*

боятся только трусы и зверьки  
бояться трусам и зверькам не стыдно  
а кто там  
хищник?  
радуга-беда?  
которая давно идет по следу  
и кормится с руки  
и прячется  
и больше не найти  
страшилка  
отвечает отобедав  
для счастья может быть довольно чепухи  
спроси отца  
спроси того кто не боится  
я думаю что тень свою не предал



\*\*\*

так вот и жил он  
будто один на свете  
так и смотрел в облака  
как проглотил аршин  
эти такие нежные  
словно йети  
эти как братец кролик  
стоят во ржи

думал совсем ни о чем  
приближался к богу  
как бы его ни звали в его широтах  
не замечал как впивался в ногу  
глупый комар  
в перламутровых алых шортах

видимо и невидимо  
отражений  
если стоишь у воды без конца и края  
в небе плывут может катя а может женя  
бабочка-хулиган  
перисто-кучевая

## Александр МЕНДЫБАЕВ

### СКАМЕЙКА

#### *Повесть*

I.

Багровый от ярости Куляда полчаса кряду распекал Саянова, называя «неблагодарным ублюдком», «бесталанным инженеришкой», «хвостиком» и «хлопом».

– Ты, Саянов, обыкновенный собственник. Собственник, который ценит свои интересы превыше других. Кем бы ты был без меня? Вонючим инженеришкой с окладом девяносто рэ? Ты вообще кем себя возомнил?

Саянов смотрел на бронзовую пепельницу в форме собаки с огромными глазами и ничего не отвечал. Он никем себя не возомнил. Он написал статью по тематике своего рацпредложения. Статью заметили, опубликовали в солидном научном журнале, предложили развить до диссертации. Куляда узнал об этом уже из журнала.

– Я тебе как руководитель обещаю, – Куляда скрюченным от злобы пальцем поддел плотный галстучный узел и рванул его вбок, – больше никаких премий, прогрессивок, повышений. Пока я здесь сижу, – Куляда посмотрел куда-то вниз, – тебе, Саянов, жизни в институте не будет. Я тебе клянусь. Иди, жалуйся, кому угодно. Хоть этому самому...

Он замылся, а у Саянова невольно вырвалось:

– Шукину...

Куляда энергично закивал головой.

– Во-во, хоть Шукину, хоть в цэка. Плевать я на тебя хотел, посредственность ты неблагодарная. А теперь – марш из кабинета. Записываться будешь на приём за месяц. А наработки свои передашь Сорокатых.

Даже у невозмутимого Саянова от таких слов глаза полезли на лоб.

– Все?!

Куляда не ответил, лишь отмахнулся от Саянова как от назойливой мухи.

\*\*\*

Саянов шёл по тёмному коридору и обдумывал планы мести. Написать на Куляду в ЦК? Но что? Да и кто поверит ему, Саянову? Тот же Сорокатых в два счёта докажет надуманность обвинений. Уволиться? Так Куляда спит и видит, когда он, Саянов, наконец, уйдёт. Но уходить он не торопился. Почему, собственно, он должен уходить? Потому что Куляда, тогда ещё начальник лаборатории с лаборантом Сорокатых, чуть

---

*Александр Мендыбаев родился в 1982 году, живет и работает в г. Алматы, Республика Казахстан. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Международное право». С 2014 года – слушатель Открытой литературной школы г. Алматы. Публиковался в журналах «Нева», «Литературная Алма-Ата», «Za-Za», «Дактиль» (Казахстан), в сборнике прозы «Дорога без конца».*

ли не силком заставили Саянова вписать их в соавторы ТОФа? А потом, запутав в дебрях бюрократии, как-то незаметно из автора изобретения его превратили в «активно принимающего участие в экспериментах». Куляду повысили до руководителя проекта, Сорокатых получил замзавлаба. А ему, Саянову, оставалось лишь жалко улыбаться на приёмах и симпозиумах, где его в лучшем случае причисляли к соавторам. На ТОФе институт сделал имя. ТОФом заинтересовалось министерство авиационного строительства, у которого изобретение пыталось всеми правдами и неправдами выцепить министерство автомобильной промышленности, но потом вклинилось министерство обороны, которое полностью засекретило все исследования, а Куляду перевело в Москву. Впрочем, его вскоре вернули, как «бесперспективного» (об этом говорила всезнающая Алла Викторовна). Оборонщики совместно с КГБ ещё полгода околачивались вокруг института. Саянову выдали огромную премию (хватило, чтобы купить «Москвич» и цветной телевизор). На работу и домой возили на серой «Волге», а в кабинете дежурил офицер в штатском. Правда, Саянов стал на время невыездной, но зачем ему Болгария, когда и здесь жизнь налаживалась. Возле Саянова крутились серьёзные товарищи – консультанты из министерств и ведомств. Должностей своих не раскрывали, обедали отдельно, но были толковыми и расторопными. Вытащив всю информацию, пожелали успехов в работе и отбыли в Москву, отобрав у Саянова подписку о неразглашении на двадцать пять лет. Да Саянов и не собирался никому рассказывать про ТОФ. Он был молод, счастлив, жизнь кипела. А потом начался крошечный ад. Куляда изгалялся как мог, зарубая на корню самые перспективные проекты. Сорокатых, отсматривая работы Саянова, забирал себе в лабораторию интересные наработки, оставляя Саянову прозу проверок, никчёмных экспериментов и описательную часть, с которой справится любой лаборант. Куляда давно бы вышвырнул Саянова, но из Москвы звонили каждые полгода, узнать, не выдумал ли местный Кулибин ещё чего-нибудь революционного. Куляда злился, отвечал, что не выдумал и никогда не выдумает, но к нему мало прислушивались. Саянова многое не устраивало, но уйти из института, которому он отдал двенадцать лет жизни, было непросто. Обида спицей приколола его к институту, который отобрал его детище.

## 2.

Саянов зашёл в буфет. Пахло едой. Запах был скучный, какой-то жёлтый, невыразительный. Поев, он едва мог его выносить. То ли дело, когда накрывали столы к празднику. Запахи свежей зелени, тяжёлых, утопающих в майонезе салатов, настоящих, золотистых от масла балтийских шпрот заставляли ходить мимо двери кабинета по несколько раз, считая секунды, когда позовут. За это время живот выдавал целый концерт для тромбона с симфоническим оркестром. Нужно было непременно занять место подальше от Куляды. И желательнее не рядом с Сорокатых, который, словно тамада на свадьбе, приковывал всё внимание к себе и даже читал рассказы собственного сочинения про некоего Алтайцева, недотёпы и неудачника, у которого всё валилось из рук. Коллектив до скрипа обожал это бульварное чтиво, переполненное штампами из фильмов про Уго Фантоцци<sup>1</sup>. Сорокатых читал, а коллектив ржал как табун полковых лошадей и украдкой следил за реакцией Саянова. Саянов же делал вид, что его эти рассказы не касаются. Среагирует, будут смеяться ещё больше. А сказать что-то двухметровому Сорокатых не получалось. Для себя была заготовлена отличная фраза: «Связываться с дураками неохота», но внутри Саянов понимал – ну подойдёт, ну скажет. Сорокатых поднимется и со всей силы треснет Саянова по лицу. Хрустнут дорогие чехословацкие очки, которые

<sup>1</sup> Уго Фантоцци – вымышленный литературный и киноперсонаж. Образ Фантоцци, маленького, невезучего, но неунывающего человека, воплотил итальянский комик Паоло Вилладжо.

привез в подарок бывший мамин ученик. И что тогда? Как жить с таким позором? Сразу увольняться? Нет, не дожурдся.

\*\*\*

В буфете было не больше дюжины обедающих. Наливали суп «со звёздочками», имелись в наличии и котлеты. Саянов спросил себе котлет, от супа отказался. Нашёл пустой столик возле окна, поставил два компота, салат, тарелку с хлебом. Солонка оказалась пуста, зато горчицы в гранёном пузырьке было хоть отбавляй. Саянов любил горчицу. Намазал толстым слоем хлеб и начал есть, роняя на стол крупные слёзы. Подошла Мирошниченко. В коллективе её не любили. В свои тридцать два Мирошниченко была не замужем и даже детьми заpastить не догадалась. Все институтские модницы неделями обсуждали её очередную кофту-самовязку, по острому замечанию Сорокатых – снятую с почившей бабушки.

– Ой, Николай Ефимович, здравствуйте. А я тут тоже... пообедать. Можно?

Саянов прикрыл глаза. Даже если бы он ответил, что нельзя, назойливая как слепень Мирошниченко обязательно приземлилась бы рядом. Он мечтал сидеть с Аллой Викторовной или конфеткой-Мариночкой, но обе были птицами недосягаемого полёта, к тому же в буфете почти не обедали. Не дождавшись ответа, Мирошниченко села.

– Вы знаете, Николай Ефимович, а мы в субботу в лес выезжали. Ребята захватили гитару, там есть полянка, вкруговую стоят пеньки. Алик всё играл свои куплеты, мы так смеялись...

Саянов густо обмазал кусок котлеты горчицей и отправил в рот. Горчицы было слишком много, он закашлялся.

– Что с вами? Что с вами?

Сумасшедшая Мирошниченко стала неистово стучать Саянова по спине, вызывая звонкую боль в спине. Саянов схватил компот, выпил полстакана, подавился. Разжёванная котлета вылетела с громким чихом через нос. Если бы тут была Мариночка или Алла Викторовна, он бы умер со стыда. Но Мирошниченко можно было не стесняться. Сделав вид, что ничего не произошло, та спросила:

– Захватить вам булочку с повидлой?

Саянов помогал головой. Его раздражала терпимость советской науки к неучам и бездарям, которые позволяют себе говорить «с повидлой».

– Тогда, с вашего позволения, себе захвачу.

Мирошниченко отошла к буфету, взяла булочку, вернулась к Саянову.

– Николай Ефимович, вы пили когда-нибудь медовый напиток? Там пасечник ребята там отпустил. Замечательный дедулька, называл напиток бражкой, смотрел с ехидной улыбкой, как ребята морщатся, но пьют. Даже я немного отхлебнула, стало так весело...

– Мирошниченко заверещала глупым смехом. На них стали оглядываться.

Саянов встал и, буркнув что-то вроде «Мне в туалет», сбежал, не попрощавшись.

3.

Огромная фотография Куляды стояла на покрытой бордовой тканью тумбе возле центральной лестницы. Гвоздик принесли много, но цветочки были так себе – куцые, кривоватые, каких-то тусклых, цвета куриных потрошков, оттенков. Едва Алевтина Владимировна, бессменный завхоз, успела раздать чёрные повязки, как огромные, с автомат для газировки, грузчики втащили алый гроб, в котором притулился сухонький, как вяленая корюшка, неожиданно короткий Куляда. Серый костюм, рукава которого так и не доходили до связанных бинтом запястий, выглядел унылым и каким-то пыль-

ным. Саянов поймал себя на мысли, что впервые видит Куляду с такого ракурса. У того оказались невероятно узкие, словно щёлки для монет свиные-копилки, ноздри, острые скулы и невыбритая у подбородка щетина. Вся в чёрном рыдала, склонившись над гробом, старуха, оказавшаяся старшей сестрой. Супруга, тоже вся в чёрном, с ненавистью оглядывала собравшихся. Крепкие, как дубы, сыны – один в коричневом, скорее всего оставшимся от отца костюме, другой в форме артиллерийского капитана – склонили головы в последнем поклоне и стали похожи на провинившихся школяров. Директор института подошёл к портрету, но из-за колоны его было не видно столпившимся слева. Тогда он прошагал к гробу, но затерялся в родных и близких. В конце концов он встал у табуретки, на которой лежали вымпелы, грамоты и пара медалей за трудовые заслуги, и начал речь, пытаясь придать голосу торжественности, но то и дело скатывался в откровенный пафос:

– Скорострительно от нас ушёл великий, не побоюсь этого слова, близкий друг, замечательный отец, заботливый супруг, надёжный брат, товарищ Куляда...

Саянов оглядел присутствующих. Женщины плакали, поминутно заглядывая в зеркала, чтобы поправить потёкшую тушь. Мужчины – словно футболисты, прикрывшие причинные места, все как на подбор в дешёвых, ношенных, наверное, в последний раз на свадьбу костюмах, изо всех сил старались придать торжественности постным лицам. В одном Саянов был уверен – радовались все. Куляда был дрянью, и своим скоропостижным уходом изрядно подсластил это пятничное утро. Новость о его смерти словно лавина распространялась среди сослуживцев, народ забегал в кабинеты, принимая торжественную позу, с придыханием говоря: «А вы знаете, что у Куляды был инфаркт?» – Затем в подробностях, словно лично присутствовали при смерти, смаковали детали. Кто-то говорил, что Куляда упал, захрипел, жена смотрела телевизор, но так ничего и не услышала. На хрип прибежала старшая дочка, которая, как нарочно, гостила у родителей. Она-то и позвала мать. Приехала неотложка, пыталась откачать Куляду, но даже советская медицина иногда бессильна. Новость как пожар перекидывалась с отдела на отдел. Все считали своим долгом рассказать о случившемся, присовокупив подробности, о которых вряд ли могли знать. Если собрать их воедино, Куляда упал, ударившись о гипсового оленя, хрипел, словно Высоцкий, успел написать завещание, благословить дочь, принять причастие и последними его словами были: «Зинаида, береги детей».

\*\*\*

Саянов ещё раз осмотрел сослуживцев. Скорбь сменилась пресным безразличием, а безразличие превратилось в самое настоящее нетерпение, все только и ждали, когда директор заткнётся и можно будет ехать на кладбище. Саянов тихо ликовал, и ликование его было столь бескорыстно, что Саянову едва ли не жаль было лежащего в гробу мерзавца.

Гроб понесли к катафалку. Люди расступились, соорудив живой коридор. На улице случилась вечная в такие моменты толкучка и бой за места. Институт не поспешил. Было много автобусов, мест должно было хватить. К инженеру-конструктору Леквовеву в «Волгу» забралась плеяда великих – Артём, Андрей, Лерочка, Нина. Успешные, модные, богатые – они были сродни богам и никого в свой круг не допускали. Обедали вместе и отдыхали вместе. Вместе садились на собраниях и вместе демонстративно прогуливали субботники. Все, кроме Саянова, хотели попасть в этот сонм небожителей, но законы у этого общества были строги и суровы: успех, именитые родители, импортная одежда, панибратское обращение «май френд». Здоровое, насколько это возможно, противостояние системе приветствовалось, но ограничивалось непосещением субботников и демонстраций, что не мешало плеяде великих посещать пленумы и собрания.

Алла Викторовна и Мариночка иногда получали снисходительное приглашение за их сдвинутые в буфете столы, такой же почести удостаивалось ещё пять-шесть коллег. Остальные были объектами нейтральными. Саянов, Мирошниченко и прочие «советские трудящиеся» для плеяды никакого интереса не представляли. Они существовали в своём отдельном мире, мире, о котором плеяда ничего не хотела знать. Эти ребята не опускались до обсуждения изгоев, но с неким интересом слушали рассказы прихлебателей, что же происходит в этом жутком, отвратительном, таком неудобном мире. Наверное, больше всего их интересовало, как там вообще можно жить, да и зачем нужна такая жизнь.

Алла Викторовна и Мариночка стояли как оплётанные. Они на что-то надеялись, хотя и догадывались, что в «Волге» всего лишь пять мест, да и то если потесниться. Отдельным эшелоном грузилась в рыжий пазик компания Сорокатых. В плеяду он не вошёл, но Леквоев позволял себе иногда послушать опусы про Алтайцева. Заканчивалось это обычно весьма искренним смехом и снисходительным: «Потрясно, старик. Повеселил. Ну что ж, ступай к своим, тебя заждались». Униженный, растерянный Сорокатых возвращался к шумной компании, покидая которую пятнадцать минут назад был уверен, что это навсегда, что Леквоев бросит своё дежурное, полное харизмы и надежд: «Старик, с этого дня обедаешь с нами», – и жизнь расцветёт новыми красками. Но Сорокатых возвращался. Его коллеги делали вид, что ничего не случилось, просили почитать ещё что-нибудь про Алтайцева или рассказать последние институтские сплетни, но тот молча доедал свой обед и уходил на перекур.

Алла Викторовна, поразмыслив, что коль Леквоев не взял её на свой праздник жизни, решила, что сойдёт и Сорокатых, полезла за ним в автобус, но не тут-то было. Сорокатых (видать, и сам расстроенный тем, что его не взяли в «Волгу») повернулся к ней и с присущим ему апломбом спросил:

– Милая Алла Викторовна, на чём записать такое почтение? Вы же хотели ехать на «Волге» с Леквоевым?

На Сорокатых зашикали, напомнили, что не время и не место паясничать, Алла Викторовна вспыхнула, пулей вылетела из автобуса и, осмотревшись, направилась в «коробочку», перед которой стоял Саянов. Он был готов бежать к автобусу Сорокатых, если бы только Алла Викторовна решила в нём ехать. Но теперь и бежать не придёт. Он стоял у входа и зачарованно глядел, как белоснежные лодыжки взбираются по узким ступеням, мечтая прижаться щеками к этой соблазнительной белизне. Злобно посмотрев на новых соседей, Алла Викторовна плюхнулась возле окна. Мариночка же решила, что поездка с таким контингентом окончательно испортит её репутацию. Она вернулась к Сорокатых. К автобусу подошли сторожа. Завхоз, выглянув из крохотного окна, завопила словно в рупор:

– Николай Ефимыч. Давай внутрь, одного тебя ждём. Тоже мне, граф нашёлся.

Саянов вмиг поднялся в автобус, почти все места были заняты. Алла Викторовна сидела с краю, пришлось попросить её подвинуться. Проворчав что-то под нос, Алла Викторовна забила в угол и стала демонстративно глядеть в окно. Сторожа расселись на общем сиденье сзади и, прикрываясь «Огоньком», достали складной стаканчик и бутылку портвейна.

Заурчав двигателем, «коробочка» рванула в сырое мартовское утро.

4.

На кладбище каркали вороны. Погода совсем испортилась. Казалось, что сейчас не ранняя весна, а какая-то куца осень. Грязные голые ветви, на которых не распустилось ни одной почки, на земле – каша из глины, размякшая от недавно стаявшего снега. Нож-

ки табуреток то и дело уходили в чавкающую жижу. Копачи шумно сморкались, закрывая одну ноздрю пальцем. Автобусы, разумеется, остановились в самой грязи. Повезло тем женщинам, кто не успел сменить сапоги на легкую обувь. Остальные поминутно вытаскивали застрявшие подошвы, опасаясь, как бы в этом месиве не осталась и вся туфля. Мужчины счищали ветками крупные комья земли, налипшие к низу брюк. Но попытки были бесполезными. Плюнув на это безобразие, так и чвакали по грязи к могиле.

Саянов остался у автобусов. Во-первых – от множества ног дорогу разнесло так, что пройти и не упасть при его, Саяновской, неуклюжести, было нереально. Во-вторых – туфли, которые он только недавно купил в комиссионке, были действительно хороши-ми, а главное – единственными. Старые отказался ремонтировать даже сапожник дядя Миша. Так что Саянов задержался на сухом пятачке, зная, что можно отлично порадоваться и отсюда. Неподальёку обнаружилась даже скамейка. С широкими тёмно-зелёными брусьями, массивными ножками, такие стоят у подъездов и в парках во всех городах огромной страны. Скамейка и скамейка. Саянов плюхнулся на неё, наблюдая за воз-нёй у могилы. Саянову было легко и приятно, хотелось сидеть и не вставать. Отличный день. Кончилась сама, без хлопот и усилий, целая вежа его проблем. Саянову, разуме-ется, изобретение никто не вернёт, но всё же наступило возмездие, а главное – тиран, пивший кровь, через несколько минут окажется в земле. Неизвестно кого ещё пришлют на смену, да вот только знал Саянов – никого хуже Куляды и быть не может. Даже Сорокатых – хоть и ехидна, но только ручная это ехидна. Зайдёт к Саянову, бросит дежурное: «Колян, там это, в расчётах помочь надо», – и Саянов идёт. А Сорокатых смотрит из-за плеча, чешет голову и хвалит: «Ну, молоток, ну дом советов, гений, гений чистой воды». И хорошо от этого Саянову, и все шуточки про Алтайцева такой ерундой кажутся. Сорокатых над всеми подтрунивает. Больше всех Мирошниченко достаётся. Да и нельзя на человека злиться бесконечно. Душа устаёт, выкипает. Только Куляда – мразь, тварь, скотина, будь он проклят... – Саянов с ужасом посмотрел на процессию, вспомнив, что нельзя про покойников плохо, да только почему нельзя? Кто это придумал? Какой-то римский сенатор? Так он и сам давно помер...

\*\*\*

Саянов сидел и думал о голых коленях Аллы Викторовны. Как бы хорошо уткнуться туда лицом и лежать, нюхать, вдыхать сытный запах. А ведь можно и целовать, прижи-мать к себе её бёдра. Он почему-то вспомнил, как выходили из автобуса. Едва приехав на кладбище, Алла Викторовна попросила выпустить её. Саянов с сожалением подчи-нился. Женщина ринулась к выходу и выпрыгнула, не дождавшись полной остановки. Все подумали – по нужде. Но Саянов знал – не хочет, чтобы Леквоев и другие видели, с кем она на кладбище притащилась.

Саянов мечтал, что сейчас они поедут в кафе напротив института, там должен состо-яться поминальный обед. Дадут борщ. И лапшу. Он выберет борщ, потому как вкуснее. И жареной курицы съест сразу несколько кусков. А на второе – непременно что-нибудь мясное, и чтобы пюре было с густой подливой. А если будут разливать водку, то непре-менно закажет себе рюмку. Пустую. В неё нальёт воды и, наравне со всеми, будет пить и чокаться. Саянов поймал себя на мысли, что еда на поминках всегда очень вкусная. Почему? Он и сам не знал. Наверное, после трудного нервного дня, суеты на кладбище, заунывных речей было особенно приятно расслабиться в тепле за накрытым столом, поесть домашней, чаще всего неплохо приготовленной пищи и...

...Саянов и сам не заметил, как уснул. А когда проснулся, не было ни автобусов, ни машин, ни людей. Лишь свежая, заставленная венками могила в десяти метрах от доро-



ги. Уехали, а о нём даже не вспомнили. Мирошниченко и та не вспомнила. Он хотел обидеться на неё, но передумал. В мыслях замелькала картинка годовой давности, он возвращался домой. Возле закрытого ларька Союзпечати пьяный бугай огромной, словно ковш экскаватора, лапидер держал Мирошниченко за кофту. Саянов, у которого страх горячими струями стал куролесить по внутренностям, пытался пройти незамеченным. Мирошниченко встретила с ним взглядом и жалостливо позвала. Она даже успела окликнуть его по имени, но вместо отчества раздалась увесистая затрешина, оборвавшая трескучий голос Мирошниченко. Бугай, уставившись на Саянова, громыхнул:

– Чё-то хотел?! Ну вот и хилая отседа!

Саянов ускорил шаг. Он сгорал от стыда, слёзы катились градом, но вернуться и помочь – было выше его сил. У справочной будки он всё же остановился, скороговоркой бросил очкастой женщине: «Там человека избивают», – и ретировался к ближайшей остановке. Дома он готов был провалиться на нижний этаж. Хотел разыскать телефон Мирошниченко, позвонить, узнать, всё ли в порядке. Но понял глупость этой затеи. На следующий день он, опустив глаза, хотел пройти мимо, встретив её в буфете, но Мирошниченко поздоровалась с ним, села за его столик и весь обед щебетала о племяннике, который всю ночь дежурил у книжной лавки, где рано утром выкинули потрясающие новинки.

От мерзких воспоминаний Саянов отряхнулся, как ретивый конь, что машет гривой, сбрасывая всякую слякоть, вздумавшую валиться на него с крыши. Шлёпая новыми туфлями, он направился к могиле. Железный памятник завален венками. В середине уже прикручена шурупом керамическая фотография. Памятник временный. Земля осадет, сюда привезут гранит. Но Саянову это малоинтересно. Он не вернётся. Никогда. Шумно всосав тягучую жижу из носа, он дал сползти ей на язык, а затем, набрав воздуха в лёгкие, выстрелил зелёную пакость изо рта с резким звуком «тсуф». Раскидав пару венков, он с наслаждением помочился на железо, лишь после вспомнив, что памятник ставят у ног.

С чувством выполненного долга Саянов направился восвояси.

## 5.

Прикидывая, успеет ли он на обед или уже нет, Саянов отмахал четыре сектора, но до выхода так и не добрался. Сзади что-то громыхало. Он повернулся. Посреди дороги стояла скамейка. Та самая зелёная скамейка, на которой Саянов уснул. Странно, откуда она здесь взялась? Может, это другая скамейка? Ну, точно, он же шёл, искал глазами выход, а какой-то шутник вытащил её на дорогу. Хотя почему шутник. Видать, кому-то стало плохо, притащили скамейку, но теперь уехали. Обхватив скамью руками, Саянов постарался оттащить её на обочину. Он кряхтел, рычал, выговаривая – «тяж-ж-жёл-лая, па-даль», но сил не хватало. Бросив скамейку – поплёлся вперёд. «Драг, драг», что-то громоздкое грохнуло позади. Он обернулся – чёртова скамейка будто сместилась. Да почему же – будто? Вот следы. Только что была там, а теперь – на метр ближе. Что за чертовщина? Он осмотрел скамейку. Повернулся, пошёл дальше. Снова «драг, драг, драг, драг, драг». Добрался до поворота. Скамейка, словно верный пёс, стояла в двух метрах позади. Внимательно посмотрев на скамейку, Саянов промолвил:

– Ну и чего ты за мной попёрлась?

Скамейка ничего не ответила. Саянов развернулся и побежал. Громыхания сзади участились. Он снова повернулся. Скамейка была неподалёку, но стояла как вкопанная. Он снова побежал. Как ни оглядывался, сколь резко ни менял маршрут, скамейка следовала за ним по пятам. Саянов шёл и думал – переутомление? Солнечный удар? Но какое солнце в такую погоду? Может, отравился чем-то за завтраком? И понимал, что ни одна



из версий не объясняет случившегося. Абсурд, полный абсурд. Он заскочил в уходящий автобус и через сорок две минуты был дома.

Мать накормила Саянова варениками. Вареники были тяжёлыми, липкими, из толстого теста. Готовила мать, как и все учителя, ни шатко ни валко. Да и когда готовить, если каждый день нужно проверить тридцать шесть тетрадок. Саянова, никогда не знавшего иной стряпни, в молодости это устраивало. Но появилась студенческая столовая, кооперативные кафе, закулочные, буфет в институте, и Саянов понял, что еда бывает разной. Он давился глиняными варениками и всё думал, отчего мать не может сделать тесто тоньше, а картошку нарезать и подержать в молоке. Но говорить стеснялся. Мать на подобные комментарии затягивала долгую песню про войну, голод и «радуйся, что хоть это есть». Саянов наелся, жалея, что так и не успел на поминальный обед. Настроение было прекрасным. Завтра – первый день без ненавистного Куляды. Саянову почему-то казалось, что жизнь теперь круто изменится. Он схватил мусорное ведро с ручкой, оплетённой синей изолентой, и потащился на помойку. У подъезда сидела бессмертная Софья Никитична. Смотрела на Саянова с прищуром. Саянов не курил папирос, водки отродясь не пробовал, да и в драках замечен не был. Это почему-то раздражало Софью Никитичну. Вот и сегодня она накинулась на не слишком вежливо поздоровавшегося Саянова.

– Что ты ходишь тут, пылишь? Знамо дело – детишек нет, потому и забот никаких. Ну, иди-иди, да смотри, чтобы мамка не заругала.

Саянов от злости скрипнул зубами. И чего она к нему пристаёт. Украдкой посмотрев на соседку, он охнул от удивления. Старуха сидела на той самой зелёной скамейке, его знакомице, притащившейся с кладбища. Ткнув в скамейку пальцем, Саянов, заикаясь, спросил:

– Э-э-это от-ткуда здесь?

Софья Никитична ничего не ответила, лишь сильнее прижала ладони к клюке да пожевала губами. Саянов ушёл, а скамейка осталась на месте. Выбросив мусор в контейнер, он сходил к реке, проверить, не остался ли где-то лёд. Когда вернулся во двор, Софьи Никитичны уже не было. Саянов почесал живот, а потом спросил:

– А Софья Никитична куда подевалась?

Скамейка ничего не ответила, может быть и к лучшему.

6.

На работе все обсуждали последнюю новость. На место Куляды назначен Шукин. Шукин – тихушник, скорее всего КГБшник. Его побаивались, а руководство – особенно. К Шукину в кабинет старались без лишней надобности не заходить, при Шукине прекращались самые нейтральные, политически-выверенные разговоры. Когда фотографировались, старались встать подальше от Шукина. Умел этот невзрачный, лысоватый, в огромных очках человек с плохими зубами нагнать страху. Ходил-сутулился, глядел на всех исподлобья, будто ресницы на глазах считал. Говорил таким тихим голосом, что приходилось переспрашивать. Мариночка, совсем тогда ещё девчонка, когда в первый раз Шукина увидела, то выронила поднос с компотом и ватрушкой, позорно вскрикнув «Шуки-и-ин!» Сам директор института перед ним заискивал, потому что Шукин был частым гостем в ЦК. Шукин приступал к работе в пять утра, а домой уходил иногда за полночь. Одному богу было известно, в каком отделе Шукин работал. Он не был в составе академсовета, не числился за бухгалтерией, да и Юрий Васильевич, толстяк-юрист, не называл его коллегой. Чем занимался Шукин, какие вопросы решал – то было загадкой. В его чёрную, обитую медной проволокой на заклёпках дверь остроож-

но стучали и с вежливым почтением заходили неизвестные товарищи, одетые как один в строгие костюмы. Впустив посетителей, дверь плотно закрывалась, а то, что обсуждалось в шукинском кабинете, для большинства оставалось тайной.

Шукин с утра перебрался в просторный, покрытый паркетом с роскошным зелёным ковром кабинет Куляды. Напротив портрета Ленина разместился Дзержинский со своей вечной бородкой клинышком. На длинном столе для совещаний к минералке добавился «Байкал», а на тумбочке появился блестящий электрический чайник. Когда Саянов вошёл в кабинет, Шукин как раз наливал кипяток из чайника в гранёный стакан. Заварка, набухнув, всплывала и кружила в горячем водовороте. Аккуратно прикрыв стакан листом плотной бумаги, Шукин жестом предложил садиться. Сегодня он был наряден. Чёрный вельветовый костюм, белоснежная рубашка, рубиново-голубой галстук. Огромные стёкла очков накрепко впились в толстую черепаховую оправу. Он посмотрел на Саянова и стал похож на гигантского грача. Мощная лампа, включенная, несмотря на солнечное утро, лила на его лысину яркий лимонный свет.

– Садитесь, товарищ Саянов. Что же вы стоите?

Саянов мигом шмыгнул на обитый тёмно-синей тканью стул. Он смотрел на одну из бутылок «Байкала», заметив, что в свете ламп напиток из чёрного стал тёмно-красным.

– Хотите газировки? – и, не дождавшись ответа, Шукин мигом открыл слюдяной открывалкой бутылку «Байкала», налив Саянову полный стакан. Саянов любил этот напиток. В их городе «Байкал» достать было непросто. Он отпивал шипучее лакомство, с сожалением понимая, что слишком скоро от напитка не останется и следа.

– Я вызвал вас, чтобы поговорить о нашем последующем сотрудничестве, – Саянов при этих словах сжался как от удара плетью, отставив подальше стакан со сладкой, отдающей сосновой смолой благодатью.

Шукин чего-то ждал, но Саянов не отвечал. Тогда он снял бумажку со стакана, бросил два куска рафинада и, тщательно размешав, сделал четыре глотка.

– Я изучал ваше дело. И знаю, что изобретение ТОФа – ваша заслуга. Ни Куляды, ни Сорокатых, ни Тартаковского. В наш век просто учёным быть мало. Следует иметь определённую хватку, крепость духа и пробивной характер. Изобретение нужно не просто выносить и родить, его нужно, с вашего позволения, поставить на ноги. Я, наверно, выражаюсь очень глупо, но... – Шукин поправил очки. Саянов заметил, какие у нового шефа усталые, воспалённые глаза. Отхлебнув ещё четыре глотка, Шукин продолжил:

– В итоге – вы потеряли изобретение, занимаетесь бесперспективными направлениями, вся ваша деятельность – проверка работ вчерашних недоучек. Вас вывели в тираж. Да-да. Вывели в тираж, затёрли, задвинули. Это плохо, товарищ Саянов, неприятельно!

Саянов с грустью и удивлением посмотрел на Шукина. Он едва удержался, чтобы не развести руки в стороны. Саянов продолжил.

– Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что так виднее руководству, что Куляда попил вашей крови... отговорок очень много. А их вообще быть не должно.

– Но что же мне делать? – На этот раз Саянов всё-таки развёл руки. Шукин протёр очки галстуком. Посмотрел крохотными глазками и строго проговорил:

– Делайте то, что делаете лучше всего. Работайте, изобретайте, занимайтесь исследованиями. И обзавайтесь зубами, чтобы отстаивать свои изобретения, не позволяя утащить их всяким оппортунистам из-под вашего носа.

Шукин запустил по столу какую-то бумажку. Густым типографским шрифтом на бумажке были оттиснуты слова приказа: «Назначить тов. Саянова руководителем лаборатории с окладом согласно штатному расписанию с...». Саянов поднял глаза на Шукина. Тот покивал головой.

– Да-да. Заберёте лабораторию себе, у вас месяц, чтобы разогнать тунеядцев и оставить толковых. И, разумеется, реанимируйте свои разработки. Наши товарищи, – Шукин поднял палец вверх, – считают некоторые из них весьма перспективными, – Шукин придвинул к Саянову листочек, вырванный из настольного блокнота, там были выписаны красивым крупным почерком восемь тем, которые, как и многие другие, были зарезаны весьма кстати почившим товарищем Кулядой.

7.

Наступила новая жизнь. Каждое утро Саянов начинал с совещания, где проговаривал с коллегами (он так и не научился называть их подчинёнными) фронт работ. Вечером, выслушав результаты, делал пометки. Он оставил за собой самые сложные расчёты, проработку полемичных тем и чистое изобретательство. Саянов всё ещё не мог привыкнуть к тому, как много можно успеть с шестью коллегами, способными принять на себя рутинную работу. Мозг Саянова, словно тритон, вытасненный из вечной мерзлоты, оживал, напитывался новыми идеями и работал как бешеный. Теперь и Саянов приходил на работу к половине седьмого, а засиживался до позднего вечера, но своего нового шефа он переплюнуть так и не смог. Шукин не докучал Саянову требованием бесконечных отчётов. И вообще предоставлял широкую свободу действий. Всё сводилось к простому принципу – пришёл, доложил, получил ЦУ, вернулся к работе. Первый же аванс позволил Саянову осуществить свою мечту. Югославская куртка, шитая будто нарочно на Саянова, так и пылилась бы в комиссионке, но теперь Саянов смело мог купить её, не копейничая. Денег оставалось до неприличия много, и Саянов на радостях набрал матери сладостей и пластинок любимых композиторов. Теперь можно всё – починить «Москвич», съездить в Сочи, сводить мать в ресторан. Можно, но не хочется. Саянов чуть от злости зубами не скрипел, понимая, что все его материальные мечты свелись к банальной куртке. Походит он в ней неделю, походит другую, купит к куртке пижонский пиджак и новые брюки, а дальше что. Зато теперь даже Шукин похвалил его за внешний вид. Саянову нравился его коллектив, новое, вроде и панибратское, а такое почтительное обращение – «шеф». Алла Викторовна смотрела на Саянова с нескрываемым интересом, а тот, окунувшись в любимое дело, всё никак не находил времени вырваться из сумы работы. Отношения с Сорокатых приобрели странный характер. Тот больше не читал про Алтайцева. Бывшие же насмешники предпочли держаться от Саянова подальше. Ну его к чёрту. Сегодня Саянов – завлаб, а завтра? Лучше не рисковать. Саянов домой приходил поздно. Мать не слишком была довольна его повышением. «Неспроста всё это, Коленька, – говаривала она. – Было плохо, а станет ещё хуже. Не навсегда эти блага».

\*\*\*

Скамейка всё это время стояла во дворе. Она бросила свою скверную привычку громыхать за ним по всему городу, но надолго ли – Саянов не знал. Стоит на месте – и на том спасибо.

8.

Саянов работал очень много, а вот спать почти не получалось. Однажды по дороге домой прохрапел свою остановку, очнувшись на конечной. «На выходных надо срочно отремонтировать машину», – подумал Саянов и выскочил в темноту улиц.

Саянов знал этот район. Индустриальный, или Индюк, как его называли все от мала до велика. Индюк был безобразным нарывом на теле города. Убийство и изнасилование считались чем-то обыденным. Грабили на Индюке бесконечно и бесконтрольно. Снимали шапки, куртки, сапоги, раздевали до нижнего белья. А как не грабить, если работа на фабриках-душегубках, где не протянешь и двух лет, приносила сущие копейки. Грабитель тут же относил награбленное местному барыге, получал свою порцию ханки, чтобы вмазаться и уснуть в соседнем подъезде. Случалось, что вмазавшийся не доживал до утра, а с его смертью уходила призрачная надежда раскрыть грабёж. Всё живое и здравомыслящее словно из лесного пожара старалось перебраться отсюда подальше. Родители продавали последнее, не спущенное на наркоту и откуп от местных бандитов шмотьё, рыжьё и «непосильным трудом нажитое» имущество. Но Индюк как магнит тянул обратно – вырваться удавалось единицам. Остальные заживо гнили в этой клоаке, где мало кто доживал до сорока.

Саянов осторожно огляделся. В одиночестве он стоял на разбитой остановке с перевёрнутой урной. Ни такси, ни попуток. Вот же занесло, чёрт возьми. Куда ни глянь – крошечная тьма. Редкие фонари вдоль дороги, по которой и не думал ездить хоть какой-нибудь транспорт. Он шёл и шёл и всё надеялся, что кто-то остановится. Раздался отвратительный, протяжный, с причмокиванием, свист. Саянов понял – беды не миновать. Он готов был раздеться догола, отдать всё, лишь бы не били. Но за ним уже погнались безликие, какие-то серые и от того ещё более отвратительные образины. В тухлом свете фонарей блеснуло золото зубов. Отморозки бежали, свистели, что-то кричали. Саянов понимал – откупиться теперь не получится. Он поднял толпу, погнал за собой, превратившись в добычу. Саянов для них потеха, игрушка. Будут бить, пока не обмочится, а скорее всего – зарежут форсу ради. Саянову стало так страшно, что он рванул, не разбирая дороги. От страха и прыти не заметил перед собой подлый, словно для курей построенный заборчик. Запнувшись, он летел и думал, когда же всё-таки приземлится. А когда свалился, сразу понял – конец. Налетела толпа, стала бить – беспощадно, свирепо, злорадно. Старшие подзуживали младших, наказывая пинать по лицу, младшие пытались оттянуть его руки, чтобы освободить для ударов голову. Кто-то задышался от злобы, кто-то кричал – «не мажь, сука, бей до хрсту». Саянову страшнее всего была их никчемная, бессмысленная жестокость. Они не просто хотели его убить, они жаждали доставить нечеловеческие страдания, кто-то пинал с разбегу, кто-то нарочно целился в пах.

И вдруг удары прекратились. Грохот, крики, хруст костей, какие-то вопли, топот уносящихся во тьму кирзачей. Саянов поднялся. Его трясло, тошнило. Лицо было разбито, тело ломило от боли. Он понимал, что прошло не больше минуты, если б били дольше, он бы не выдержал. Возле арыка у дороги лежало два истерзанных тела. А между ними стояла скамейка. Когда она сюда успела прибежать, осталось тайной. Саянов шёл, тело гудело от боли, скамейка громыкала где-то позади. Саянов всё вспоминал изуродованные тела своих обидчиков. У одного треснула голова, мозги, смешавшись с грязью, стекали жирными густыми каплями в арык. Второго сплющило, словно по нему прокатился грузовик. Височная кость надломилась, выдавив глаз, скула, разорвавшая щёку, торчала бело и безжизненно. Как ни страшна была эта сцена, Саянов был рад и очень благодарен скамейке за спасение. Радость перешла в злорадство, а злорадство вызвало длительный, безудержный смех. Добирался Саянов домой пешком, почему-то был уверен, что ничего с ним больше не случится. Скамейка громыкала сзади. В квартире, смыв грязь и кровь, выбросив изорванную одежду в корзину для белья, Саянов взял копию ахалтекинского ковра (очень хорошую копию – подарок университетских товарищей) и, выбежав во двор, накинул на скамейку.

9.

Леквоев защитил кандидатскую. Отмечал, словно получил «академика». Сняли целый этаж в «Гиацинте». Швейцар в тёмно-синей ливрее с золотыми пуговицами кланялся так, что едва не мёл бородой гранитное крыльцо. Была тут и плеяда, и дирекция института в полном составе, и многие коллеги. Саянов получил тиснёное золотом приглашение. Каллиграфическим почерком были написаны слова, зазывающие «разделить торжество науки над разумом, а разума над безалкогольными возлияниями будущего лауреата Нобелевской премии». Смеялись, шутили, приглашительный был написан, что называется, «на грани»: ещё чуть-чуть и перебор. Леквоеву за папины заслуги могли простить всё, но Леквоев знал меру. Не переборщил, но эпатировал. Пригласили многих, разумеется, кроме всяких Мирошниченко и прочих Степансавельичей. Они с глупой улыбкой слушали шумное обсуждение более счастливых коллег, как те планируют «пропивать» кандидатскую. Не пригласил новоиспечённый кандидат и Сорокатых. В шумном споре Леквоев недавно назвал его при всех бездарщиной, за что получил в ответ «папенькиного сыночка» и «мимозу». Сорокатых сидел в буфете, балагурил, всем видом показывая, что происходящее ему совсем не интересно, но никто не обращал на это внимания. Алла Викторовна напросилась в машину к Саянову. Она благоухала французскими духами. Мариночку приглашать не стали. Шукин заехал в ресторан на двадцать минут. Поздравил Леквоева и тут же умчался в аэропорт. У Щукина «горел» симпозиум в Ленинграде, надо было спешить. Перед отъездом он дал напутствие Саянову – не напиваться. Но Саянов и так не пил, он вообще никогда не пил, а тут ещё и за рулём. Гремела музыка, на стол подавались нежнейшие деликатесы, а Алла Викторовна приглашала Саянова на каждый танец. Как ни весело было застолье, как щедро ни опаивал Леквоев своих гостей, как ни блистали на площадке Лерочка и Нина, но Саянов засобирался домой. Алла Викторовна, пившая только рислинг, смотрела на него пьяными задорными глазами, а потом украдкой поцеловала в шею. У Саянова от случившегося закружилась голова. Он нашёл руку Аллы Викторовны, крепко сжал хрупкие пальцы, а уж она не позволила отпустить, пока не сели в машину.

– Ну что, Николенька, отвезёшь домой?

И вот это её «Николенька» было таким нежным, таким обещающим, что попроси Алла Викторовна отвезти её на Луну, Саянов немедля отыскал бы на карте автостраду на «Байконур». У подъезда Алла Викторовна потребовала проводить её до самой квартиры, сославшись на хулиганов, часто проводящих в подъезде всё свободное время. Саянов, вспомнив ночное приключение, растерялся. Алла Викторовна силком потащила его за собой. Заметив, что никаких хулиганов нет и в помине, Саянов выпятил грудь колесом. Предчувствие сулило великолепное приключение. Открыв квартиру, Алла Викторовна буквально зашвырнула его внутрь.

– Пойдём... пойдём-пойдём... – она тащила Саянова словно буксир засевшую на мели баржу. Квартирка у Аллы Викторовной оказалась скромной полуторкой, из-за отсутствия шкафов пальто и блузки висели на вешалках, а вешалки болтались на гвоздях, криво вбитых в бетонную стену. Откупорив новую бутылку рислинга (Саянова смутило количество этих бутылок в дрожащем холодильнике), она стала пить прямо из горлышка. Угостила и Саянова, он всё отнекивался, в итоге шикарная рубашка оказалась залита вином.

– Ой, вот ведь незадача. А ну снимай, снимай живо, я утюгом просушу.

Когда Саянов остался без рубашки, внутри живота растеклось нечто тёплое, липкое, такое редкое в его жизни, что он и не знал, как описать это чувство. Светила оранжевая лампочка без торшера, Алла Викторовна через голову стянула с себя вмиг наскучившее

платье, рванула ремень на брюках Саянова, а когда они остались в нижнем белье, Саянов потянулся к выключателю.

– Не надо, – хрипло сказала Алла Викторовна, – неужели посмотреть не хочешь? Я вот хочу, – она стянула с Саянова сатиновые «смейки», а сама с пластмассовым щелчком расстегнула бюстгалтер, обнажив некогда красивую, но дрябловатую и слегка отвисшую грудь. Потом, согнув ноги, стала стаскивать трусики. Саянов, ошалевший от увиденного, больше всего был поражён, что женщины снимают трусы совсем не как мужчины. И это было последней его трезвой мыслью. В горячем ознобе он понял, что там Алла Викторовна рыжая, точнее медная, и это было очень красиво. У Саянова закружилась голова, Алла Викторовна щёлкнула выключателем. А потом было очень хорошо, горячо и приятно. Алла Викторовна тяжело дышала, Саянов терзал её тело, словно пытался наверстать упущенное. В какой-то момент Алла Викторовна слегка отстранила Саянова, ворчливо, но ласково, прошептав:

– Да что же ты такой ненасытный, а? С кругосветки вернулся, что ли?  
Оба так утомились, что проспали будильник и без завтрака рванули на работу.

Ю.

Следующая неделя началась с крупного скандала. Группу Сорокатых переводили в подчинение Саянову. Саянов тщательно готовился к разговору со своим бывшим врагом. Хотя почему врагом? Оппонентом. Все обиды позади. Приключения Алтайцева забыты, Сорокатых вежливо здоровался в коридорах, коллеги плодотворно обсуждали рабочие вопросы. Сейчас Сорокатых придёт на первую встречу. Саянов умышленно будет говорить ему «коллега». Никакого панибратства. Никакого унижения. Лишь глубокое уважение как к учёному. И всё же Саянов лукавил. Он прекрасно понимал, что так, как прежде, быть не может. Он не простит Сорокатых годы унижений. При любом раскладе он...

...В дверь без стука ворвался Сорокатых. Отбросив протянутую для приветствия ладонь, он завопил неожиданно высоким, то и дело срывающимся голосом:

– Это что ещё за хреновина тут происходит. Ты – мой шеф? Ты, тряпка и бестолочь, о которую треть института вытирает ноги, будешь давать указания, а сам просиживать жопу в кулядовском кресле?

Саянов опешил. Он совершенно не был готов к такому развороту. Больше всего ему хотелось, чтобы кто-то зашёл в кабинет, убрал разбушевавшегося Сорокатых, а потом, как-нибудь без его участия, уволил, и чтобы Сорокатых больше не появлялся в этих стенах.

Сорокатых схватил Саянова за рубашку. С бисерным стуком полетели на пол пуговицы.

– Ты что же, сука, думаешь – у меня на тебя управы не найдётся? Да я и тебя, и твоего Щукина урою. У меня такие знакомства, что вам, вам...

Не договорив, он схватил со стола листок и стал писать заявление. Саянов, осторожно заглядывая через плечо, понял, что заявление Сорокатых написал на имя Щукина, Сорокатых, заметив, что Саянов подглядывает, схватил бумажку и стал запикивать её Саянову в рот. Тот вяло сопротивлялся, понимая, что сейчас Сорокатых лучше не злить.

– Подавился, подавился, скотина? Я сам! Сам уйду из этого болота. И ты мне никогда шефом не будешь. Понял. Понял?! – отвесив Саянову две звонкие пощёчины, он, казалось, немного поостыл. Пошёл к двери, но выходя обернулся и, ткнув пальцем в Саянова, промолвил, задыхаясь от расправившей злобы:



– Это только аванс... после работы отметелю... – Сорокатых хотел сказать ещё что-то, но лишь громко хлопнул дверью.

Как ни убеждал себя Саянов, что всё кончилось, как ни хотел верить в то, что Сорокатых одумается и уберётся из института подобру-поздорову, да верилось в такой исход с трудом. Он с ужасом представлял, как выходит к машине, а огромный Сорокатых хватается его за воротник, валит и бьёт. Пуще боли Саянов боялся унижения, отвратительного унижения, которое ещё долго будет разрушать его изнутри. Саянов работал, но какая сегодня могла быть работа. Он всё раздумывал, что же делать. Может, дожидаться, пока все уйдут? Тогда кроме парочки сторожей никто не станет свидетелем его позора. Сказать Шукину – тот вздохнёт, закатит глаза и, разумеется, примет меры, но о Саянове сделает соответствующие выводы. Сбежать пораньше – тоже не вариант. Сорокатых наверняка просчитал такой ход, он не даст покинуть Саянову институт. В милицию Саянов обращаться даже и не думал. Милиция поднимет его на смех, а коллектив на всю жизнь прозвёт стукачом. Саянова бесила вся глупость сложившейся ситуации. Не научился подростком решать такие проблемы – они догнали его во взрослой жизни. Саянов мечтал – сейчас позвонят, сообщат – Сорокатых с треском уволен и только что умчался в ярости домой на своих «Жигулях». Или ещё лучше – Сорокатых нахамил Шукину. Вызвали милицию, инспектор оформляет смутьяна на пятнадцать суток. Саянов никак не мог сосредоточиться. Он лишь мечтал, чтобы его проблема решилась без его участия. Время летело быстрее, чем обычно, хотя он готов был хоть неделю не покидать институт. Чёрт побери, уже половина шестого, а ничего ещё не сделано. Саянов изводил себя жуткими вариациями, что могло бы произойти. В конце концов он накрутил себя до животного, не поддающегося контролю страха, воспалённое воображение рисовало совсем уж неправдоподобные картины. Он злился на Сорокатых, в какой-то момент мечтал о том, чтобы Сорокатых сбил троллейбус. Но этот надутый павлин не ходил никуда пешком, так что надеяться на экологически чистый общественный транспорт не приходилось. На столе затрещал телефон. Вызывал Шукин.

– Товарищ Саянов. Немедленно зайдите. Товарищ Сорокатых...

Связь оборвалась. Саянов рванул в кабинет к шефу. Чёрт побери. О его конфликте уже известно руководству. Но откуда? Неужели его секретарь, дородная усатая женщина с редким именем Аврора, подслушав их утреннюю ссору, доложила всё шефу. Такое положение вещей его вполне устраивало. Шукин примет меры, репутация Саянова не пострадает. Он не доносчик, просто секретарь, переживая за шефа, сообщила об инциденте.

\*\*\*

Он толкнул дверь в кабинет Шукина. За огромным столом разместилось почти всё руководство института. Рядом со Щукиным сидел милицейский инспектор. Ещё один, кажется старшина, разместился на одном из стульев, расположенных вдоль стены. Шукин спросил:

– Товарищ Саянов. Вы товарища Сорокатых куда-нибудь отпускали?

Саянов ничего не понимал, он лишь растерянно проблеял:

– Н-нее-ет. А что случилось?

Инспектор упёрся кулаками в стол и, пристально смотря на Саянова, промолвил:

– Товарищ Сорокатых подвергся хулиганскому нападению. Он в хирургии. Идёт операция.

Саянов прижал ладонь ко рту. Инспектор покивал головой.

– Да-да. Били страшно. И не руками.

Старшина, сидевший у стены, встал и отчеканил:

– Повреждения как от тяжёлых деревянных предметов – дубины, палки, штакетник, не исключены фрагменты забора.

Саянов заволновался.

– Но-но откуда вы знаете, что деревянные? Может быть, арматура?

Инспектор, мазнув по лицу Саянова хитрым недоверчивым взглядом, посмотрел на старшину. Кивнул ему так, будто разрешал сказать что-то важное. Старшина, строго посмотрев на Саянова, отчеканил:

– Товарищ... – Он запнулся. Инспектор подсказал фамилию. Старшина продолжил:

– Товарищ Саянов. Вы недооцениваете советскую милицию. Это дерево. Приложи вашего коллегу арматурой хоть в половину той силы, он непременно бы скончался...

За столом загудели. Саянов снова осмотрел всех ошалелыми глазами.

– Да что же мы сидим? Нужно срочно ехать в больницу.

II.

Ни в тот злополучный вечер, ни даже через неделю к Сорокатых поехать не удалось. Из реанимации его переводили в интенсивную терапию, из интенсивной терапии – в реанимацию. Лучше ему не становилось. Поговаривали, что у Сорокатых, что называется, «поехала кукушка», своих не узнавал, дать показаний не мог. Милиция допросила институтских, но ничего вразумительного выпытать не удалось. Саянов, которого глодало двойственное чувство, вспоминал тот день. Точнее ночь. Он вернулся домой и никак не мог уснуть. Саянов метался в бессоннице, а сложив в голове все факты, выскочил во двор и накинудся на скамейку.

– Я знаю, что это ты. Знаю. Зачем? Скажи мне, зачем? Это ведь не хулиганы? Не бандиты. Это Сорокатых. Что же ты наделала? Что?

Скамейка молчала. На втором этаже загорелся свет, Саянов едва увернулся от порции холодного чая, которым щедро его угостила разбуженная соседка. Саянов посидел на скамейке, посмотрел на опустевший двор и поднялся домой.

Прошло два дня. Саянов огромной ложкой забрасывал в себя салат из свежего редиса, укропа, молодого лука и хрустящих огурцов, обильно политых майонезом. Истосковавшийся по витаминам организм всё не мог насытиться аппетитным овощным многообразием. Сожрав чуть не полтазика, он всё не мог остановиться. В комнату вошла мать.

– Коленька, слышал новость про Сашу – Сквороду?

Макая ещё горячий, специально купленный к салату хлеб в сочную майонезно-овощную жижу, тот промолчал. На кой чёрт ему нужен этот кретин. В своё время Скворода обложил непосильной данью их класс, хотя сам учился в другом с таинственными буквами – ЗПР. Он предпочитал водиться со старшеклассниками, лупя почём зря всех от мала до велика. Саянову от Сквороды доставалось не меньше других. Этот шнырь умудрился даже залезть в бидон, куда Саянов спрятал деньги на молоко. А однажды Скворода украл у Саянова велосипед. Сломал дужку замка в подвале и вытащил. Весь двор об этом знал, а участковый почему-то не догадывался. Мать дошла до прокурора района, но ничего с Сашей поделывать не получилось. Участковый приходил к Саяновым, тихо и виновато шептал матери на кухне: «Ну вы же понимаете, что ему ничего не будет. Зачем раздувать бучу?» Бучу не раздували. В последний раз Скворода сильно поколотил Саянова в девятом классе, когда тот шёл на городскую олимпиаду по физике. Поколотил от скуки, от лени. Просто чтобы он, Саянов, до олимпиады своей не дошёл. И Саянов, нос которого увеличился втрое, а единственный, нарочно припасённый для олимпиады джемпер был покрыт грязью, остался дома, в ожидании неотложки.



Саянов ненавидел Сквороду. Когда тот зарезал в десятом таксиста, никто даже не удивился. Все лишь вздохнули с облегчением, то ли в колонию для малолетних. Потом была целая эпопея судов и отсидок. Все эти годы Скворода во дворе не появлялся. И вот буквально неделю назад пришло ужасное известие – Сквороду отпускают домой. Его мать, рыжая с жёлтыми зубами женщина, бегала по квартирам, собирала характеристики. Ей до разреза нужен был тот, кто поручится за Сашеньку. Но таких не нашлось. Сквороду знали и ненавидели все жильцы без исключения. А новые – наслушавшись кошмаров, звонили участковому, умоляя оградить их от бандита-досрочника.

Мать повторила вопрос. Саянов, нехотя оторвавшись от салата, с раздражением посмотрел на неё.

– Ну слышал я, слышал. Сквороду выпускают из тюрьмы. Ну, или из психушки. Мне-то какое дело?

Саянов лукавил. Ему было дело, и очень большое. Он уже места себе не находил в ожидании Сквороды, присутствие которого в их дворе не сулило ничего хорошего. Мать, вытерев сухой ладонью крошки со стола, тихо промолвила:

– Избили его очень сильно. До смерти. Завтра тело привезут, мать всю ночь кричала...

Саянов доел салат, отказался от чая и спустился во двор. На его скамейке сидела вечная София Никитична.

– Ну чего уставился, чего уставился?

Но Саянов смотрел совсем не на соседку. Он смотрел на скамейку. А потом тихо прошептал ей: «Спасибо».

12.

В пятницу разрешили навестить Сорокатых. Врачи перевели его в общее отделение, хотя он, как и прежде, никого не узнавал. В палате, помимо Сорокатых, лежал какой-то дед. Дед не спал, но к посетителям не повернулся. Делегация из пяти человек вломилась в душное помещение, которое, судя по всему, не проветривалось со времён первой пятилетки. Сорокатых лежал, безразлично колупал стену. Когда с ним поздоровались – обвёл коллег мутным, каким-то отстранённым взглядом. На приветствие так и не ответил. На тумбочке покоились разрезанное яблоко и пара пряников на блюде. Под ними – тёмная ниша, в которой, никого не стесняясь, стоял рулон туалетной бумаги, кружка и зубной порошок. Саянов заметил про себя – ни одной книги. Даже у деда за подушкой спряталась свёрнутая в трубочку «Наука и жизнь». У Сорокатых, в неделю вычитывающего два толстых романа – не было даже газеты.

Саянов подошёл ближе. Сорокатых вяло посмотрел на него. Внезапно его глаза расширились как у кошки. Сорокатых закричал так пронзительно, что вылый, словно амёба, дед резко подскочил на своей скрипучей шконке. Вбежала медсестра, а за нею седой врач с круглым брюшком. Сделали Сорокатых укол. Попросили всех удалиться.

За ужином мать рассказала, что хулиганы в городе совсем распоясались. Вчера ночью жестоко избили Кирилла, спокойного тихого соседского парня, который, как считает мать, числился в приятелях Саянова. Мать не знала, что Саянов всю жизнь презирал Кирилла. Была у них в школе Маша Нефёдова, красивая, с замечательными хвостиками вместо опостылевших косичек. Маша нравилась Саянову. Но она нравилась и Кириллу. И вот Кирилл написал ей от имени Саянова длинное письмо с признанием в любви. Было в письме и «пламенное, погубленное навсегда сердце», и «истерзанная горькими

бесплотными надеждами душа», были и «ланиты нетронутые, нецелованные», заканчивалось письмо угрозой – «не станешь со мной дружить, утоплюсь». Все быстро разобрались, кто истинный автор строк, и хотя Кирилл дружески и примирительно первым протянул Саянову руку, тот так и не смог забыть омерзительный гогот одноклассников. А вот теперь Кирилл избит. И это уже слишком. Саянов выскочил во двор. Пнул пустую скамейку. Громко рывкнул:

– Ты что себе позволяешь? Ты кем себя возомнила?

Но скамейка продолжала хранить молчание. Тогда Саянов спустился в подвал, достал ржавую толстую цепь, хранившийся в промасленной бумаге, но так и не отвезённый на дачу амбарный замок и, поднявшись, приковал скамейку к трубе поливного крана.

Через пару дней мать сообщила о ещё одном избитом школьном сотоварище, которого всё детство ставила Саянову в пример. Саянов, выскочив во двор, даже не удивился, что газон был всё ещё влажным от воды, а разорванная труба грубо заварена автогенном. Цепочки и замка нигде не было видно, скорее всего, потоп случился рано утром, течь давно уже была устранена. Несмотря на поздний час, Саянов завёл машину и рванул за город.

13.

Дача Саяновых находилась в десяти километрах от города. Недалеко. И это было единственным её преимуществом. Участки в этом сухом, маловодном, больше похожем на солончак дачном кооперативе брали лишь те, кому не светило получить их ни в каком другом месте. Малообеспеченные семьи в двенадцать ртов, алкоголики, которых родня выселила из законных метров, тёмные личности, варившие в подвалах невесть какие снадобья. На верхних дачах (подальше от трассы) обитали покрытые сизыми татуировками, неприветливые постояльцы. Эти настораживались словно охотничья собака, едва жёлтый милицейский уазик за каким-то чёртом заворачивал в эту треклятую пустыню.

Задницы. С детства Саянов помнил задницы – жирные, тощие, кривые, упругие, но неизменно натянутые в тёмно-синие трико, задницы, торчащие кверху на всех участках. Люди колупались на своих глиняных клочках с апреля по сентябрь в надежде вырастить хоть какой-то урожай. Скотины тут не держали. Питьевой воды едва хватало на людей. Технической можно было красить крыши. По пыльной дороге целыми днями тащились тачки с прилаженными к ним сорокалитровыми серебристыми флягами. Когда всё же давали воду, нередко случались драки, ругань стояла по всем участкам. Вместо полива соседи ходили смотреть, не убегает ли на сторону живительная влага. Если замечали, что кто-то заливает воду в контейнер «про запас» или бросает шланг на грядки, не контролируя полив, перекрывали трубу. В особых случаях сбивали вентиль. Стоило ли говорить, что дружбы особой соседи не водили, дача была каторгой, на которой следовало пахать круглые сутки, чтобы хоть немного прокормиться.

Саянов помнил (и был благодарен матери), что им удалось избежать всех этих кошмаров. Учительница-мать отродясь не умела возиться с землёй, у Саянова (это знали все) руки росли из... в общем не умел Саянов ничего делать руками. В школе не дотянул до золотой медали исключительно за «тройки» по трудам и физкультуре. Дачу держали с прицелом «продать на свадьбу». Но поскольку Саянов так никогда и не женился, дача, как тяжёлый, набитый камнями прицеп, громыхала за ними всю их пресную как промокашка жизнь, пить не просила, но и толку от неё никакого не было. Посещалась дача в середине лета, местным шабашникам ставился ящик водки да пара червонцев. За это шабашники кое-как приводили хлипкие постройки в порядок, правили забор, вы-

пальвали курай, которому было один чёрт где расти. А ещё дача служила хранилищем для всего, что не влезало на балкон или в кладовку. Мать и сын исправно отвозили туда весь хлам, чтобы к следующему приезду обнаружить сбитый с сарая замок и девственно-чистые полки.

Саянов летел по трассе в стремительно сгущавшихся сумерках. Он думал о том, что хорошо бы собрать бригаду, купить материалов, поправить старый покосившийся дом, а лучше всего поставить новый. Разбить огород или сад, пробурить артезианский колодец. Теперь и деньги позволяли. Но стоит ли возиться с этой рухлядью? Может, продать её с концами и купить дачу в нормальном месте? Но зачем? Чтобы снова видеть тёмно-синие трико? Размышляя, Саянов следил за трассой в зеркало заднего вида. Скамейки не было видно, но Саянов знал – она где-то рядом, мчитсь за ним, прискачет на самую дачу. Саянову только этого и было надо. Приехав, Саянов проверил дом, постучал молотком по крепким оконным запорам, ужаснулся обглоданным крысиным трупам, застрявшим в мышеловках, решив оставить их до приезда матери. Он вышел во двор. Скамейка как ни в чём не бывало примостилась неподалёку от сарая. Саянов не удивился. Он вытащил огромный колун и со всего маху рубанул по спинке. Верхняя доска, треснув, обнажила потемневшую древесину. Саянов взял лом, но сил взломать упругие, ставшие невероятно гибкими доски не хватило. Нашлась и ржавая пила. Саянов пилил сиденье, дело, казалось, шло на лад. Да только незаметно для Саянова скамейка, изогнувшись, завалилась вперёд, больно ударив его по ногам. Он снова схватил колун, подошёл сзади. Ударил. Шатнувшись, скамейка боднула его так, что Саянов отлетел к самому забору. Когда он поднялся, держась за ушибленный бок, скамейка стояла как ни в чём не бывало.

– Ах ты, стервь, – выматерился как умел Саянов, – ну хорошо!

Он раскрутил бензобак, схватив шланг, сунул его внутрь и присосался. Саянов много раз видел, как это делают другие, особенно лихо это выходило в кино. Бензин хлынул из шланга быстрее, чем ожидал Саянов. Пришлось отплевываться. Схватив ведро, Саянов наполнил примерно четверть и резко вытащил шланг. Сокрушённо покачал головой, понимая, что в бензобаке осталось совсем немного бензина. Ну, ничего, заправка недалеко. Как-нибудь доберётся. Он осторожно облил бензином скамейку, стараясь лить тонкой струёй, чтобы хватило на каждую доску. В свете мутного от пыли и дождей фонаря бензин, капавший с досок, казался красноватым. Саянов бросил мятую газету поверх скамейки, чиркнул спичкой. Газета занялась, а когда пламя достигло бензина, ухнуло так, что газета слетела на пол, а Саянов отпрянул, потирая подпаленные брови. Скамейка горела густым тягучим пламенем, словно была из резины. Костёр осветил дачный участок, Саянов заволновался за автомобиль. От греха подальше отогнал его на дорогу. Залаяли собаки, скамейка всё горела, Саянов смотрел и щурил глаза. От запахов бензина и гари болела голова. Саянов и представить себе не мог, что скамейка будет гореть так долго. По всем расчётам дерево должно было уже давно развалиться, оставив вокруг красные угли. Но прошёл час, затем другой, а скамейка всё полыхала. Это было странным. Хотя чему удивляться? Скамейка притащилась за ним с кладбища, бодает и крушит его неприятелей. Саянов, даром что учёный, не мог найти никакого объяснения. Наконец, ближе к часу ночи, пламя начало утихать, а к половине второго остался лишь обгоревший, словно скелет диковинного животного, остов. Саянов схватил колун и со всей силы рубанул скамейку. Колун вылетел из рук, Саянов, рассчитывающий с лёгкостью сокрушить обугленные доски, наткнулся на твёрдое дерево. Казалось, скамейка стала только крепче. Но теперь она была мёртвой. Саянов не знал, как это объяснить. Он только чувствовал. Не было в ней той жуткой живой силы, которая заставляла её бегать за Саяновым, крушить врагов и с лёгкостью рвать толстые ржавые цепи. Удостоверившись, что тлеющая скамейка не подпалит по-

стройки на даче, он прыгнул в машину. Вернувшись домой, нарочно потащил мусор, несмотря на поздний час. Скамейки не было.

14.

Несмотря на бессонную ночь, чувствовал себя Саянов вполне сносно. Выпил кофе, умыл лицо прохладной водой. Плохо, что утром не помылся в душе. Руки воняли бензином, а от волос до сих пор тянулся шлейф гари. На обеде к нему подсел Леквоев. Это само по себе было удивительным. После кандидатской Леквоев ни разу не обмолвился с Саяновым и словом, хотя жал руку при каждой встрече.

Леквоев поставил стакан с кефиром и спросил:

– Старик, не против?

Саянов утвердительно кивнул.

– Отец достал потрясную книгу, – Леквоев придвинул к Саянову светло-зелёный томик, больше похожий на брошюру самиздата. Саянов залюбовался книгой, Леквоев отпил кефир. А потом совсем по-приятельски потрепал Саянова за рукав.

– Дружище. Знаю, что ты дико занят, но умоляю – прочитай. Хочу подебатировать, а не с кем.

Саянов удивился. Он любил читать, но в книгоманах никогда не числился и редко следил за новинками. Впрочем, Леквоев ему не выпить предлагал, потому Саянов спрятал светло-зелёную книжицу. Прочитает и даже позвонит знакомому букинисту, чтобы не ударить лицом в грязь. Леквоев оказался великолепным собеседником, от литературы они перешли к космонавтике, оттуда плавно прыгнули к модной кибернетике, ну а кибернетику сменили на острополемичного Фрейда. Обед пролетел незаметно. Зашли участники пляды, заметили своего предводителя. Нет, Леквоев не покинул Саянова. Помахав рукой, он разместил их за крохотным столиком Саянова, всё уточняя, не беспокоила ли его шумная ватага. Такое могло и не повториться. Саянов, махнув рукой, спросил себе чаю и потерял ещё полчаса рабочего времени. Обсуждали кинофильмы, Рейгана, пикантные случаи в институте. Когда Саянова вызвали через секретаря, он с теплом смотрел на своих новых приятелей. Леквоев степенно поднялся, протянул свою загорелую руку, а когда Саянов ответил, Леквоев положил левую ладонь поверх рукопожатия.

– И почему мы раньше не общались? Послушай, Николая... старик, ты, когда обедать идёшь, обязательно звони, буду рад.

Они раскланялись. Распошавшись с плядой, Саянов направился в кабинет.

В кабинете его ждала Алла Викторовна.

– Где ты ходишь, Саянов?

Саянов пожал плечами.

– Обедал. А что случилось?

Алла Викторовна горько усмехнулась, подошла к окну, обняла себя руками.

– Что-то ты совсем меня стал избегать. Между нами – конец?

Саянов опешил. Он и не знал, что у них было начало. Была ночь, были совместные обеды, причём однажды Саянов весьма бесцеремонно перебрался к Алле Викторовне за столик, едва Мирошниченко отошла за ватрушкой. Но они не встречались и лишь иногда болтали в курилке, хотя оба и не курили. Саянов не знал, что отвечать.

– Алла Викторовна, Алла... ты... мы...

Алла Викторовна почему-то вспыхнула как факел. Блеющим, как у овцы, голосом она начала передразнивать Саянова:

– Ты-ы-ы... мы-ы-ы-ы! Мужик ты, в конце концов, или нет?

– Да что случилось-то?

Алла Викторовна ещё раз горько усмехнулась и злобно уставилась на Саянова.

– Незапланированная случилась. Вот что.

Саянов опешил. От растерянности спросил глупо:

– От меня?

Алла Викторовна, не сказав ни слова, хлопнула его по щеке. А потом разревелась. Саянов, открыв «Боржоми», заставил её выпить полстакана. От слёз лицо Аллы Викторовны стало сморщенным, некрасивым. Словно слёзы стёрли всю маскировку, обнажив истинный её возраст. Саянов задумался. Алла Викторовна и не была красивой. Никогда. Рослая, стройная, но после близости, когда она лежала без одежды, её изъяны так и бросались в глаза. Алла Викторовна казалась притягательной, пока была недоступной. А теперь Саянов смотрел на неё по-другому – излишне красная, морщинистая шея, второй подбородок, целлюлит, кривоватые зубы. И эти очки, разве они могут украсить женщину? Б-р-р-р! Саянову стало стыдно. Он понял, что размышляет как подлец. Что сделал бы нормальный мужчина? Женится! На Алле Викторовне? У которой был Сорокатых, и Архипов, и Эдишерашвили из конструкторского? И кого только не было. Алла Викторовна была желанна, но жениться никто и не хотел. Были какие-то бесконечные ухажёры, а вот до свадьбы так и не доходило. Алла Викторовна сама часто убеждала Мариночку, что брак – это самый отвратительный из институтов добровольного рабства, а она не способна подчиняться чьей-то воле. Не зря же у Аллы Викторовны над столом висел рисунок очаровательной киплинговской кошки, что гуляла сама по себе. Саянов точно прижал большие пальцы к вискам. Ну почему это случилось теперь, когда жизнь только стала налаживаться. Он знал – проблема не решится сама. Выпив «Боржоми» прямо из бутылки, он сел напротив Аллы Викторовны. Молчал. Она заговорила первой и, кажется, успокоилась. Не плакала, лишь шмыгала носом, когда говорила.

– Мне не шестнадцать, Коля. Были и аборт. Много. И этот, скорее всего, станет последним.

Саянов отвёл глаза к окну. Он понимал, что выглядит пакостливым школяром, мечтающим, чтобы училка, пожуриив немного, отпустила восвояси. Но как Саянов ни старался, ничего умного в голову не лезло. В конце концов он посмотрел на Аллу Викторовну, промолвив:

– Но ты же всегда говорила, что не хочешь детей.

Зажав рот крохотным платочком, Алла Викторовна глубоко вздохнула.

– Саянов, ты вроде не тупой человек. Давай начистоту. Ты хотя бы раз задумывался о таких, как я? Ни ребёнка, ни котёнка. Ни мужа, ни детей. Все эти идиотские новомодные термины: независимость, самостоятельность, свобода – ерунда на постном масле. Общество не меняется. Таких презирают. Никакого продвижения по службе, никакого доверия.

Саянов пожал плечами.

– Стало быть, будешь рожать?

Он нарочно спросил это как можно небрежнее, но в душе больше всего боялся ответа на свой вопрос. Ожидание, словно сверло стоматолога, жгло его изнутри. Терпеть не было никаких сил. Алла Викторовна ждала чего-то, но чего, Саянов и сам не знал. Поняв, что из Саянова не вытянуть ни слова, Алла Викторовна перешла к главному.

– Рожать? А кто его кормить будет? Ты? Ну, подам я на алименты, ну заберут у тебя четверть зарплаты. Так за эти крохи всю жизнь меня будут понукать развоухой, одиночкой... знаешь, небось, как у нас к таким относятся.

– Значит аборт?

Алла Викторовна горько усмехнулась, а Саянов поймал себя на мысли, что хочет ударить её по лицу. Ударить за то, что создала проблему и заставляет его, Саянова, ре-

шать, да ещё и лыбится. Саянов уже прожил в своих мыслях позорное объяснение с матерью, порицание коллектива, товарищеский, а потом и народный суд, алименты и вечное «сын без тебя растёт». Он был готов к любому исходу, но жизнь с Аллой Викторовной казалась самым отвратительным из кошмаров. Её «богатое» прошлое всегда будет точить Саянова ржавым напильником. Алла Викторовна так и будет гулять по выходным, а Саянов – стирать пелёнки и возиться с ребёнком, который может быть и не от него. А ещё неизвестно, какой у Аллы Викторовны характер. Жить с ней на одной территории, где платья и трусы развешаны на гвоздях, а холодильник забит вином, было выше Саяновских сил. От этих мыслей хотелось выть. Ему стало жаль себя. Как прекрасно начался день, как хорошо было болтать с Леквиевым. Но выскочила словно из-за угла проблема, решать которую Саянову ещё не доводилось. Что же это за проклятие такое? Чего хочет эта хищная женщина?

Женщина, судя по всему, осознав, что от Саянова никакой инициативы не дождётся, ответила:

– Не бойся, Коля. Ребёнка я оставлять не собираюсь. И тебя мучать алиментами тоже. Но ты и меня пойми. Какому мужику я бездетная нужна буду?

Саянов отдал бы полжизни, чтобы на этом разговор и окончился. Хорошо бы Алла Викторовна встала сейчас, сказав: «Дай сотню на аборт», он бы без разговоров выложил три. Саянов, которого словно ледяным душем окатила пошлая догадка, повернувшись к Алле Викторовне, спросил:

– Сколько?

Алла Викторовна закивала головой, уставившись на портрет Брежнева в кителе, увешанном орденами. Саянову казалось, что Алла Викторовна сейчас скажет: «Посмотри-те, Леонид Ильич, этот подлец даже вас не стесняется, э-э-эх...» Но ничего такого Алла Викторовна не сказала. Вдруг в голосе её зазвучали стальные требовательные нотки.

– Тебе дают отличную квартиру. Молчи. Дают. У меня свои информаторы. На квартиру я не покушаюсь, живи спокойно. Заберёшь к себе мать, а её квартиру – оформишь на меня. Я скажу как. Получится, как бы мы обменялись на мою дачу. Дача у меня – одно название. Накинешь тысячу – забирай насовсем. И машина. Теперь у тебя хорошая зарплата, можешь отдать «Москвич», не обижусь.

Как не пытался сдержаться Саянов, как не крепился, понимая, что нужно всё обдумать, взвесить и не рубить сплеча, да только и у робкого человека есть свой предел. Он закричал так грозно и громко, как не кричал ни на кого на свете:

– Ты совсем сдурела?! Пошла нахрен из моего кабинета!

Алла Викторовна вскочила как ошпаренная.

– Что? Ты, козёл вонючий, ничтожество, невесть как забравшееся в кресло завлаба... – от ярости у неё перехватило дыхание. Сглотнув, она задыхаясь, продолжила: – Нет, милый, ответишь по полной. Я тебя не то что на алименты, я тебя... у меня прокурор знакомый – заявлю, что изнасиловал, – она отвратительно расхохоталась, – проблем будет – не вывезешь. Ну и карьере твоей, разумеется, каюк. Да и правильно. Справедливо. Не по Сеньке шапка. Готовься, Саянов. Всегда знала, что ты – дерьмо!

Алла Викторовна ушла. Ушла, хлопнув дверь. Саянов понимал – конец. Эта стерва может всё на свете. Непременно выполнит всё обещанное, чего бы ей ни стоило. Саянов давно догадывался – случившееся в квартире Аллы Викторовны не его персональная заслуга. Эта охотница окучивала только успешных. И Маринку приучала. Саянову не хотелось унижать себя отвратительной догадкой. Но другого объяснения не было. За всё надо платить. И он, Саянов, вряд ли первая жертва этих закулисных интриг. Чертыхнувшись, Саянов несколько раз ударил по столу, секретарша, вбежав в кабинет, испуганно предложила чаю.



15.

Прошло три дня. Алла Викторовна не здоровалась с Саяновым, а он делал вид, что ничего не случилось. Проблема жирала его изнутри, а посоветоваться с кем-то было совестно.

Выходные он просидел дома, читая книгу. Точнее, по сто раз пробежал глазами одну и ту же страницу, в голову не ложилось ни строчки. В ночь на понедельник Саянова разбудил звонок. Звонили из милиции. Пригласили на допрос в семь утра. Пока только в качестве свидетеля. И вот это пресловутое «пока» бесило больше всего. Началось. Чёртова дрянь нажаловалась, но Саянов им ещё покажет. Он понимал, что никогда и ничего не сделает, тем более милиции, но злость на Аллу Викторовну не проходила. Он лежал в постели и от бессилия грыз подушку. Спустя семь минут вновь зазвонил телефон. Саянов, схватив трубку, грозно прорычал:

– Знаю, знаю, завтра в семь.

На том конце растерянным голосом Щукина ответили:

– Как в семь? В девять у меня в кабинете. Экстренное совещание.

– В каком ещё кабинете? Что за совещание? По какому поводу?

Щукин строгим, но каким-то уставшим голосом промолвил:

– Несколько часов назад убили Аллу Викторовну... Мне только что позвонили из милиции. Сейчас поеду в морг, завтра...

Саянов бросил трубку. Он схватился за голову. Конец. Это был конец. Он знал, что произошло, схватив куртку и фонарь, сбежал во двор. Во дворе стояла обугленная, покосившаяся, но несомненно крепкая и живая скамейка. Она пришла. Она опять вернулась. Тусклый свет из подъезда освещал искорёженные чёрные доски. Саянову на секунду показалось, что правый угол скамейки заляпан тягучей маслянистой жижей. Он присмотрелся – вроде показалось. Фонарём подсветил обгоревшие доски. Вроде бы кровь, а может и нет. Он повозил ладонью по холодной поверхности. Посмотрел на ладонь. Красноватые капли. Странно, и бензин был красноватым. Саянов со всей силы швырнул фонарь в скамейку. Фонарь разбился, один осколок больно порезал руку. Саянов стоял и смотрел на порез и всё не мог понять, бензин ли это или кровь. Саянов не стал возвращаться домой. Едва он переступит кабинет следователя, как придётся сознаться во всём. Саянов по-другому не мог. А потом следствие, суд, несмыаемый позор. Кто же поверит в дурацкую историю про скамейку. А ведь другой правды у Саянова всё равно не было. Почему-то вспомнились самиздатовские книжки про НКВД. Саянов по многу раз перечитывал момент, как подследственному дробили молотком руку. От этой до мерзости натуралистической сцены тошнило невообразимо. Какая-то дьявольская сила заставляла Саянова перечитывать снова и снова. Саянов знал – его не нужно бить. Положи молоток – и он подпишет что угодно. Сейчас милиция уже не та, но кто знает. Вдруг у Аллы Викторовны есть надёжные покровители в прокуратуре. Да и как им не быть. Она ведь грозилась пожаловаться. Что же делать. Ведь в целом свете никто, даже мать не поверит в историю со скамейкой. Или поверят? Как был, в куртке, майке-алкоголичке, синих сатиновых трусах и тапочках он пошёл напрямик через город.

\*\*\*

Диспансер работал с восьми тридцати. Но для Саянова сделали исключение. Приехал доктор. И не просто приехал, а долго говорил с Саяновым, беседовал пристально и внимательно. Когда Саянов закончил свой рассказ, доктор сказал:

– Не скажу, чтобы на моей памяти было много таких случаев, но бывало.

Саянов, отогревшийся горячим чаем, вскочил со стула:

– Что? У вас были случаи?

Добрая, искренняя улыбка раздвинула щёточку усов.

– И не просто случаи. Личный пример.

У Саянова подкосились ноги. Он сел на стул и недоверчиво посмотрел на доктора.

– Да-да. Молодой человек. Во время институтских экзаменов, когда мозг отказывался воспринимать хотя бы толику информации и неудержимо тянуло спать, стул приходил за мной и, усадив, тащил обратно к столу. Не вы один, Николай Ефимович, не вы один.

– Вы... вы это серьёзно?

Доктор поправил очки.

– А зачем бы я сменил хирургию на психиатрию. Там, – доктор показал в окно, – обожают навешивать ярлыки: псих, кретин, идиот. У этого – задержка психического развития, у того – алкогольный делирий. Малахольные, ненормальные. А ведь знают, что у каждого есть своя скамейка, свой стул и своя история. Вот вы как раз таки нормальнее других. Нашли в себе силы прийти, рассказать, поделиться. Адекватная реакция вполне здорового человека, налицо логическое мышление и попытка исправить ситуацию. Ну и, разумеется, самокритика. Где вы видели психа с самокритикой? – доктор улыбнулся, Саянов тоже улыбнулся.

– Значит у меня всё нормально? Могу идти?

Доктор начал записывать что-то в тетрадь.

– Идите, конечно, я вас не держу. Но как вы и сказали – на воле вас ждёт допрос, к тому же вы его, – он посмотрел на часы, – уже прогуляли. Там, среди этих кажущихся нормальными людей, я не смогу вам помочь, не смогу защитить. И ваша скамейка, а вы с ней никогда и ничего не сможете поделаться, будет везде бродить за вами.

– Но... но ведь она и сюда придёт.

– Ну, придёт. И что? – доктор выпрямился и, упёршись в стол, наклонился к Саянову. – И мой стул ходит за мной по пятам. Да только не таскает больше за стол, экзамены-то кончились, – доктор задорно расхохотался.

– Вы хотите сказать, что когда она перебьёт всех моих врагов...

– Враги, Саянов, они будут появляться бесконечно. Во всяком случае, пока вы контактируете с внешним миром. Ну а тут... кого вам ненавидеть? Меня? Медсестёр? Одноногого сторожа? – Доктор снова улыбнулся, и от этой улыбки Саянову стало тепло и уютно. Постучав пальцами по столу, доктор продолжил:

– Как бы там ни было, а вся эта ситуация нервишки вам подрасшатала. Мы их поправим, поможем. Попьём седативного, может, чего прокапаем. Питание, уход, беседы. Шахматы. Играете в шахматы? Ну вот и отличненько. А как всё уgomонится, смело убе-рётесь домой. Отдохните, Саянов. Вы просто очень устали.

## Эпилог

Саянов уже второй год обитает в диспансере. Ни о чём не жалеет и вполне счастлив. Он всю жизнь искал спокойствия и тишины. Он получил её тут в полной мере. Ненавязчивые процедуры, седативные препараты, не туманящие мозг лекарства. Он много читает, беседует с доктором, каждый день играет в шахматы. К Саянову никого, кроме матери, не пускают. Это хорошо, ему никто и не нужен. Там, за белым бетонным забором, всё как-то утряслось, причём без привлечения Саянова. Он смотрит телевизор, слушает новости. Скамейка больше не шалит. Так и стоит, обгорелая, в больничном сквере.



## Данила ДАВИДОВ

\*\*\*

изрядно удивительного вдруг:  
мы едем в котлас, сообщает атлас.  
там делать нечего, там непонятна польза,  
тем более – угомонился враг.

смотри-ка, двигаюсь с изяществом совы,  
пикирующей на невидимую мышку.  
но это только сон и понарошку,  
лежу, не поднимая головы.

о чем же, собственно. возможно, что и ни  
о чем, а может, и о многом.  
пока искомый смысл привязан так к дорогам –  
тепло и смирно в милой стороне

### **Типа песенка**

в метафизике власти я не силен,  
просто парень я хоть куда,  
иглокожий как еж, ну так это что ж,  
что ж что в водорослях борода.

на коньках проплывали мы, не спеша,  
на трибунах сам Царь Морской...  
у меня пять двадцать ран в боевой чешуе,  
а теперь – не плыви по Тверской?

развелись прилипалы, рыбе говно,  
как поймают кого – берегись!  
каракатица им повелела хватать,  
хоть акула ты, хоть карась.

---

*Данила Давыдов родился в 1977 году в Москве. Кандидат филологических наук. Автор десяти книг стихов, книги прозы, книги статей и рецензий. Переведен на основные европейские языки. Многочисленные публикации в толстых и тонких журналах, альманахах и сборниках. Постоянный автор «Волги» с 2012 года.*

ну, закопьте меня, ветерана воды,  
кавалера морской звезды.  
каракатица – просто мешок чернил,  
у меня же есть внешний скелет!

это пусть у планктона страх,  
у меня же лишь свет в глазах,  
мне любую служебную рыбу взять  
и на пару кусков – пустяк

парень я не того, не большого ума,  
да какой ты парень, ты дед,  
мне моллюски прям в глаза говорят –  
ну а мне-то и дела нет

я под камнем сижу, потому что жить  
все ж охота – а там в воде  
каракатиц навывускал чернил,  
отравил обстановку везде

но дождетесь – я выползу и поплыву  
гордо выпятив ордена.  
на бульваре выпью за *не боюсь*,  
за *свободна моя страна*

\*\*\*

нет, он хорош, нет, плох он,  
не плох и не хорош, но в сущности хитер,  
он просто не знает собственного места,  
как потерялся когда-то, так ищет до сих пор

и далее, следует из текста,  
он вылеплен из особого такого теста,  
совершенно отдельный он

не поставишь его в рядок,  
не выведешь на бугорок,  
не опустишь куда-нибудь в глубину,  
не заставишь выть на луну

жгутиковым не собрат он, не  
и не смей с ним такое какое творить,  
чтобы он как вот нечто такое перестал бы быть,  
чтоб всё так же носил сюртук и пенсне

да, чтоб он не поплыл в одиноком раю  
среди одухотворенных сетей,  
позабыв природу свою,  
ты не смей его, слышишь, не смей, –

говорит, да что говорит, кричит, разбрызгивая слюну,  
в пустоту, в тишину, в замурованную весну

\*\*\*

мы говорим: головы крепки, головы крепки  
мы говорим: шеи свернуты, шеи свернуты  
нам отвечают: окна откройте, окна откройте  
лучше закройте, нам отвечают, лучше закройте

мы говорим: ноги в тепле, ноги в тепле  
мы говорим: босиком по снегу, босиком по снегу  
нам отвечают: не будет дождя, не будет дождя  
льет всюду, нам отвечают, льет всюду

мы говорим: скорее рубите, скорее рубите  
мы говорим: пускай подрастут, пускай подрастут  
нам отвечают: сколько хотите, сколько хотите  
время вышло, нам отвечают, время вышло

\*\*\*

ванечка, ванечка, папа твой убивает людей  
это не страшно, так надо, так что ты не грусти  
если решат, что ты годен для этого, когда вырастешь  
значит и ты будешь так же себя вести

машенька, машенька, папа твой на работе  
бьет дубинкой по почкам и вырывает ногти  
но ты не плачь, когда он поздно приходит ночью  
мало ли что бывает с людьми на работе

вера петровна, сына ваш вчера был казнен  
по приговору международного трибунала  
вы не расстраивайтесь, знайте, что он  
помнил, как вам идет синее платье

\*\*\*

как будланула ты бокра –  
нехило, и с придумкою  
зачем такого мне добра  
никак я не дотумкаю

как много лет любил таких  
и прочих ебанатов  
теперь, когда б умерить стих,  
я сам из тех солдатов

не за эфирным крембрюлле  
не за горой кудыкиной  
а прямо в тутошнем гугле  
я оказался выкинут

а может, нет? возможно, что  
я оказался вытянут  
через угольное ушко  
поэтому и выть дают

изготовление себя  
не терпит укоризны  
ломай скелет, творя, лепя,  
не дожидаясь тризны

\*\*\*

между обезьяной и роботом  
словно по пути в дамаск  
как не поделишься ты опытом  
какой не выдумаешь рассказ

посерединке прочерк  
не заполнена графа  
скажи, куда ж ты хочешь  
а то кончается строфа

Вера СОРОКИНА

ПИТЕРСКАЯ ОДИССЕЯ

*Рассказ*

Пирушка у Павлика достигла того момента, когда все замедлилось или прекратило происходить вовсе. Самой активной стала легкая штора, дышащая ночным ветром. Она то опадала, то надувалась, будто бок огромного спящего существа. Где-то побулькивал задыхающийся кальян, на диване целовались.

Максу надоело наблюдать за шторой, и он отправился на кухню. Там, как водится, осталось два философа, которые были призваны силой мысли решить все загадки бытия. Максим немного посидел с ними, но так и не вошел в резонанс. Как только он ловил ускользящую мысль, она убегала и отращивала хвост заново.

Павлик сидел на подоконнике и ел некрасивые соленые огурцы из банки.

- Я начинаю забывать, как нужно правильно веселиться, – пожаловался он. – Думаю, еще несколько лет, и я стану на что-нибудь копить или того хуже – строить планы на будущее.
- Фигня, это как кататься на велосипеде, ты никогда не разучишься, – Макс уселся рядом.
- Бросай огурцы и поехали к нам. Алиска обрадуется. Будем слушать пластинки и дыхание чая.
- Пластинки и чай? – Павлик запустил руку в банку. – Неужели я все еще ведушь на такое?
- Еще как. Не бойся, коньяк поедет с нами.
- А огурцы?
- И огурцы, – великодушно согласился Макс.

Они взяли початую бутылку коньяка, банку некрасивых огурцов и вышли в выцветшую ночь. Их путь лежал вдоль дороги. Макс изредка оборачивался на шум двигателя и голосовал. Мимо проехал троллейбус с разбитой фарой и остановился. За рулем никого не было. Двери открылись, и Макс с Павликом зашли.

Салон был нарядно украшен бумажными снежинками, плешивым разноцветным дождиком и плакатами со щенками и котятами.

- Куда вам? – спросило существо, угнездившееся на отделанном мягкими игрушками кондукторском троне.
- Нам бы домой, – ответил Максим.
- Дом – понятие метафизическое, – ответило существо и выпустило из себя несколько рук для перемещения.
- Кто вы, уважаемый? – поинтересовался Павлик.

---

*Вера Сорокина родилась в 1989 году в Омске. Окончила ОмГТУ. С 2012 года живет в Израиле. Работает инженером-аналитиком, занимается копирайтингом.*

- Я троллейбусный пастух и вывожу троллейбус на кормление каждую пятую ночь месяца.
- Наверное, ваш троллейбус не любит февраль, – заметил Макс.
- Совершенно верно, – откликнулось существо, – но ему понравится вы.
- Съесть нас вздумали? – забеспокоился Павлик.
- Разумеется, – откликнулось существо, – мне нужно кормить троллейбус, за этим я и живу.

Да и вас не жалко, – заурчало существо.

- Это еще почему? – возмутился Макс.
- Раз вы ходите в ночи, значит никому не нужны.
- Послушайте, нас ждут, нам заваривают чай, – запротестовал Максим.

Существо потрогало воздух своими руками-лапками.

- Тебя только ждут. Ты можешь идти, а его, – существо указало на Павлика, – съедят.
- Знаешь, а оно в чем-то право. Меня и действительно никто и нигде не ждет, – печально заключил Павлик.

– Не раскисай. У меня есть план, – прошептал Макс. – Мы раскатаем троллейбус, и у него оторвется рог. Тогда существо выйдет, и мы успеем сбежать.

Павлик кивнул в ответ. Даже если тебя никто не ждет, это не повод, чтобы кормить собой муниципальный транспорт.

Они стали бегать из стороны в сторону, раскачивая троллейбус. В конце концов рог отвалился, и все замерло. Существо приоткрыло глаз и недобро посмотрело на Павлика с насеста. Оно вышло и плотно закрыло за собой двери.

- Скорее открывай люк, – быстро сообразил Макс, – вылезем через верх.

Они выбрались через открытый люк на крышу, и когда существо вернулось, то не обнаружило ничего, кроме банки огурцов.

- Черт! – Павлик вскрикнул и прикрыл ладонью рот. – Я забыл огурцы.
- Оставь, их уже не спасти, – вздохнул Макс.

Существо обошло троллейбус, но так никого и не обнаружило. Оно ласково погладило теплый металлический бок всеми руками и ушло внутрь.

Макс и Павлик проехали на крыше несколько кварталов и аккуратно спустились, когда троллейбус остановился на светофоре.

- Наверное, нужно было проехать еще? Нам ведь по пути, – засомневался Макс.
- В самый раз. Иначе непонятно куда бы он нас увез.
- Может, хватит приключений на сегодня? – Максим смотрел вслед троллейбусу, прыгнувшему в реку.

- Смотря откуда смотреть, – Павлик закурил. – Сейчас вот конец дня или самое его начало?

По дороге они зашли в небольшой парк, где доживала ярмарка. Кто-то медленно танцевал, кто-то торговал листьями, кто-то давал уроки перевоплощения в горгулий.

- У меня есть немного денег. Может, поймем такси?
- Можно, – Павлику тоже захотелось научиться быть горгулей.

Макс достал из пальто серый кошелек и вдруг увидел старого знакомого.

- Подержи, я только поздороваюсь и сразу вернусь.

Сразу не получилось, и Павлик стал ходить между деревьями, изучая маленькие прилавки.

Вернувшись, Макс застал Павлика на скамейке в обнимку с самоваром. Максим сел рядом, и самовар оказался между ними.

- Какие новости? – поинтересовался Павлик.
- Готовят, скоро будет потоп. Надо у Невки спросить.

– Полезно водить дружбу с русалками.  
– Иногда с ними даже проще, чем с людьми, – задумчиво ответил Макс. – Ну что, поехали?  
– Не получится, – сказал Павлик, – я самовар купил. Денег больше нет.  
– А зачем нам самовар? – Максим заглянул внутрь. Там было гулко и липко. – Коньяк пить?  
– Алиске понравится. Вот увидишь. Это хороший самовар, я его у домового купил.  
– С чего бы домовому продавать свое добро? Подозрительно как-то.  
– Не, он просто книжек начитался про очищение и гармонизацию пространства, проникся очень.

Ярмарка умерла, и они отправились дальше.

Максим, Павлик и самовар вышли из парка и решили срезать путь через двор с аркой. Зайдя внутрь каучуковой темноты, они поняли, что там есть кто-то еще.

– Кто тут? – спросил Макс.

Павлик погладил самовар, чтобы тот не испугался.

– Кто тут тут ту ту т, – повторило эхо.

– Это мы. Ха-ха.

– Кто мы? – спросил Павлик

– Павлик, ты разве не знаешь, кто мы? Лучше спроси, кто они.

– Кто они? – спросил Павлик, – то есть кто вы?

– Слыыыш, мы гопники, – ответили огромные гопники.

Огромные гопники стали кружить вокруг Макса, Павлика и самовара. Они добро-зло скалились, приседали на корточки и крутили цепочки между пальчиков.

– Есть чо? – спросили гопники.

– Что вам нужно, уважаемые гопники?

– Мы хотим, чтоб вы боялись. Ха-ха. Вы будете бояться, а мы будем есть ваш страх и расти.

– Самовар, а ты чо такой носатый? – огромный гопник прикоснулся к самовару, и Павлик понял, что нужно спастись.

– Вы же и так громадные, – заметил Павлик.

– Чоооо, – отозвались гопники, – мы в натуре громадные и хотим быть еще больше. Понял, да?

– Но если вы станете еще больше, вы заполните собой всю арку, и никто больше сюда не войдет. Как же вы тогда будете кого-то пугать, есть никто больше сюда не поместится?

– Ха-ха, – ответили гопники и задумались. Они перестали кружиться и замерли в экзистенциальной тоске.

– Бежим! – крикнул Макс, и они вырвались из арки во двор.

Во дворе спрятался паб с высокими табуретами и уютными огнями. В дверях стояла красивая девушка.

– Заходите поночевничать, – пригласила она.

– Что, простите?

– Ну, поесть, ночью. Что может быть лучше?

В пабе было пусто, только несколько посетителей спало за угловыми столиками, довольно похрюкивая во сне.

– Спасибо, мы не голодны, – сказал Макс.

– Может, по пиву? – предложил Павлик. – А то мы с самоваром немного устали.

– А деньги?

Павлик поник.

– Садитесь, я вас угощу, – улыбнулась красивая девушка.

Макс, Павлик и самовар сели за столик. Девушка принесла два рома и потрепала Максима по голове.

– Хороший мальчик.

И тут Самовар вдруг прошептал на ухо Павлику:

– Не пей, отрава.

– Отрава?

– Ну ты поверь, я в напитках разбираюсь, – тихо сказал Самовар.

Павлик был покладистым, добрым и терпеливым, но очень злился, когда его пытались травить плохим алкоголем. Он встал из-за стола и пошел к стойке.

– Отчего вы, неуважаемая, вздумали нас травить?

Девушка растерялась и на секунду превратилась в двухголовую львицу.

– Как вам не стыдно? Может, вы еще и пиво разбавляете? – негодовал Павлик.

Щеки девушки стали фиолетовыми от смущения. Но она быстро справилась с волнением.

– Если бы не я, не было бы в городе столько красивых львов, – заявила она. – И вы стали бы львами, зубастыми и гривастыми, если бы не упрямились.

– Но мы не хотим львами, мы хотим домой, – вмешался Макс.

– Думаете только о себе, – фыркнула девушка и почесала ногой за ухом. Идите, кто ж вас держит, – обиженно произнесла она.

– И этих расколдуй, – Макс указал на спящих полулюдей.

– Из этих львы все равно не получатся, – девушка налила им волшебной воды. – Пусть проваливаются, не жалко.

– Скажи, а батон у тебя есть? – спросил Макс.

– Есть. У меня все есть.

– Дай нам его пожалуйста.

– С чего это? – фыркнула красивая девушка.

– За моральный ущерб, – ответил негодующий Павлик и погладил нежный Самоваров бок.

Девушка зарычала на них, но батон все-таки дала.

Максим, Павлик и Самовар вышли на набережную и сели у самого края. Макс стал крошить батон в воду, чтобы позвать свою подругу Невку. Довольно быстро показалась русалка, но это была не Невка. Она попыталась схватить кусочек батона ртом, смутилась и уплыла. Приплывали и другие – молчаливые, прозрачные и безымянные. Макс не отгонял их, но и сухого батона не давал. Павлик заскучал и достал коньяк.

Они пили коньяк, крошили батон и ждали Невку.

Через некоторое время приплыла русалка с волосами, похожими на линялую мишуру.

– Мы батон тебе принесли, – сказал Макс. – Смотри, какой сухой.

Невка обрадовалась сухому батону. Она любила сухое.

– Этот похож на крокодила, – удовлетворенно сказала она и резко куснула.

– С тобой все в порядке?

– Да, только другие завидуют мне. У меня есть имя, а у них только хвосты и песни.

– Если хочешь, я дам имена всем остальным, – великодушно предложил Макс. Коньяк сделал его щедрым.

– Всем-всем? – Невка развеселилась и даже вылезла на берег, чтобы посидеть на твердом камне.

– Мы спросить тебя хотели, – сказал Макс.

– О чем?



– На ярмарке сказали, что скоро будет потоп. Я подумал, если правда, то ты должна что-то слышать об этом.

– Потоп?

– Ну это когда вода облизывает дома и заходит в гости, – пояснил Павлик.

Невка задумалась.

– Не переживай, тот, кто это сказал, все напугал. Потоп не будет, а уже был. Давно. Лет двести назад, – наконец ответила она.

– Ты это помнишь? – заинтересовался Макс.

– Не я, синий кит все помнит.

Невка доела батон и попрощалась.

– Приходи называть русалок. Они будут рады, – сказала она.

Невка уплыла, а Макс, Павлик и Самовар остались пить коньяк и ждать рассвет.

Внезапно их кто-то позвал.

– Эй, псс.

Поблизости никого не было.

– Вы уда иете?

Макс обернулся и увидел льва, держащего во рту цепь.

– Простите?

Лев выплюнул цепь.

– Идете, говорю, куда?

– Лев Иванович, – смущенно улыбнулся Макс, – извините, не признал вас в этой странной ночи.

– Бывает, Максим. Я знаю, ты вежливый молодой человек и всегда здороваешься.

Лев встряхнулся, и в Максима полетели мелкие каменные крошки.

– Фууф, затек весь. – Лев Иванович по-кошачьи потянулся. – Мне бы повидать одного знакомца на Василеостровском. Но времена сейчас беспокойные, одному путешествовать не с руки.

– Конечно, идемте с нами, – предложил Павлик, – нам не по пути, но это ничего.

К причалу неподалеку пристала небольшая лодка без мотора. Павлик почувствовал, что Самовар хочет покататься по реке.

– Доброго вам предрассветного часа, – обратился Павлик к лодочнику. – А вы нас не прокастите? Правда, денег совсем нет, только коньяк.

– А я живых за деньги и не катаю, – откликнулся лодочник, ловко орудуя веслами.

– Ну вы, ребята, даете, – у Льва Ивановича от возмущения даже кончик языка позабыл забраться в пасть. – Харону предлагать деньги. Это ж надо быть такими неосмотрительными.

Павлик смутился, а лодочник грациозно поклонился и жестом пригласил всех подняться на борт. Лев Иванович не любил водных прогулок, но так было короче и безопаснее всего.

Они проплывали под мостами и махали им вслед. Навстречу лодке попался яркий прогулочный корабль, с которого гремела музыка. Увидев лодку, красиво одетые девушки столпились у борта.

– Я выхожу замуж! – крикнула одна из них.

– Поздравляем вас с этим достижением, – отозвался Максим.

– Поднимайтесь к нам, будем праздновать вместе, – наперебой стали предлагать девушки.

– У нас здесь весело: шампанское и караоке.

Павлика всегда привлекал праздник. Поэтому он взял самовар поудобнее и приготовился к перемещению. Максим тоже ощутил странное желание присоединиться. Но Харон, улыбаясь девушкам, незаметно указал своим гостям на розоватые щупальца, идущие от прогулочного ковра.

Харон глотнул коньяку и недобро прищурился.

– Вы их не любите? – поинтересовался Павлик, с которого быстро спал морок.

– За что ж мне их любить? – Харон указал на злобных девиц, которые тянули страшные щупальца к уходящей лодке. – Убивают людей почем зря, и даже душ после них не остается. Тфу.

Они еще немного покатались вдоль берега и стали прощаться.

Харон протянул Максу коньяк, но Максим не взял.

– Оставьте себе, у вас работа сложная, вам нужнее.

– В сфере обслуживания всегда сложно, – согласился Харон и с благодарностью принял коньяк.

Оказавшись на суше, Лев Иванович заметно повеселел.

– Мы недавно были в одном переулке, в баре, – Макс наконец решился задать вопрос, который его тревожил. – Это там вас перевоплотили во льва?

– Конечно там, где ж еще? – Лев Иванович, казалось, был рад такому повороту.

– И вам нравится быть львом? – спросил Павлик.

– Разумеется, нравится. Любому понравится, главное, научиться двигаться незаметно, чтобы не затекать. А в остальном, красота – сидишь себе и радуешься.

Лев Иванович возбужденно постукивал кисточкой хвоста по мостовой.

– Ну вот сколько бы я человеком прожил? Несчастный век? Львом-то куда приятнее, даже в дождь. К тому же у меня есть свое место в этом мире. И дело. Ну кто может сейчас этим похвастаться?

Максим согласно кивнул.

– В таком случае зачем вам куда-то идти? – спросил любопытный Павлик.

– Так день рождения у друга. Мы с ним в бар тогда вместе пошли и ...

Макс не расслышал, что было дальше, потому что по пояс провалился в открытый канализационный люк.

Послышался высокий стеклянный смех.

Павлик поднял голову и увидел нимфу, курящую на подоконнике.

Максим выбрался из колодца и принялся отряхиваться.

– Вы простите, – сказала нимфа, – но это правда было очень смешно. Вы не ушиблись?

– Спасибо за беспокойство, я цел.

– Вы смеетесь как хрустальная люстра, – восхищенно заметил Павлик.

– Благодарю, – смутилась нимфа. – Заходите ко мне, я угощу вас кофе с ирисками. Вы какие предпочитаете, золотой ключик или кис-кис?

Павлик поставил самовар на подоконник и влез сам. Макс помог забраться Льву Ивановичу.

– У вас очень красивый самовар, – сказала она Павлику.

– Спасибо, – я его сам купил, – похвастался Павлик.

Нимфа была красивая, но Макс хотел к Алисе. Хотелось оказаться дома, среди уютного бардака, пластинок и книг. Лев Иванович тоже торопился, поэтому они переглянулись и одновременно встали.

– Мы, пожалуй, пойдем, – сказал Макс.

– Подожди, а как же я? Как же самовар? – заволновался Павлик.

Было видно, что Павлику не хочется уходить, но и предлога, чтобы задержаться, он не находит.

– Ты должен остаться, – уверенно заявил Макс.

Павлик посмотрел вопросительно, Нимфа – с благодарностью.

– Если кто-то будет тебя ждать, ты сделаешься защищенным от прожорливого троллейбуса.

И от всех остальных тоже.

Павлику такой аргумент показался весьма разумным.

– Но как же самовар?

– Он хочет остаться с тобой, – сказал Лев Иванович. – Я такие вещи чую.

Макс со Львом Ивановичем еще немного прошли вместе, сплетничая о знакомых львах. Потом распрощались на мосту и остались очень довольны друг другом.

На рассвете Макс поднялся к себе домой. Он не стучал, но ему сразу же открыли.

– Доброе утро, – сказала Алиса, – я заварила чай.

На столе стояло три чашки, одна из них была перевернута на бок и смотрела ручкой в потолок.

– Думала, Павлик придет, – пояснила она, – но потом почувствовала, что нет.

– У него неотложные дела.

– Не сомневаюсь, – улыбнулась Алиса.

Она закрутила проигрыватель и уселась напротив.

– Послушай, давай выключим телефон и останемся сегодня дома? – предложил Макс.

– Давай, – легко согласилась она. – И завтра?

– И завтра, – подтвердил Макс. – И даже капельку послезавтра.

## Евгений СТРЕЛКОВ

### **Макарий**

Млечные реки, яичные берега,  
полые башни полощут подола  
в Волге.  
По долу  
туман от реки,  
просторы.  
Вечерня в гулком  
как пустой молочный бидон  
соборе – полутёмном ларе  
для свечей, икон и просфор.  
Гигант Св. Христофор  
в пёсьем обличи – на одном из круглых столпов.  
Брат-близнец его, рыболов  
снаружи храма распродает улов:  
судаков, налимов, раков.  
Белый Макарий многоголов,  
тих и полон знаков.

### **Пермское Море**

Белых камней вкрапления в красные глины  
Для масштаба – белый же теплоход  
Его палубы тоже слоются,  
Если подойти к ним  
с геологической меркой,  
то между палубами – миллионы лет.  
Наглядная иллюстрация  
эфемерности бытия.  
И вот я  
Наблюдаю новое море на месте бывшего моря.  
Того, что отложило меловые пласты  
как коржи, что пропитаны ромом истории  
жизни. Тот допотопный мир  
прикрыт кучерявым лесом,

---

*Евгений Стрелков родился на Урале в 1963 году, окончил радиофизический факультет университета в Нижнем Новгороде. Художник, литератор, редактор альманаха «Дирижабль». Публикации в журналах «Неприкосновенный запас», «Звезда», «Урал», «If» (Марсель), «Missives» (Париж), «Дружба народов», «Октябрь». Автор книги стихов «Молекулы» (2015); книга эссе «Фигуры разума» (2015), соавтор (вместе с Эдуардом Абубакировым и Вадимом Филипповым) книги краеведческих этюдов «Ниже Нижнего» (2014). Живёт в Нижнем Новгороде. В «Волге» публикуется с 2009 года.*

за мысом  
– большая вода рукотворного резервуара  
Плезиозавры ныне плещутся лишь в витринах музеев  
ротозеев дразня  
Непредставимым веком  
Что спрессован, сложен из панцирей  
и роговых пластин.  
Над водой стрекоза  
– трепещет ее хитин.

### **Сфера**

Дерево Сфера царствует здесь над другими  
Над парусами тугими  
Под небесами нагими  
Выражение чистых понятий.  
Вписаны в сферу  
Платоновы формы – все без изъятий.  
Небесные сферы обставлены звуком  
И пифагоровы гаммы  
Уловлены трепетным ухом  
Леса, где звери и птицы расселись слоями  
Дерева Сферы – побегами и корнями.  
Дерево Сфера обнимает округу  
Звездная пыль обозначает дорогу

### **Свет затмения**

г.

Пароходы «Эвелина» и, кажется, «Переворот»,  
и ещё два,  
едва  
отошли от причалов Нижнего – и вот  
прощальная вспышка магния:  
освещены, запечатаны  
участники экспедиции  
в серебро фотопластины.  
По курсу – волжские палестины.  
Паломничество образованной публики на затмение  
седьмого августа тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года.  
Толпы народа  
в Юрьевце вокруг наблюдателей неба.  
Кольца короны на фотопластине  
стеклянной,  
деревянной  
треноги ажурная пирамида,  
оловянный блеск волжских вод,  
стальной шпиг телескопа,

пронзивший небесный свод...  
Для тех высот  
понадобятся сильные трубы...  
Через год  
(или чуть позже) Фёдор Бредихин уступит свой телескоп  
нижегородскому кружку любителей физики и астрономии  
– чудесную снасть для планетной и звёздной ловли.  
Пока же матросы ловят с плота плотву, карася, налима...  
Спит у причала в Юрьевце «Эвелина»,  
Над клотиком корабля размечена звёздная трасса...

2.

На обратном пути, в ресторане на палубе первого класса  
под двойной кофе (хронический недосып) решено  
учредить кружок, чтоб прорастить зерно  
знания, чтоб закрепить успех юрьевецкой увертюры:  
лекции, демонстрации, астрономический календарь, брошюры...  
Среди будущих авторов – Циолковский,  
калужский школьный учитель.  
При этом – вольный мечтатель:  
ракетные поезда его, межпланетный его караван...  
Наверняка всё это будет! Сквозь туман  
серости увидим небо в алмазах  
ракетных выхлопов, в рубинах, топазах  
бортовых корабельных огней!  
Смелей,  
Константин Эдуардович, дерзай!  
А мы тут в кружке выверим гранки  
твоей статьи, запустим печатный пресс, какие вопросы!

И вот уже телескоп куплен на первые членские взносы,  
звезды отражены  
в его изумлённых глазницах  
скептики сражены, на лицах  
кружковцев на фото – энтузиазма пыл  
немного пересветил  
снимок Андрей Карелин.

Но тем дальше будем мы различать  
этот свет, эту фотопечать.

### **С видом на реку**

1.

Круженье лодок под мостом ажурным.  
Дежурным  
звуком – бой колоколов

улов  
обещан – ведь погода  
тишь да гладь, природа  
замерла, река не шелохнётся.  
Солнца первый луч рождает тень  
и день  
вот-вот  
займётся...

2.

груженная лесом баржа  
проходит у жаркого пляжа  
саратова, дребезжа  
ржавыми жабрами – ветлужан  
влажный  
привет  
– таёжный, валежный.

### На Чернышевского

Три пары очков в деревянных футлярах  
в деревянных флигелях-филиалах  
музейной усадьбы.  
Тусклые линзы – испорченный инструмент.  
Собственно, почти ничего более  
из подлинников, разве что книги, фрагмент  
китайской головоломки, перчатки Оли,  
Ольги Сократовны, её шкатулка.

И Волга, Волга! в конце переулка –  
вот главный козырь музея.  
Глазея  
с деревянного мезонина  
ты ощущаешь идущий от Волги ток. Пыл.

Что делать? – опрометчиво спросил  
наш герой – и вскоре  
Загремел в острог на долгие-долгие годы...  
Позже жил в Астрахани, здесь не бывал – обидно.  
Не войти дважды в те же волжские воды  
и виды – по всему видно.

### Пижама Питера

1.  
Пересвеченный Петроград  
– фигурирует плоскостность

в противовес глубине: парад-  
ных, проходных дворов, коридоров.  
Сколы и наледы ослеплены  
зимним солнцем. Со спины,  
в контражуре, фигуры Румянцева сада  
проецируются на коллоид фасада  
жидко-жёлтого, как бумага верже.  
Бледный город с утра в неглиже  
своего недвижимого тела  
лишь оголтело  
галки и голуби  
пачкают голубизну

2.  
кубометров лазури,  
вываленных на раскрой  
василеостровских пунктиров:  
лифа, нижних юбок, пояса для чулок, кальсон  
плоский город трепетно нанесён  
на кальку, отражен трельяжем  
трёх основных проспектов, обнажён  
разбужен, обескуражен.  
Слегка раздражён  
бесстыдным обилием света.  
Как халата, он ждёт ватные облака

3.  
прикрыть бедра, живот, бугор лобка  
сквера, пролежни площадей.  
Скверно выглядит кожа в черточках труб-угрей  
и как скомканная постель андрей-  
евский рынок в пудре вчерашнего снега  
несвежей уже с утра  
и даже прищур Петра  
на заиндеветшей лошади  
кажется нездоров.  
И глухой хлопок с петра-  
павловки тонет в вороньем «кра»  
и «кар»  
Над невою – пар,  
инфлюенции лёгкий жар  
обостряет зрение, но слезит картинки.  
И собор за рекой как начищенный самовар  
подан к столу заботою местной финки.



## Владимир ТУЧКОВ

### РАССКАЗЫ

#### **Милка**

– Сынок! – вдруг раздаётся непонятно откуда.

И адресовано неизвестно кому. Явно не мне. Поскольку на такое обращение ко мне имеет право человек, которому хорошо за девяносто.

А поскольку в наших краях таких человек не водится, то это должен быть призрак.

Но это не Англия.

Поэтому списываю эти обманные звуки на счет расшалившихся нервов, которые пытаются донимать меня слуховыми галлюцинациями.

Но нет, опять:

– Сынок! Сынок! Помоги, сердешный!

Повертев головой, обнаруживаю в чистом поле довольно ветхую старуху. До девяноста, конечно, она несколько лет не добрала. Но восемьдесят-то уж наверняка есть.

Останавливаюсь. Жду, когда подковыляет.

Спрашиваю, чем надобно помочь.

И предполагаю, что просьба будет очень нетривиальной. Не краюху хлеба на пропитание. Не денег до пенсии дотянуть. И даже не мобильник, чтобы позвонить по делу, поскольку у нее, дескать, аккумулятор сел. Сейчас все, абсолютно все освоили сотовую связь – от дошколят до древних старцев, которым надобно звонить разве что на тот свет, где их поджидают веселые друзья и подружки, компаньоны по катавасиям давно минувших даже не лет, а десятилетий.

– Сынок, Милка сбежала! Она у меня такая норовистая, хуже своей мамки – Марты!

Ну, думаю, не хватало мне заниматься семейными разборками. Безумцы, которые пытаются разругать такого рода истории, как правило огребают сразу с двух сторон.

– Нет, мать, – отвечаю с максимальной твердостью, на которую я способен, – ты уж сама разбирайся со своей внучкой. Ну, или правнучкой – она кто тебе? А мне домой надо. Видишь, из магазина иду, тяжелое несу, никого не трогаю, ничего ни от кого не жду.

– Да какая же она мне внучка, – продолжила старуха плаксивым тоном. – Коза она мне!

В конце концов старуха с максимально возможной для нее внятностью изложила историю своего несчастья. И сформулировала просьбу, которую мне надлежало исполнить.

Старуха жила в Гольгине. Почти каждый день она выводила козу Милку погоститься на бывшее колхозное поле. Подальше от Ярославского шоссе. Внуки ей объяснили, что в траве, которая рядом с шоссе, много свинца. И свинец попадает в молоко. И кто пьет такое молоко, тому уготован короткий путь к могиле.

---

*Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге»: повесть «Любовь в городе мертвых» (2020, № 3-4).*

Вот она и пасет свою Милку подальше, хоть ноги уже плохо ходят.

Сегодня Милку напугал вертолет, который пролетел над полем совсем низко. Наверняка, из хулиганских побуждений – чтобы напугать старую каргу. Однако старая карга за свою долгую жизнь навиделась такого, от чего вертолетчик неделю мучался бы медвежьей болезнью. Напугать ее было невозможно.

А Милку охватил ужас, и она кинулась прочь со всех своих четырех ног.

Старуха, насколько ей позволяли силы, поковыляла за козой.

В конце концов коза успокоилась. Но к хозяйке идти категорически отказывалась. Тут уже сказывался ее вздорный характер, который, по непреклонному убеждению старухи, присущ «вертихвосткам и артисткам». Милка подпускала хозяйку буквально на расстояние вытянутой руки. И тут же делала свечку, словно была лошадь, отпрыгивала в сторону. И отбегала на такое расстояние, с которого подслеповатая старуха могла разглядеть глумливую гримасу на козьем лице.

Я постарался успокоить старуху. Мол, побегает да и домой вернется. Она же ведь умная.

Выяснилось, что я ничего не понимаю в деревенской жизни. Такую сладкую козочку и собаки могут съесть, и волки из лесу ночью на ее запах придут. Да и лихие люди заберут и суп из нее сварят. Больно много в последнее время их развелось – и бездомные, и беглые разбойники, и гастарбайтеры, оборотни в погонах... Много их, кишмя кишат!

– Ну, а я-то чем могу помочь? – недоумевал я. – Ведь она и меня к себе не подпустит!

– Не скажи, сынок, она мужчин очень даже уважает. Ты поговори с ней, устыди, вот она тебя и послушается. Это не то что глупая баба. Вот ты ее и приведешь.

– Да как же я приведу-то?! – начал я выходить из себя. – За рога, что ли?!

– Не, рожки у нее совсем маленькие. Если тебя поначалу бодать начнет – не бойся. Маленькие и даже мягкие.

– Ну, а как, как я ее приведу?!

– А у нее веревочка на шее. Вот за нее и приведешь... Вон она, вон! – старуха начала тыкать пальцем в пространство.

Я пригляделся. Действительно, метрах в семидесяти стояла коза и с явным любопытством наблюдала за нами.

И я пошел. Пошел, не представляя, чем эта история может для меня обернуться.

Милка оказалась проворной. Более того – разговорчивой. На мои обращения к ней по имени она отвечала меканием с различными интонациями.

Как и учила старуха, вскоре я начал с козой разговаривать. То есть, взывая к ее совести, предлагал вернуться к хозяйке.

К хозяйке она явно не хотела.

Тогда я попытался эту чертову Милку купить. Открыл рюкзак, достал батон, который купил в голыгинском магазине, отломил приличный кусок. И предложил его козе.

Она заинтересовалась.

Пошла на лакомство.

Я честно отдал ей хлеб. И схватил веревку, которая, действительно, болталась у нее на шее.

И с чувством выполненного долга вознамерился вести Милку к хозяйке.

Но не тут-то было. Коза упиралась, истошно орала и пыталась меня забодать.

И довела меня до того, что я обозвал подлое животное «сучьей артисткой».

Внезапно на мотоцикле подкатили два бугая лет тридцати или около того.

Минуты две они мрачно наблюдали за битвой характеров.

После чего один сказал:

– А ведь он козу у нашей бабушки украл.

Естественно, вместо «украл» прозвучал другой синонимический глагол.

Я попытался объяснить. Но меня, естественно, никто не хотел слушать. Поскольку у каждого вора свои увертки и отговорки.

Первый предложил меня изметелить и урыть, чтобы другим неповадно было. И им это удалось бы с легкостью, учитывая существенную разницу в возрасте, в мускулатуре, в общей массе и в злости.

Второй был, как мне вначале показалось, более благоразумен. Он размахивал руками и кричал: «Никакого Линча, никакого Линча! Пусть, гад, по закону ответит!»

Оказалось, что такую стратегию он избрал вовсе не от уважения к закону. Он хотел на мне обогатиться. Подать в суд и взыскать с козокрада три, а лучше пять тысяч баксов. И за козу, и за моральный ущерб.

После чего внуки начали вызванивать какого-то Нестора Филипповича, который должен приехать и арестовать вора, который ограбил их бабушку.

Ну, думаю, может, этот самый Нестор Филиппович окажется вменяемым человеком. И недо-разумение разрешится.

Через десять минут примчалась, подпрыгивая на кочках и ухабах, полицейская «Нива». Из «Нивы» вышел человек с изрядным животом, с которого сползали спортивные штаны. Однако рубашка была с лейтенантскими погонами, а голову венчала форменная фуражка с кокардой.

От полицейского пахло спиртным.

Нестор Филиппович поздоровался за руку с бугаями и спросил: «Где вор?»

И я понял, что дело мое принимает скверный оборот.

Никому из троих доказать мою невиновность было невозможно. Потому что они были в ней заинтересованы.

Внуки намеревались за счет меня обогатиться.

Для полицейского открывалась прекрасная перспектива раскрыть преступление, чего давно с ним не случалось. И заработать по службе некоторые преференции.

Ну а на козу всем троим было глубоко наплевать.

Скверный оборот усугублялся. Господин полицейский посадил в машину меня, как преступника, и козу Милку, как вещественное доказательство, и поехал составлять протокол, чтобы затем взять меня под стражу.

Вот только непонятно было, что он намеревался делать с козой. Потому что, согласно процессуальным нормам, возвращать вещественное доказательство хозяйке было нельзя до окончания следствия.

В кабинете у Нестора Филипповича царил кавардак. Он долго искал бланки протокола. Потом долго пытался найти ручку. В конце концов вспомнил, что последняя директива министра внутренних дел требовала составлять все официальные бумаги при помощи компьютера.

Он включил компьютер.

И пока тот загружался, бугаи доставили потерпевшую – свою бабушку.

Бабушка была лет семидесяти пяти. Нарумяненная. В кофточке с подсолнухами и в штанах-скинни той же расцветки, которые в годы ее молодости считались нижним бельем.

И тут у меня мелькнула совершенно бредовая мысль. Которая, несомненно, стала плодом нервного перенапряжения. Я подумал, что все они – и первая старуха, и вторая, молодящаяся, и внуки, и полицейский, и даже эта коза являются членами организованного преступного сообщества, которое при помощи мошеннической схемы грабит людей.

Внуки решили сразу взять быка за рога, не дожидаясь начала официального расследования.

– Узнаешь, твоя?! – первый внук кивнул на привязанную к ножке стула Милку.

– Вот этот вот хотел ее украсть, – второй внук кивнул на меня.

– Да это ж Милка, Шуры Новоселовой. А у меня Розка.  
И у меня отлегло от сердца. Все-таки есть в России правда, есть!!!

В конце концов Нестор Филиппович согласился со мной, что козу надо вернуть хозяйке. И мы опять влезли втроем в его полицейскую «Ниву» и понеслись по кочкам и ухабам, чтобы вернуть Шуру Новоселовой дорогу к ее сердцу Милку.

– Мать, – сказал я ей на прощанье, – выпори свою Милку ивовыми прутьями. Чтобы не была вертихвосткой и артисткой.

И совсем на прощанье Нестор Филиппович предложил мне отметить успешное разрешение конфликта и торжество правды. У него было чем отметить и чем закусить.

Но я отказался, сославшись на усталость.

### **Первый бобровый поход**

Кто не знает поселок Заречный, что прилепился на пятьдесят седьмом километре к Ярославскому шоссе. С правой стороны, если ехать из Москвы в сторону Ярославля.

Да, пожалуй, почти никто и не знает. Потому что нет в истории поселка ничего необычного, героического, запоминающегося, что могло бы привлечь внимание на худой конец краеведов, которые могли бы тиснуть статейку о Заречном в районной газете. А то и телевизионщиков, способных превращать дерьмо в амброзию и наоборот – амброзию в похмелье. То есть привлекать к любому предмету, каким бы неказистым и ничтожным он ни был в действительности, массовое внимание.

Короче, это ничем не примечательный поселок, который вырос в конце пятидесятых – начале шестидесятых вокруг завода пластмассовых изделий. Тоже ничем не примечательного. Поскольку продукцию его примечательной назвать не представляется возможным. Как и менеджмент, главная цель которого состоит в жонглировании прибылью таким образом, чтобы и не сильно расстраивать хозяев завода, и не доводить рабочих до такой степени отчаяния, которая способна вызвать вспышки народного волнения.

В общем, всё как и во множестве других ничем не примечательных поселков, в изобилии разбросанных по карте России, в которых вся промышленность представлена лишь одним предприятием невысокого финансового полета.

Короче, если кому-то хочется поближе, не по видеоблогам Ходорковского, а воочию узнать, что такое социальный мрак, то тому именно сюда – в поселок Заречный.

Жили зареченцы не столько на скудную зарплату, сколько кормились от огородов. Причем не только съедали выращенное, но и выносили по выходным на трассу ведра картошки, соленых огурцов, кочаны капусты, корзинки яблок, кузовки крыжовника и малины, кабачки... Торговали и грибами, собранными в не совсем отравленном пластмассовым заводом лесу.

Вполне понятно, что самыми зажиточными были пенсионеры. Однако было их в поселке немного. Потому что химия, химическое производство, руки простирает не только широко, как когда-то заявил премьер Хрущев, но и глубоко. В печень, в желудок, в легкие, в почки.

Всё шло, как и должно было идти, чтобы сохранялась социальная стабильность. Хоть ее в пору было назвать ритуальной стабильностью. Менеджмент искусно балансировал между теми и этими – хозяевами и поселянами, не забывая, впрочем, и о своих интересах. Отчего риски такого управления еще больше возрастали.

Однако не все в руках человеческих. Беда пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Внезапно – не весной, когда тают снега, – а в конце мая разлилась в общем-то абсолютно безобидная речка Воря. Восемь шагов в ширину, по пояс в глубину. Да так разлилась, что получилось наводнение.

Если бы в Заречном были старожилы, то они заявили бы, что не помнят такого ужаса на своем веку. Но поскольку старожилы не было, то эту сакраментальную фразу пришлось произносить людям не столь и старым – шестидесятилетним. Но и из их уст это звучало вполне весомо – то есть не помнят люди, еще не впавшие в возрастной маразм, с самого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Наводнение натворило изрядно бед. На залитых водой огородах погиб будущий урожай. Это означало, что зареченцам не придется есть, а также продавать на трассе картошку, огурцы, кабачки, петрушку с укропом, капусту, редиску. Погибли и ягоды на кустах – смородина и крыжовник. И можно было рассчитывать лишь на урожай яблок.

Многие держали и живность – в сарайчиках на берегу подлой реки. Но куры утонули, поскольку не были обучены плавать. Утонули две козы. Восемь поросят.

Вода похозяйничала и в квартирах двухэтажных домов, в которых жили зареченцы. Так вот на первых этажах кое-где провалился пол. А уж испорченной мебели не перечесать. Да какая бы эта мебель ни была, но она у людей была последней.

В самый пик стихии зареченцы спасались на вторых этажах, мрачно проклиная судьбу.

Но когда вода немного схлынула, то начали проклинать и менеджмент завода. А кое-кто начал использовать в ненормативных словесных конструкциях даже хозяев завода.

Однако это была, так сказать, лёгкая разминка, так сказать, вполне невинная форма рефлексии.

Когда дорога на заводоуправление освободилась от воды, зареченцы потянулись к начальству.

Однако менеджмент заявил, что хоть глубоко и опечален случившимся несчастьем, но помочь людям, и даже сотрудникам завода, даже передовикам производства ничем не может. Потому что бюджет предприятия не предполагает такие расходы. Нет в уставных документах такого параграфа. Вот если бы сотрудники предприятия внесли его в свое время в коллективный договор, то этот параграф в договоре был бы.

Ну, а если администрация из добрых побуждений начнет выделять своим сотрудникам помощь на восстановление разрушенного стихией, то тогда ее, администрацию, посадят в тюрьму. И это для зареченцев будет еще хуже, чем сейчас.

Однако, сказала администрация, вам следует обратиться в страховые компании, клиентами которых вы являетесь, и вам будет выделена, как мы, администрация, думаем, очень достойная компенсация убытков.

Но имущество зареченцев застраховано не было. По той простой причине, что ни один из вменяемых страховых агентов в этот поселок заглянуть не удосужился по вполне понятной причине. А невменяемых среди ихнего брата не водится.

Однако социального взрыва не произошло и на сей раз. Администрация настоятельно рекомендовала обратиться за помощью в район. В районе всем обязательно помогут. Не могут не помочь, поскольку в смете каждого района, расположенного не только на территории Московской области, но и Российской Федерации, есть параграф, в котором говорится о материальной помощи пострадавшим от наводнения.

Конечно, администрации завода надо было набить морду. За доброе отношение. Однако решились повременить, потому что при таком раскладе район может не только прислать полицию, но и не дать материальной помощи.

Но и район повел себя не лучшим образом. Приехала комиссия из трех человек. И начала ни шатко ни валко все «обследовать», натюкивая какие-то буквы в своих планшетах. Каков уровень воды был в субботу вечером? А какой в воскресенье утром? До какой отметки дошла вода? С какой скоростью прибывала? Есть ли разрешение на строительство сараев? А оформил ли хоть кто-то документы на самозанятость, чтобы устраивать розничную торговлю сельхозпродуктами в не-

установленных местах? Сколько утонуло кур? Можете ли предъявить их тела? А как у вас с налогами? А нет ли нарушений по части ограничений в связи с пандемией коронавируса?

Когда поселчане начали роптать, комиссия скорректировала свое поведение, начала демонстрировать человечность, граничащую с состраданием. В заключение заверила, что район никого не обидит. Однако выплаты компенсации могут начаться не раньше начала следующего бюджетного семестра.

На том и расстались.

И остались зареченцы наедине сами с собой.

Понятно, что восстановление погубленного наводнением происходило со значительными перерывами на коллективное обсуждение вопроса относительно того, кто виноват. Кто виноват в разливе Вори? Ведь не сама же она. Потому что дождь шел всего лишь двое суток. И выпало, как говорили по телевизору, сто двадцать миллиметров осадков. То есть всего лишь двенадцать сантиметров. Но вода-то в реке поднялась на три с гаком метра! Против законов арифметики не попрешь!

Выходило так, что какой-то гад, иначе не назовешь, выше по течению открыл какую-то заслонку, которая отделяла от реки какое-то водохранилище. И это водохранилище хлынуло в Вору. И это было названо стихийным бедствием. Хотя стихия-то тут абсолютно и ни при чем! Это дела рукотворные. И не дела, собственно, а преступление. И на всякое преступление есть своя статья в Уголовном кодексе. Вот только не всегда эти статьи применяют. В данном же случае надежды на торжество правосудия были призрачными. Потому что заслонку, несомненно, открыл не пьяный гидролог, а начальство, довольно крупное. А начальство самое себя наказать при помощи применения статьи Уголовного кодекса никак не может. Потому что это противоречит инстинкту самосохранения начальства.

Высказывалась и другая версия. Под Красноармейском, который ниже по течению, есть полигон. На котором испытывают новые ракеты и снаряды. Порой очень мощные – от взрывов земля дрожит даже в Заречном, за много километров от полигона. Так вот когда по телевизору объявили о том, что за два дня должна выпасть половина летней нормы осадков, командование полигона срейфило. Перепугалось, что начавшееся наводнение затопит дорогостоящую военную технику. И командование обвиняет в снижении обороноспособности страны. Поэтому командование срочно вызвало инженерную роту с тяжелой строительной техникой, которая быстрее чем за сутки построила на Воре плотину перед Красноармейском. И вода, которой перегородили путь в Клязьму, притоком которой является Воря, начала подниматься. Судиться с военными имело еще меньший смысл, чем с районным начальством. Потому что поддержанию обороноспособности страны не могут препятствовать никакие человеческие законы.

Так что зареченцам оставалось только чесать затылки. И ожидать начала финансового семестра.

И вдруг кто-то произнес слово «БОБРЫ».

Теперь уже и невозможно определить, кто же это был. И где это слово было произнесено. И при каких обстоятельствах. То ли в очереди в поселковом магазине, где нерасторопная Шура копалась, обслуживая Ирину Петровну, которой надо было и того двести грамм, и этого сто пятьдесят, и пятого, и десятого.

Или же у сараев, где Андрей из цеха гранулирования навешивал новую дверь, сколоченную из того, что под руку подвернулось.

Или на детской площадке, куда пришли четыре молодые мамы, чтобы их дети подышали свежим воздухом, а самим – посудачить про что-то насущное. Например, про последнюю передачу «Модный приговор», где из одной бесформенной тефтелины сделали конфетку, или про

передачу «ДНК», в которой на научной основе обнаруживают такое, отчего глаза передвигаются на лоб.

Ничего из этого – кто, где, при каких обстоятельствах – большого значения не имеет.

Главное – слово было произнесено. И оно выступило в роли горящей спички, поднесенной к стогу сена.

Короче – полыхнуло.

В поселке только и было слышно: бобры, бобры, бобры, бобры, бобры!..

И это была очень стройная версия. Неопровержимая.

Бобры ниже по течению реки построили плотину. Что и привело к затоплению прилегающих к руслу Вори территорий выше по течению относительно бобровой плотины.

И это получало железное подтверждение. Через четыре дня после окончания аномальных дождей вода в Воре опустилась до безопасного уровня. То есть освободились и огороды, и сараи. И, естественно, дома, которые стояли повыше. Однако в русло река окончательно не вернулась и через неделю, и через десять дней после окончания наводнения. Уровень воды был выше почти на метр по отношению к обычному состоянию реки.

И это означало, что воду по-прежнему удерживает плотина. Бобровая плотина. Потому как жители расположенных вдоль реки деревень и дачных поселков построить плотину никак не могли.

Улика была железобетонная.

Вскоре появилось и еще одно доказательство. Николай рассказал, что у него в Каблукове, что ниже по течению, живет то ли шурин, то ли деверь. Живет аккуратно на берегу Вори. Так вот он с ним только что созвонился. И этот шурин-деверь рассказал Николаю, что никаких ужасов не было. Немного, конечно, вода повысилась, но до затоплений дело не дошло.

Значит, падлы, бобры! Где-то между Заречным и Каблуковым. Обосновались и начали гадить людям.

– Но ведь раньше же этого за ними не водилось! – заявил на сходе Роман Андреевич, заводской технолог. Которого немедленно прозвали «бобровым адвокатом». – А они ведь уже давно в наших краях водятся. Мне еще дед рассказывал.

Мужики неодобрительно зашумели. Раздались возгласы «кончай заливать!», «всю рыбу пожрали!», «детей одним опасно на речку пускать!», «не водилось, да и развелось!»...

Роман Андреевич был человеком разумным и начитанным. Поэтому дискутировать с ним было непросто. Однако Андрюха, парень чудаковатый, вызвался. Хоть логикой и не обладал, но всегда чувствовал за собой великую правоту.

– Ну, ну, – сказал Андрюха с ехидцей, – не водилось! А в Англии раньше водилось!?

– Что? – не понял Роман Андреевич.

– А то! В Англии негры начали сваливать памятники и топить их в реках! Водилось у них раньше такое?!

– Какие памятники, зачем? – у Романа Андреевича от изумления обнажилась вставная челюсть.

– А такие! Негры говорят, что это рабовладельцы. И в воду их! К самому Черчиллю подбираются! – сказал Андрюха, решив, что положил Романа Андреевича на лопатки.

– Так при чем тут бобры, ничего не понял, – изумился технолог. Хоть и был прекрасно знаком с причудливостью Андрюхиных умопостроений.

– Да при том, что негры в реке памятники топят! А раньше не топили! И Черчилль!

– Что Черчилль?

– А Черчилль, между прочим, только армянский коньяк пил! – сказал Андрюха с таким чувством, словно пригвоздил Романа Андреевича к бревну гвоздем-двухсоткой.



Вполне понятно, что всеобщее настроение, которое можно было охарактеризовать как лютаая ненависть к бобрам, вскоре привело от пустой болтовни к обмозговыванию карательной акции.

И это тоже было вполне понятно. Потому что всякое вменяемое человеческое сообщество вытирает в качестве врага, который должен быть повержен, именно ту силу, с которой в состоянии справиться.

И это не могло быть начальство. То есть администрация района, которая подло открыла задушники на плотине выше по течению Вори. Что привело к затоплению поселка. Русский человек впитал с молоком матери, которая также впитала с молоком своей матери, и та мать матери тоже впитала от своей с молоком матери, которая является прабабкой русского человека, и так далее, до бесконечности – впитал поговорку «с сильным не борись, с богатым не судись». И это актуально особенно сейчас, когда богатство любой администрации любого района превышает мыслимые и немыслимые размеры.

Не могли быть выбраны врагами и военные с Красноармейского полигона. Ну, это понятно и без объяснения: в магазине тридцать патронов калибра 7,62 мм. И тех магазинов, пристегнутых к автоматам Калашникова, превеликое множество. Стой, стрелять буду! – после чего стрельба на поражение.

Поэтому праведный гнев был обращен на бобров. Существ безответных. С которыми, как считали зареченцы, удастся справиться легко, без особых проблем.

Забегая вперед, скажем, что они сильно заблуждались.

Надо сказать, что Роман Андреевич, будучи человеком наиболее здравомыслящим во всем поселке (иначе бы его на должность технолога не поставили), пытался отговорить земляков от необдуманных поступков. От поступков, продиктованных не разумом, а первобытными инстинктами. Использовал массу аргументов, но тщетно. Разум зареченцев был подмят синдромом толпы. Толпы, которая, как известно, обла, озорна, стозевна и лаяй. Толпа, о которой французский психолог и социолог Гюстав Лебон писал в своих исследованиях:

*Самый поразительный факт, наблюдающийся в толпе, следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие её, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу.*

Однако Роман Андреевич Лебона не читал. Иначе он не решился бы на крайне опрометчивые действия, направленные на попытку вразумить земляков. Поскольку, как утверждал ученый француз, *кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится её повелителем; кто же стремится образумить её, тот всегда бывает её жертвой.*

Но, к счастью, пронесло. Зареченцы просто подняли технолога на смех. Чем и ограничились.

Всеми овладела выраженная в двух словах незамысловатая идея: мочить блядей! В смысле – бобров.

Выступать в карательный поход решили через два дня. Во-первых, необходимо было по доступной в интернете информации узнать как можно больше о бобрах – об их повадках, об образе жизни, о пище, о брачном периоде, о воспитании потомства, о болезнях, которым они подвержены.

Во-вторых, надо было заготовить для похода все необходимое. Провиант. Палатки – на тот случай, если не удастся уложиться в один день. Оружие. Выяснилось, что зареченцы располагают четырьмя ружьями. Все же остальные должны вооружиться каким-то холодным оружием. К нему отнесли, как наиболее подходящие в данной ситуации, вилы и топоры. Причем топоры были предметом двойного назначения – ими можно и рубить бобров, и разбирать плотину.



В-третьих, ожидали, что при установившейся жаркой безоблачной погоде пойма Вори подсохнет до такой степени, что передвижение карательного отряда будет не столь обременительным. Но, конечно, решили выступать в болотных сапогах. Поскольку неизвестно, с чем они могут столкнуться в незнакомых краях вдали от родного поселка.

Выступили 7 июня в половине четвертого утра, когда серый рассвет начал вползать в окна мирно спящих людей.

В воинственно настроенную группу, точнее – отряд, если по-военному, вошли тридцать два человека. Что по численности было эквивалентно пехотному взводу – первичному тактическому подразделению сухопутных войск. Да и по сути они были именно взводом, поскольку, несмотря на существенную разницу в возрасте, в жизненном опыте и физических кондициях, их цементировала единая боевая задача и общий враг. Враг, который должен быть повержен.

Причем враг неизведанный и неизученный, как это было в самом начале Великой отечественной войны, и оттого еще более ненавистный. В котором не было ничего человеческого. Именно так представляли советские солдаты немцев летом 1941 года.

Зареченцы же, напротив, наделяли бобров человеческими качествами – хитростью, подлостью, стремлением навредить соседям, расчетливым вероломством, Всё, абсолютно всё бобры делали осмысленно, понимая, к чему их действия могут привести. Ни о каких природных инстинктах не могло быть и речи!

Был у взвода и свой командир. Петр Стрельцов. И пусть его никто не назначил командиром. И даже не выбрал, исходя из демократических принципов, но все его воспринимали именно как командира. Все получалось просто и естественно, по науке, как и писал Лебон. Именно Стрельцов ввел толпу, которая стала взводом, в заблуждение. И, соответственно, стал ее повелителем.

Стрельцов единолично принимал решения, отдавал приказы, отчитывал нерадивых, хвалил отличившихся.

Правда, никак не реагировал на то, что периодически то один его земляк, то другой, то третий прикладывались к четвертинкам, которыми запаслись накануне похода. Злее будут, думал Стрельцов, кураж – он в военном деле имеет решающее значение.

И так они продвигались вдоль реки, возбужденные, распаяя себя антибобровыми репликами, вспоминая и рассказывая на ходу какие-то истории из своего армейского прошлого, довольно уже отдаленного, прикладываясь к четвертинкам – по чуть-чуть, по глотку.

Не только бобры, но и Воря оказалась подлой рекой. Она совершенно бессовестно петляла, закладывала повороты чуть ли не на сто восемьдесят градусов. И Стрельцов вскоре понял, что пройдя полтора-два километра, они продвигаются вперед, то есть к устью, метров на двести-триста. И принял решение идти по прямой, сверяясь с коммуникатором. И периодически приближаясь к реке, чтобы определить уровень воды. То есть узнать, прошли ли они уже плотину, или же она все еще впереди.

Видели ли эти люди, шумной толпой идущие по относительно диким, почти первозданным местам родного им Подмосковья, красоты природы? Нежную зелень листвы, воспрянувшей после затянувшихся майских холодов. Строгую готичность елей. Беззаботное щебетанье птиц, пока еще не свивших гнезда и даже не завершивших брачные игрища. Упорство ручейков, пробирающихся сквозь заросли травы, переползающих через прошлогодний валежник, устремляющихся к реке, чтобы слиться с ее водами, обретая вечную жизнь...

Видели ли они это великолепиие?

Нет.

Они перемещались из пункта А в пункт Б, чтобы совершить запланированную работу. И ничто постороннее (а красота – это и есть главное постороннее в ратном деле, когда предстоит убивать) для них просто не существовало.

Так они и шли, подбадривая и подначивая друг друга и прикладываясь к четвертинкам.

Через полтора часа два самых слабых бойца, то есть самых толстых, к тому же перешагнувших пятидесятилетний рубеж, Вильнёв и Анистратенко, начали выбиваться из сил.

Стрельцов объявил привал.

Перекусили бутербродами. Достали термоса – у кого с чаем, у кого с кофе. Водку пить на привале Стрельцов запретил.

Отдышавшись и подкрепившись, можно было бы наконец и осмотреться вокруг. И заметить, как хорош, как свеж перелесок, в котором они расположились. Какой грандиозный муравейник соорудили из соломок и щепочек трудолюбивые мураши. Как шелковиста трава, как грациозны станы березок, как, в конце концов, замер жук на полпути, размышляя о чем-то своем, жуцином, замер, поблескивая перламутровой спинкой...

Но нет. Ничего этого они не видели. Словно и не снимали никогда солдатские сапоги, они вспомнили армейские будни и начали впустую молоть языками, балагурить, сыпать солеными шуточками. И всё, как и тогда, вертелось вокруг баб, командования, которое в данном случае было представлено заводским начальством, и водки. Ну, и в соответствии с текущим моментом перемывали косточки бобрам.

– Серега, а ты знаешь, что они, падлы, сильные. Впятером что твой волк, а всемером – медведь.

– Да ну, заливаешь!

– Бля буду. Одного мужика, который купался, на дно уволокли.

– Это где же, на Воре?

– Не, это где-то в Карелии. Мне армейский дружок Вконтакте написал. Баба осталась брюхатая и двое пацанов.

– Это что! По телевизору говорили, что один нырнул и не мужиком вынырнул.

– Это как это?

– Да так это – бобер ему своими зубами хрен на хрен отхреначил! Во как бывает!

– Врешь ты всё, Санек. Трусые же...

– А что для него трусы – так, легкая закуска.

– Да, точно, испытания проводили ученые. Поймали трех бобров...

– Какие там на хрен испытания! На шубу и все дела.

– Не перебивай, Долдон, слушай что умные люди говорят.

– Это ты-то умный? Щас обоссусь!

– Да уймите его... Так вот я и говорю, что испытывали бобровьи зубы. И сравнивали с циркуляркой. Начали с дуба. Потом лиственница... Кто-то работал с лиственницей?

– Я работал, зверь-древесина!

– Так вот потом перешли к мягкой стали. Ну, из которой сельхозтехнику делают, в общем, говно-сталь. Бобры режут как миленькие, только искры летят. А потом дело дошло и до легированной стали, которая для космоса. Циркулярке тут кирдык настал, а бобры режут! Во, бля!

– А вот в Африке, говорят, крокодилы...

– Да брешут! Крокодил слаб против нашего бобра. У крокодила только залупа знатная, а больше ничего.

– Да, но...

– Да это негры слухи распустили. Негры трусливые, им покажи козу, которая у Егоровны, так они в обморок попадают...

Петр Стрельцов скомандовал подъем.

Дружно встали. И затверженными когда-то движениями попытались оправить гимнастерки. Но гимнастерок на них давно уже не было. Истлели. Вместе с Советской армией.

Через час на пути попался какой-то дачный поселок. Мнения разошлись – у одних в коммунитаторе это был «Электролит», у других – «Лесные дали».

Сторож, услышав какой-то странный нарастающий шум, вышел из своей сторожки. И увидел, как в воротах приближается возбужденная толпа внушительных размеров. И толпа вооружена ружьями и вилами.

Заявление о том, что это частные владения и что посторонним проход запрещен, толпу не остановило. Более того – раздался смех и улюлюканье.

И тогда сторож, который в первый раз в жизни оказался в такой ситуации, совершил безрасудный поступок. Спустил на толпу цепного кобеля.

Кобель был тотчас же заколот вилами.

Сторож, решив более не демонстрировать героизм, спрятался в своей сторожке.

Отряд беспрепятственно вошел то ли в «Электролит», то ли в «Лесные дали» и вышел из него с противоположной стороны.

Сторож, конечно, позвонил в полицию. Полиция приехала через полтора часа. И после составления протокола в связи с отсутствием нарушителей общественного порядка полиция уехала в на свою базу, расположенную в городском поселении Лоза.

К половине первого солнце поднялось на максимальную высоту над горизонтом, оказавшись строго на юге. После чего начало медленно сползать вправо и вниз. Зареченцы уже изрядно устали. А плотины все не было. И неизвестно, сколько еще надо было пройти. Позади было уже тридцать километров. То есть до устья оставалось, соответственно, километров сорок-пятьдесят, поскольку Википедия говорила, что длина реки равна девяносто девяти километрам. Но при этом следовало учитывать, что поселок Заречный находится километрах в тридцати от истока.

Было понятно, что цель находится ближе – ведь не станут же бобры делать плотину в месте слияния Вори с Клязьмой. Однако ситуация была еще более оптимистичной. Поскольку родственник, которому звонил Николай, говорил, что в Каблукове наводнения не было. А до Каблукова оставалось еще километров десять, не больше. И, значит, цель совсем близко.

Заречинцы устроили привал, чтобы отдохнуть перед последним и решающим броском. Ведь нельзя же было вступать в схватку с бобрами взмыленными и измочаленными. Как знать, чем могло обернуться такое шапкозакидательство.

На сей раз сидели уже молча, не балагурили и не перебрёхивались. Копили в душах злобу.

Ровно через десять минут Петр Стрельцов скомандовал подъем.

Шли молча. След в след. Впереди шел бульдозерист Артем Касаткин, широкоплечий приземистый мужик. Человек отчаянный, не раз доказывавший это во время стычек с лешковскими, которые претендовали на торговые места рядом с магазином «Рыба», стоящим на трассе.

Пятым – Петр Стрельцов. Позиция была выбрана из соображений оптимального места в колонне. У него был и обзор, и возможность управлять действиями первой штурмовой четверки.

В середине были, как водится, середнячки, полезные во время атаки исключительно за счет своего количества. Как говорится, типичное пушечное мясо.

В хвосте плелись не рассчитавшие дозу, то есть выпившие водки сверх своей меры. Но и они могли принести определенную пользу при условии грамотной расстановки сил по фронту и на флангах. Эти могли, полностью одурев, переть напролом, не считаясь ни с чем, даже с возможностью быть прошитым автоматной очередью или разорванным фугасным снарядом.

Да, как ни крути, а пьяная удаля – она ведь тоже удаля, хоть и имеет невысокий коэффициент полезного действия... Правда, на сей раз ни об автоматных очередях, ни о разрывах осколочно-фугасных снарядов не могло быть и речи. Однако в любом столкновении, пусть даже мордобойном, тактику участия пехотного взвода в общевойсковом бое никто не отменял. Можно, конечно, попробовать обойтись без нее, но надо быть готовым понести дополнительные потери в живой силе сверх нормативов, заданных в секретных документах Министерства обороны РФ.

Замыкал колонну Алеша Попов. И лучшей кандидатуры для замыкающего подобрать было невозможно – Алеша был пастухом. Не сам, конечно, а его отец. И не сейчас, а когда-то, раньше. Однако кое-какие секреты династийной профессии сын все-таки получил от отца.

Под ногами начало чавкать. Пошли чахлые березки. Умолк птичий щебет. Воздух наполняли какие-то дурманящие испарения.

– Не расслабляться! – гаркнул Стрельцов, – нога в ногу!

Кто это? – испуганно подумал бы человек, увидев странную процессию мрачных вооруженных вилами и ружьями людей, окажись он случайно у них на пути.

Партизаны Великой отечественной войны?

Или же партизаны другой Отечественной – восемьсот двенадцатого года?

Или напротив – чудом уцелевшая группа власовцев, пробирающаяся к немцам?

Или еще кто-то из далеких эпических времен?

Но никак не современники этого случайного прохожего. Не люди из двадцать первого века. Таких там нет, не должно быть!

Вдруг шедший вторым Круглов, успевший опустошить одну четвертинку и ополовинить вторую, завопил: я чую их гадов, чую, они совсем рядом!

И рванул вперед, проламываясь сквозь чахлый кустарник, словно кабан.

– Стой, стой, дурак, приказываю, стой! – закричал Стрельцов.

Но Круглов, был невменяем.

Вскоре его уже не было видно.

Отряд продолжил движение.

Спустя минут десять издали донеслись крики Круглова. Разобрать слова было нельзя, слишком далеко убежал.

– Бьет он их, что ли, уже? – спросил Касаткин Стрельцова. Тот пожал плечами.

Отряд продолжил движение.

Крики Круглова приближались. И вскоре стало понятно, что он кричит: помогите!

Стрельцов приказал ускорить шаг. Но действовать осторожно и расчетливо.

Прошло еще минут пять.

Крики о помощи были уже совсем близко.

И вдруг всё стихло.

Впереди было болото.

Из трясины, подернутой ряской, торчали лишь две ладони с растопыренными пальцами. Пальцы чуть подергивались.

Это агония, поняли зареченцы. Хотя никто из них никогда прежде не видел агонию человека.

Ладони медленно скрывала черная зловонная вода. Было ощущение, что не они уходят вниз, а болотная жижа поднимается вверх. И что это движение неостановимо. Что совсем немного и трясина начнет жадно облизывать сапоги зареченцев и карабкаться вверх, все выше и выше...

Они мгновенно протрезвели.

Хоть были пьяны вовсе не от водки.

Их одурманивала иллюзия, которая объединила их в толпу. И гнала, как безголовое стадо, навстречу погибели.

Хорошо, что река довольствовалась только одной жертвой...

Получилось все по Лебону: *Толпа представляет собой временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение...*

Мгновение истекло.

Толпа распалась на составные элементы, способные мыслить. Мыслить, чувствовать и действовать самостоятельно.

И зареченцы понуро побрели обратно. В место, определенное для них судьбой.

Они поняли, осознали, интуитивно, что бобры и все другие – лоси, кабаны, медведи, зайцы, волки, лисы, все, даже холоднокровные лягушки и рыбы – настоящие здесь хозяева. Что они на планете вечные.

В отличие от человека, который загоняет себя в болото собственной глупости, которая представляется высшим разумом.

Откуда лишь единственный выход – на дно истории.

Превращаясь в донные отложения.

И некоторое время пуская со дна пузыри, наполненные пустотой.

Как-то примерно так.

## Сергей СЛЕПУХИН

\*\*\*

Во сне полустёрт отпечаток эстампа:  
в густеющем сумраке движется кто-то,  
домашний халат и настольная лампа,  
уютно ложится на лоб позолота.

Однажды очнуться от мысли ужасной:  
с тобой повстречаться случится едва ли.  
Выходит, свернул я налево напрасно,  
и поздно теперь нажимать на педали.

### **Рождественское**

*Глебу Михалёву*

Из окон номера на пятом этаже  
всё кажется игрушечным и хрупким,  
деревья в скверике застыли в неглиже  
и тянут к небу мёрзлые обрубки.

Одета молчаливая зима  
в сугробов погребальные одежды,  
и падает на чёрные дома  
звезда с лицом трагическим и нежным.

Изломанные тени за углом,  
январь, бедлам (как всё на этом свете),  
дрянное разливное, гастроном,  
Мафусаил, Камалетдин и третий...

И, отправляя в голубую даль  
глоток последнего коньячного курьера,  
я чувствую, как что-то гаснет – жаль! –  
и постепенно уменьшается в размерах...

---

*Сергей Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. В 2011–2016 годах издавал альманах «Белый ворон». Стихи и эссе публиковались в журналах «Волга», «Звезда», «Нева», «Крещатик», «Новый берег», «Иностранная литература» и др. Автор книг стихов, эссе, романа «Цвета Халдеи», пьесы «Тараканы». Живет в Екатеринбурге.*

\*\*\*

Предвесенье – смутная пора,  
ожидание тепла и пара,  
неопрятность грязного двора,  
серых клумб оттаявшая тара.

Цельсий медлит: греть или не греть,  
водостоки отложили пеньё,  
тени выросли, ого, почти на треть  
в беспокойстве или вдохновенье.

Где же исповедь, открытость – нет как нет!  
Я как снег – обмякший, но не талый.  
Мне сочувствует скрежещущий сосед –  
однорукий, башенный, усталый.

Светлый нескончаемый сквозняк,  
проба эха в путаных кулисах...  
Свет в прозорах. Может, это знак?  
Неминуемого биссектриса?

\*\*\*

Я удаляюсь беспрестанно,  
не зажигаясь, не любя,  
лишился всех, и очень странно,  
теряю самого себя.

Ползут изломанные тени,  
на стеклах дождь и мокрый снег,  
простуда и болят колени,  
зеленый крест ночных аптек.

Глупа спросонья продавщица,  
не может, бедная, понять,  
так отчего же мне не спится,  
какое снадобье мне дать.

Я ей про жизнь, что позабыла течь –  
безвольная, глухая, как th...

\*\*\*

Чахоточные пятна фонарей,  
неровные причудливые пятна...

Опять зима застряла у дверей  
непрошено – не выставишь обратно.

Сыпучий полумрак, Березина,  
разгром, опустошенье, неудачи...  
И бесполезен стих Карамзина –  
о том, что жизнь могла пройти иначе.

Под шапкой снега архитрав лепной,  
закатные часы, утрата света.  
Дышащее молчанье за спиной.  
Что это было? – Не ищу ответа.

\*\*\*

Здесь дом стоял, когда-то люди жили,  
дорогой торной шел за годом год  
давно умерший человек, кружили  
шмели и пчёлы, шумный хоровод.

Но дерево упало в мутный омут,  
зловеще рябь блуждает там и тут,  
когда-нибудь и я, свалившись в кому,  
уйду на дно, забвения приют.

Широкая, приглубная низина,  
ручей ее наполнил и бежит,  
пускает семя по воде осина,  
и сыновьями ель не дорожит.

Мутовка – ответвление растенья,  
весна стремительно летит, как ветерок.  
Весь день парило, наберись терпенья:  
ты непременно повторись в срок.



## Дмитрий РАСКИН

### ДОЦЕНТ БОЛДИН

#### Рассказ

Валерий Александрович Болдин всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное (это у него сарказм такой) в N-ском педуниверситете. В юности он, конечно же, надеялся разрешить фундаментальные философские проблемы, и дух захватывало, но защитился по вполне рутинной, сказать бесконфликтной, теме. Любил читать лекции, был вдохновенный и страстный, открыл философский кружок, но те студенты, что попадали под его влияние, спустя какое-то время наливались таким самоуважением, им так нравилась печать «последней мудрости» на собственных лицах... Интересный побочный эффект, не правда ли? Или эффект как раз самый что ни на есть «прямой»? А ему пора уже подводить итоги, пусть и промежуточные, но все-таки. Зачем? Для вящего мазохизма? Как говорит его однокашник и профессор их кафедры Гоша Подпрудный: «В нашем с тобой возрасте, – им по пятьдесят пять, – год уже за два считается. И никаких гарантий». Говорит, кокетничая, конечно же, ибо уверен, что ему-то как раз гарантирована жизнь долгая, в удовольствии, счастливая, правильная. Точнее, «правильность» для него была залогом и счастья, и долголетия, да и всех радостей, что причитаются ему по ходу жизни.

Болдин не любил университетскую среду. За уозсть и мелочность, прежде всего. Все эти бесконечные пересуды о должностях и защитах, вся бесконечная борьба грошовых амбиций, остервенелый дележ каких-то копеек и нелепых, вполне пластмассовых лавров. Комичное, раздувшееся до совершенно космических размеров самомнение вполне посредственных людей, свято уверенных, что им за их выдающийся вклад недодали, и от того несчастных. Их желчь, их обида на жизнь ли, на мир, их многолетняя, смакуемая ненависть друг к другу... И на это ушло время жизни – его, Болдина, жизни! Ничего страшного, правда? Можно, конечно же, посмеяться, поупражняться все в том же сарказме, что он всегда и делал, но... Сознание, что он, Болдин, все *понимает*, до какого-то времени позволяло ему быть как бы *вне* и как будто бы *над*, но он преувеличивал. Обольщался даже. И, стало быть, это поза, в конечном счете пошлость. Да и не в университете дело здесь... так, по касательной здесь университет. Просто жизнь не сбылась. Получается, он обманывал себя, льстил себе самому посредством этого своего *понимания*? А на самом деле у него – в его жизни и у него – так и не было настоящего, радостного, живого, не было, не было того, что хоть как-то относится к подлинности, к простой человеческой подлинности, хоть к какой свободе – надо признать. А не хочется. Но возраст такой, что действительно, стилем сказать, пора подводить итоги. А их, в общем-то, нет. Плевать! В который раз заговорит себя самого словесами... Прочитаны книги, написаны тексты, много книг и сколько-то текстов, но... так и не произошло, не случилось... А должно было? *Не случилось ничего вообще*. Жизнь не случилась. Он сам не случился?! И что? Что?! Да ничего. Такое вот низенькое, незамысловатое, даже отчасти уютное «ничего». В конечном счете это комично. И безнадежно. Такая отечная непроходимая

---

Дмитрий Раскин родился в 1965 году. Учился в Горьковском пединституте, кандидат культурологии. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Борис Суперфин» (М.: Водолей, 2017) и «Маскарад миров» (электронная книга, Международное издательство Стрельбицкого, 2017, лауреат международного литературного конкурса «Генератор фантастики»). Публиковался в сетевом журнале «Артикуляция», литературном альманахе «45-я параллель», в «Волге» (2019, № 11-12). Живет в Нижнем Новгороде.

безнадежность, а у него есть свои радости, удовольствия и кое-какое творчество с насюками, с претензией на «предельные вопросы», и кое-какие удачи этого творчества – кажется, это нелепо. Конечно, нелепо, но позволяет ему хоть как-то держаться «на плаву», и все ж таки смысл... Если б можно было начать все вновь, с белизны листа! Ладно, все это слова. Да и вышло б примерно все тоже самое. Что, он себя не знает?! То есть не в этом дело.

Несколько лет назад кафедру возглавила Ольга Макарова, любимая ученица профессора Глузьева. Тот давно уже заведовал кафедрой, попирая все возрастные цензы, какие только есть. В ректорате решили, хватит. Глузьев и сам понимает, что хватит. Предложил кандидатуру Ольги. В ректорате не возражали, кафедра, разумеется, за. Так Ольга стала начальницей. Тридцать пять лет всего, самая молодая завкафедрой в городе. У нее высокооплачиваемый муж, и работает она не ради денег, из честолюбия. В отличие от своего предшественника, она не барствует, не скидывает написание бесконечных бумаг на подчиненных, много, можно сказать, до упаду, пишет сама. В ее терминологии – пашет. Подтянутая, сухая, с длинным узким лицом, находит какую-то поэзию во всей этой вузовской бюрократии. Кафедра должна восхищаться ее работоспособностью и тем, как она не щадит себя. А она действительно себя не щадила в этом своем священнодействии. В качестве заведующей она оказалась жестче и авторитарнее своего предшественника, тот мог обсуждать, советоваться с коллективом, она же доводила до коллектива принятые ею решения, и только. По отношению к самому профессору Глузьеву (он оставил себе чисто символическую нагрузку, так, «для тонуса») она довольно быстро усвоила покровительственно-нисходительный тон. Глузьев обескуражен, закурил губу.

Ольга придавала большое значение патриотическому воспитанию. И ладно, если б воспитывала студентов, взялась и за преподавателей. В том числе и за тех, у кого сама когда-то училась. А тут как раз, как хихикнул Гоша Подпрудный, «мы снова оказались великой державой».

Ольга назначила заседание кафедры. Тема: известный московский филолог высказался о прискорбном состоянии современного русского языка. Ольга заготовила резолюцию, за которую все должны были проголосовать. Но мало того, что проголосовать, каждый прежде должен был высказаться. Все и высказались. «Как он смел?!» «Посягнул на самое святое!» «Так оскорбить язык Пушкина и Тургенева!» «И кто! Кто!» – тут уже обсуждалась национальная принадлежность филолога, за которой скрывалась (не могла не скрываться!) еще более злокозненная национальность. «Он, – вдохновляется Гоша Подпрудный, – как какой-то Дантес. Нет! даже хуже Дантеса, потому что нанес совершенно предательский удар в спину нашему языку». «Русофоб! Ненавидит наше величие!» – подхватили все. Болдин всегда поражался нелюбви своих коллег к свободе. Бескорыстной их нелюбви, потому как свобода, если подумать, лично им ничего плохого не сделала. И получился на кафедре очередной сеанс коллективной мены свободы на Величие. Обменяли то, чего не имели, на то, чего не будет.

– А я даже рад, что письмо этого, – профессор Самсолов называет фамилию московского филолога, – увидело свет и стало событием. Благодаря ему мы не просто сплотились – достигли уже какой-то предельной консолидации.

Доцент Изгоскин высказался в том духе, что его патриотическим чувствам уже тесны академические рамки, и он готов поехать в Москву, дабы набить морду...

«Кажется, он намекает, чтобы ему оформили командировку и выдали суточные», – пробурчал себе под нос Болдин.

Когда очередь дошла до самого Болдина, он сказал:

– Давно уже, где-то в девяностых мелькнул в новостях сюжет: гей-парад в Италии, прохожие, в том числе благообразные старички, приветствуют действо, машут ручками, радуются...

– А теперь попробуйте перейти к делу, если можно, конечно, – Ольга смотрела на него своими немигающими глазами.

– А я уже перешел, – говорит Болдин, – старички радуются, машут и не помнят, совершенно искренне не помнят, как в юности рукоплескали, радовались расправам Дуче над геями.

– Валерий Александрович, вы это к чему? – раздалось несколько раздраженных голосов.

– К тому, что придет время, и вы все забудете, что разделяли всецело «восторги сегодняшнего дня», не вспомните о нынешней своей «предельной консолидации». Вы снова будете искренни и не виноваты.

Кафедра дала Болдину решительный отпор, что и было занесено в протокол.

– Кстати, Валерий Александрович, что-то вы давно ничего о Крыме не говорили, – уела его Ольга.

– Как говаривал незабвенный Павел Иванович Чичиков: «Закон! Закон! Я немею перед законом», – ответил Болдин.

– Валерий Александрович, а вы попробуйте как-нибудь эвфемизмами. Можно же, а? – разбивает мысль своей начальницы Гоша Подпрудный.

– Можно. Но тошно, – налился желчью Болдин.

Вечером ему позвонил Гоша Подпрудный, начал в своей манере:

– Валерочка, мне кажется, ты это как бы зря. Надо уж как-то себя сдерживать. А Ольга Павловна наша, я подозреваю, баба злопамятная. И в протокол занесла. Могла бы и не заносить, ограничиться устной выволочкой, так нет, постаралась. Так что ты, безусловно, зря.

– Конечно, зря. Но легче стало на душе, – тут же, пытаясь язвить на собственный счет. – Мерзко, но легче.

– Стоит ли ради минутного, так сказать... а жизнь продолжается, жить-то надо, ведь так? А баба карьерная и злопамятная, так что, сам понимаешь.

Болдин сначала подумал, что Гоша звонит, дабы смягчить и сгладить – еще бы, он, друг, однокашник, пусть сам почти что не нападал на Болдина, но поддержал тех, кто нападал. И проголосовал как надо. Теперь же он видит, Гоша дает понять, доцент Болдин, когда его начнут выдавливать с кафедры, не сможет рассчитывать на заступничество профессора Подпрудного и не должен комментировать его мольбами и требованиями о заступничестве.

Но ничего страшного все ж таки не произошло. Ольга была с ним корректна. Представился случай, урезала ему нагрузку, не без того, конечно. Болдин понимал, когда вдруг оказывается свободным какой-нибудь спецкурс, ему бессмысленно претендовать. И к его писанию она придиралась (по плану кафедры он должен был написать учебное пособие, разумеется, не нужное никому, кроме самого этого плана), заставляла переделывать. Довела тем самым мертворожденное, сделанное, так сказать, «отвратя лицо» пособие до полной мертвечины и безликости. Это у нее считалось профессионализмом. Неприятно, конечно, но ничего не совместимого с жизнью не было. Во всяком случае, пока. Главное, только не подставляться. Очевидно, она обнулила его рейтинг лояльности, если только он действительно есть, но говорят, что вроде бы, да – лежит у каждого в личном деле. Но рейтинг сей никак не сказывался на его жизни, опять же, *пока*.

Когда Ольга забирала у него часы, неприятно было, но, опять же, не смертельно, ибо у него подработка в трех негосударственных вузах. А теперь уже всё – негосударственное образование государство пустило под нож. А жить как-то надо. (Гоша здесь прав.) Правда, теперь, когда он один, требуется ему не так уж и много... но все равно не хватает, м-да.

После развода и всех прилагающихся к нему мук он наслаждается одиночеством. В однокомнатной квартирке, пусть далековато от центра, но зато экология... И, главное, полнейшая его анонимность в пейзаже: ни одного знакомого ни на улице, ни в магазине, он даже своих соседей по лестничной клетке не знает. Его мир: приготовление для себя нехитрой снеди, книга, по субботам бокал недорогого виски перед сном. Ему хорошо. Как никогда хорошо. Казалось бы, должны были возникнуть какие-то тихие, может быть даже гармоничные образы, умиротворяющие мысли, но чувства его мелки, а голова забита вообще какой-то требухой. И это покой? Да, наверно, покой! Такой вот, такого качества, ему под стать... конечно, под стать, в этом надо признаться.

Можно даже сказать, не просто покой, а гармония. Это он привычно прикрывается самоиронией. Но это действительно гармония! И она того же самого качества. Он, Болдин, наконец, примирился с самим собой и (да простится здесь пафос!) с жизнью, с миром... Вкус и привкус не очень, но ничего, он примет, как-нибудь свыкнется. Уже свыкся. Это такой налог на покой и гармонию.

Нет, конечно, он трепыхался, пытался... были, были попытки начать себя заново – получалось фальшиво, он просто не сразу понял. Хотя, эти его кривляния сами по себе и были достаточно интересны, да?

Понимает прекрасно, что не дорос до того, что называют торжественным, выпренным словом *страдание*. Да и случись вдруг *страдание*, он бы не выдержал. Где уж ему. Но и отсутствие *страдания* все-таки унижительно.

По субботам к нему приезжает Верочка, ей нет еще пятидесяти, но выглядит старше него. Говорит о себе, о своем, ну да, о проблемах своей взрослой дочери, иногда о том, как и чего у них там было, не сложилось с мужем (она три года как одна). Все понятно и предсказуемо, он знает, что и с какой интонацией она скажет в следующую минуту, но у нее без агрессии, не утомительно, не изматывает. Это главное для него. Получается, Верочка под стать этому его обретенному покою.

Кстати, она врач. И это удачно, с учетом возраста и «уязвимой, потрепанной физиологии» Болдина. Это он к тому, что встретит с ней старость? Праздная, лишняя мысль... но как будто разумная, м-да.

Он умеет слушать, он участлив, дает советы. Ему нравится так, быть заботливым, чутким и добрым, когда это не слишком к чему обязывает.

В постели Верочка была добросовестна, но не слишком-то интересна. Зато потом хорошо так лежать с нею рядом, долго и молча – опять же, покой.

Проводив Верочку, он садится, смакует вискарь, закутавшись в теплый плед. Это такая картинка, даже, наверно, кино для зрителя Болдина. И зритель изо всех сил пытается быть снисходительным, можно сказать, легковерным.

Болдин нравился студентам, но им не нужна та глубина предмета, что была ему интересна, с него требовались «простота и доступность», давно уже возведенные в сан «методически правильной подачи материала». Доступность и простота – это, казалось ему, не просто требование руководства, это дух и суть времени. Что ж, если доступность, можно утешиться стилистическими изысками. Но какие тут, к черту, изыски?! Вот, например, Болдин выдст экспромтом какой-нибудь парафраз Булгакова, если к слову придется, а они Булгакова вообще не читали. Он со своим Булгаковым для них марсианин. И ему самому становилось неловко, хорошо, что студенты этого не замечают. Поэтому студенты не могли оценить его обаяния и девочки в него не влюблялись. Да и он пока еще не в таком возрасте, чтобы простить девичьему очарованию равнодушие все к тому же Булгакову. То есть Болдин не смог бы влюбиться в свою студентку. Кстати о любви: однажды Болдин зашел в банк, снять кое-что со своего счета. Счет у него был, но он явно не из тех, что вселяют в своего владельца уверенность в завтрашнем дне или же вызывают уважение у самого банка. И тем не менее Болдина взяла в оборот сотрудница банковского офиса, миловидная, совсем еще юная, видимо, только что получила диплом. Она обрушила на Болдина поток предположений: тут и покушка золотых юбилейных монет, и счастливая возможность играть на производственной бирже, и всевозможные дисконтные карты... Но умилило Болдина вот что: «Мы можем открыть вам вклад для вашей второй женщины. И жена никогда не узнает, даже если будет развод или вступление в права вашего наследства. Мы понимаем, что такое поздняя любовь». Девочка явно шпарила по какой-то банковской методичке. А у него, Болдина, не будет уже «поздней любви». Да и не было любви вообще. Если вдуматься, не было. Все получалось у него бездарно и тягостно. Он уставал от своих женщин и от себя самого – не хватало воздуха. Женщины считали его эгоистом, Ирина, его жена, теперь уже, слава богу, бывшая, употребляла для вящего сарказма: «себялюбец». А он давно уже не любит себя, и эта всегдашняя его жалость к себе самому отвратительна. Густая, вязкая жалость. И предается он ей по инерции, по привычке из принципа.

Получается, что назло самому себе – это он уже язвит на собственный счет. Вот вам, пожалуйста, новая грань мазохизма. Ирина, психолог, кандидат наук, не оценила.

Самоирония помогала далеко не всегда. А в последнее время от нее даже делалось хуже – в его жизни не будет уже ничего, *не было самой этой жизни*, а он хорохорится, что-то такое из себя изображает-пытается, прячется в самоиронию, в живость ума и характера.

Открыл электронную почту, там письмо от Ольги Павловны. Анкета с полусотней вопросов, она рассылает и преподавателям, и студентам... заполнить не позднее пятого числа. Ну да, в рамках ее программы «мониторинга патриотизма». Что там? «Какие чувства вы испытываете, когда слушаете исполнение Государственного гимна?» (указать вашу первую, спонтанную реакцию). «Почему вы не вывешиваете у себя на балконе Государственный флаг?» (В случае отсутствия балкона: «почему не вывешиваете в окнах?»). «Кого из героев современности вы рекомендовали бы молодежи в качестве примера?» (Не более трех персоналий). Писать то, чего она ждет – унинительно. Отвечать серьезно и честно – глупо. Отвечать издевательски – совсем уже потинейджерски получится у него.

Он живет себе и живет. Не в восторге, конечно, от процесса, но и трагедии нет... драмы тоже. Давно перерос себя самого той поры, когда нужна была имитация драмы. Правда, тогда был интересен себе самому все-таки, пытается острить Болдин. А сейчас он привык. Привык к своей жизни, а наивная его уверенность, что он все ж таки лучше, глубже собственной жизни и в нем есть то, чем он к ней, блеклой, безликой, не сводится – это так, в пользу самоуважения, не более.

Чего ему, Болдину, собственно, надо? Смысла? Так у него, в общем-то, есть этот смысл. Не который смысл, да? Может, ему не хватает абсолютного смысла? Болдин строил себе самую гримасу. А-а, ему, кажется, нужен катарсис! Снова гримаса на собственный счет.

Среди многочисленных нововведений Ольги Макаровой самым приятным для коллектива был выход кафедры в кафе. По случаю начала учебного года, новогодних праздников и т.д. Кафе было недалеко от педуниверситета – вкусно, уютно и довольно недорого. (Многим было жалко отрывать от своих чудосочных зарплат, но разве можно противопоставлять себя коллективу?!) Для них сдвигают столы в дальнем маленьком зале. Сегодня им предстояло отмечать окончание учебного года. Как всегда, будет тяжеловесное, натужное веселье не слишком-то жизнерадостных людей, а не идти Болдину все-таки неудобно. Он и так пропустил, не ходил с ними ни на первое сентября, ни перед Новым годом.

Ольга провозгласила тост «за всех вас и за наших студентов».

– За нашу неотразимую и очаровательную Ольгу Павловну! – поднялся с бокалом Гоша Подпрудный. – Она на своих хрупких, но несокрушимых плечах держит весь этот, не побоюсь слова, монблан учебного процесса, и не просто держит, но поднимает на качественно новый уровень... – Гоша единственный среди них, кто был действительно по природе своей жизнерадостен, – ...ненавязчиво подтягивая нас до той вожденной планки высочайшего профессионализма, задавая при этом совершенно особый и чрезвычайно ценимый всеми нами тон, стиль общения... – Гоша только входил во вкус, – Ольга Павловна наша... – Гоша теперь обращается не к своей начальнице, а к коллективу. Потому, видимо, что скажет сейчас нечто такое, что начальнице в глаза говорить неловко. Переходит на доверительный полупшепот, как бы для того, чтобы Ольга Павловна не услышала, – ...взяла и влила новое вино... – Гоша весьма юмористически заглянул в свой бокал, – ...в наши старые меха, – помимо всего прочего, это шпилька профессору Глуздьеву, его здесь нет, но ему передадут. – И мы, Ольга Павловна, – Гоша снова обращается к своей начальнице, снова громогласен, – не перестаем наслаждаться, так сказать, букетом и ароматом. Не боясь при этом, хе-хе, впасть в своего рода алкогольную зависимость... – жизнерадостная вальяжность позволяла Подпрудному заниматься самым что ни на есть бесстыжим подхалимажем, не теряя самоуважения и достоинства. Из уст кого другого все это могло бы прозвучать грубо, даже скандально, а

ему, Гоше Подпрудному, можно. Интересно, а если Ольга вдруг перестанет быть завкафедрой, Гоша вполне искренно сочтет свою сегодняшнюю речь (если вспомнит о ней вообще) иронией, троллингом, утонченной такой насмешкой над Ольгой Павловной?

- За наш N-ский педуниверситет! – продемонстрировала скромность Ольга Павловна.
- Ура! Ура! – подхватили все.

Вечер вступает в ту свою фазу, когда уже не будет бестактным встать и откланяться, что Болдин как раз и собирается сделать.

– Валерий Александрович! – Ольга будто только сейчас заметила, что он здесь, за одним с ней столом. – С нетерпением ждем вашу анкету.

– Видите ли, Ольга Павловна, мне сначала надо написать довольно много бумаг, которые относятся к числу моих прямых обязанностей как доцента кафедры.

Ольга усмехнулась, дескать, какой намек, надо же! Намек на то, что она не вправе требовать с него этого «теста на патриотизм». Усмехнулась выразительно так, давая понять, что он достаточно жалок, как всякий, кто у нас вознамерился «качать права».

– Я уважала бы ваши взгляды, Валерий Александрович, если бы вы сами их уважали. А вы даже боитесь изложить их открыто и честно в этой несчастной моей анкетке. Почему? – она смотрела на него этим своим фирменным немигающим взглядом.

И что? Сказать ей, что не заполнил ее анкету просто из такта? Из стилистических соображений, точнее.

- Я оценил вашу логику, Ольга Павловна.

Зашел Женька. Надо же, в кои-то веки удостоил отца своим высочайшим вниманием. Болдин выговаривает ему и сам понимает, что глупо. У них уж давно сложилось – общаются изредка, ненавязчиво, не обременяя друг друга своими рефлексиями и проблемами. Это, кажется, устраивало их обоих. А сейчас что, Болдину захотелось участия? Он начинает рассказывать, подробно и сбивчиво. Принуждает сына к участию? Насколько он понимает, у Женьки не было каких-то особых обид на него. И во всей истории с разводом он сочувствовал отцу. Несколько сочувствовал. У него всегда все получалось «несколько». Несколько увлечен работой, несколько любит свою Леру. И с чего это ему, Болдину, претендовать вдруг на нечто большее, на то, чтоб выпасть из этого ряда, подняться над ним? Хорошо, что он там вообще есть.

Болдин добился, сын ему несколько сочувствует. Как, полегчало? Ему надо сейчас говорить о том, что жизнь прошла даром, бездарно и даром, и сделать ничего нельзя, а он занудствует о кафедре. Наконец, Женя сказал, а что если папе того, ну в смысле, соблазнить эту Ольгу Павловну. Ему кажется, что это остроумно, да и устал он уже сочувствовать. Болдин сразу же сбился, сник. Пытаясь подыграть Женьке, сказал только, что пока что не замечал у себя склонности к некрофилии.

Болдин спрашивает Женьку о его делах. О себе Женя говорит уже другим, потеплевшим тоном, Болдин честно пытается сосредоточиться, вроде бы получилось, он вникает в дела, обстоятельства сына. И попытался что-то такое ему посоветовать. Женя хмыкнул, вроде даже одобрил этот его совет, что вообще-то редко бывает. Может, потому, что обсуждают сейчас они в общем-то пустяковое для Жени житейское затруднение. Вдруг мысль: а Женька не интересен ему, и не как-то там, с оговорками – неинтересен вообще! Пусть он и любит его... насколько может.

- Насколько можешь, папа, – Женя, кажется, угадал, о чем он сейчас. – А все твои попытки чего-то большего... твои претензии на нечто большее, стоит ли?
- Попытки не очень-то и частые, – съязвил Болдин. – Не обольщайся.
- Пап, в холодильнике есть чего? А то я прямо с работы

Часто ли в его жизни бывало необратимое? В общем-то, редко. Слава богу, конечно. Если не считать того, что необратима сама эта жизнь. «Тоже мне открытие, да?» Его жизнь! Почему

она оказалась настолько нелепой и зряшной?! А то немного, что в ней было хорошего, светлого, доброго, получалось каким-то плоским у него, тут же теряло сок, достоверность, смысл. Но он, подслеповатый и самодовольный, верил в реальность этого своего «лучшего», «главного». И даже когда изводил себя мыслями о неудавшейся жизни и собственной никчемности, все равно, в глубине ли, каким-то ли краешком, верил. Так и прожил с этой верой. Стыдно как! Почему? Это ж просто недоразумение. А такой нестерпимый стыд. Жизнь как недоразумение. Собственная правота в протяженности жизни по недоразумению. Суть и смысл по недоразумению. Собственная глубина по недостатку воображения. Перечислять дальше?

Независимо от того, сколько ему еще осталось, а осталось, скорее всего, немало – будет все то же самое. И не денешься никуда – врать себе самому не надо. Можно, конечно, увлечься каким-нибудь экстравагантным хобби, найти себе женщину поинтереснее Верочки, чтоб было лестно для его самолюбия, ну и, разумеется, продолжить, продолжать свое всегдашнее «вопросание о предельных вопросах Бытия».

Как нелепо. Невкусно, нелепо. Если б можно было не чувствовать и не знать! Всю жизнь копался в себе: то с наслаждением, то с отвращением, а чаще всего совмещая, а *пустота* оказалась проста, безжалостна и не по силам... Так и надо ему, заслужил, что уж... не спорит. Если можно было б хоть сколько-то воздуха, света...

Позвонил Подпрудный:

– Значит так, Валера! Они объявят конкурс на должность доцента. Как ты, наверное, понимаешь, на твою должность. Естественно, с соблюдением всех сроков и норм. Они ж не вчера родились, правда? – «Они», такой эвфемизм. Подразумевается Ольга Павловна. Гоша не хочет лишний раз поминать ее имя всуе. – Нашелся доцент, не знаю, нашелся или они нашли, будет претендовать. Он из политеха, с гуманитарной кафедры, – упреждая желание Болдина выспросить подробности, – фамилии не знаю. Честное слово, не знаю. Да и какая разница. Как объявят конкурс, сам все прочтешь. – С издевкой, но не над Болдиным, а над интригой: – Так что, Валерочка, готовься. Победит сильнейший.

– Спасибо, – Болдин тронут, не ожидал от Гоши. Для него это поступок. Пусть и знает, что Болдин его не сдаст, но решиться на такой звонок... Гоше пришлось себя преодолеть.

– Погоди благодарить, – Гоша снова становится как всегда вальяжным. – В институте пищеварения, – это он так называет институт пищевой промышленности, – открылась вакансия, правда полставки, и только культурология, но в твоей ситуации... понимаешь сам. В общем, походи к ним. Сразу. Чем быстрее, тем лучше. Понял? Все, теперь можешь благодарить, – и тут же резко, не без тревоги в голосе: – Только на меня не ссылайся. Ладно?

Болдин понял, Гоша Подпрудный делает это для очистки совести, так, заранее. Он же не вступит за него, Болдина, и проголосует так, как надо Ольге Павловне. Гоша любит, когда у него чистая совесть.



ГЕОРГ ХАЙМ / GEORG HEYM

(1887–1912)

«МОРСКИЕ» СТИХИ

*Перевод, комментарии Алёши Прокопьева*

**Das Totenschiff<sup>1</sup>**

Die Sonne sank weit hinten ins Meer  
Ein fahler Schimmer umsäumt die bleiche Stirn des Alls.  
Ich steh auf einem Nachen morsch und leer  
Ich steh und treib in die Nacht.

Da glimmt im bleichen Schein  
Eine ferne Sonne auf.  
Du sollst das Ziel mir sein,  
Dir lenk ich den Nachen zu.

Zu dir, du Einer, will ich fahn  
Du großer Geist des Alls.  
Ich zieh auf leuchtender Sternenbahn  
Ich zieh, ich zieh in die Ewigkeit.

**Мёртвый корабль**

Солнце упало в море в дальнем краю,  
Вкруг лика вселенной бледный нимб воссиял.  
Один я, в ялике я среди волн стою,  
Один, и правлю в ночь ненадёжный ял.

И вспыхнуло вдруг  
Солнце, о бледный блеск.  
О ты, мой друг,  
К тебе я плыву, к тебе.

К тебе, Дух великий в руке  
Вселенной, Единый Ты.  
По сияющей звёздной реке  
В Вечность иду.

1903



**Am Rand der Flut, auf dem Korallenriff...<sup>2</sup>**

I

Am Rand der Flut, auf dem Korallenriff  
Lag der Taifun. Mit Basiliskenblick,  
Aus kleinen Lidern, wog er das Geschick  
Der Dschunken, langsam zählend Schiff bei Schiff.

Nun blies ein Wölkchen er und schob's ins Meer.  
So sanft schwamm's auf den Wassern, und so weich.  
Ein Federchen auf einem Ententeich,  
Am Horizonte fuhr es leicht einher.

Da es die Perlenfischer ferne sahn,  
Erschrak ihr tiefstes Mark. Sie rissen ein  
Der ausgespannten Segel helle Reihn,  
Es kappte schnell die Maste jeder Kahn.

Die Schätze warfen alle sie hinab.  
Die Perlen rollten in das Meer zuhauf.  
Und da sie wieder sahn zum Himmel auf,  
Da war er grau, wie ein getünchtes Grab.

Nur im Zenit war noch ein rundes Tor,  
Ein gelber Trichter, wie ein riesger Schlauch,  
Draus blies zuerst ein nebelreicher Rauch,  
Da sprang der Sturm aus seinem Loch hervor.

Ein blauer Drache sprang er auf die Flut.  
Das Meer wuchs ihm entgegen riesengroß,  
Im Kreise warf's zum Himmel seinen Schoß  
Und bis zum Grunde fuhr des Sturmes Glut.

In innrem Feuer sogen Mund an Mund.  
Sie brüllten laut in der Umarmung Kraft,  
Blitzarmig hielt der Sturm das Meer [umklafft]  
Und Feuer tanzten auf dem Wogenschlund.

Da sie gerast, und matt ward ihre Lust,  
Ward still der Sturm und glatt der Wogen Kamm.  
Doch, wo der Dschunken kleine Flotte schwamm,  
Da trieben Trümmer auf des Meeres Brust.

II

Was tut uns dies, daß viele sterben sollen!  
O unermessnes Reich, o ungeheure Weiten,  
Wo sich des gelben Stromes Wogen breiten,  
Die langsam durch die großen Städte rollen.

Wohl manches Jahr sind wir auf ihm gefahren,  
Wir kamen nie zum Untergang der Tage.  
Wir kamen nie zu anderer Menschen Schlage.  
Nie sahn die Männer wir mit Feuerhaaren.

So groß ist China! Unsres Stammes Zunge,  
Wir hörten sie von jedem Schiffe nennen,  
Wir hörten, wie den Ahnen ward gesungen,  
Und sahn am Kiel der Götter Lämpchen brennen.

Wir sahn die Städte, sahn die Felder grünen,  
Drauf Reis sie bauen für uns Millionen.  
Wir sahn der Opiumesser Göttermienen,  
Wenn nach dem Mahle sie in Wolken thronen.

Europa, kleiner Fleck, der in den Zeiten  
Vor uns zergehn wird, wie im leeren Raume  
Ein Bläschen platzt, das aus dem Seifenschäume  
Ein Kind blies in der hohlen Lüfte Weiten.

O Abend, wenn ins Meer die Dschunken segeln,  
Und wenn der Wind aus vollen Städten trägt  
Des Feuerwerks Gelärm, der Priester schlägt  
Die Tempeltrommeln mit den erznen Schlegeln.

Doch wunderbarer war als je ein Traum,  
Da fern die Sonne sank im Wolkenreiche,  
Und die Flamingos am Lagunenteiche  
Erglänzten auf der Brust wie Rosenflaum.

*11. Juli 1909*

### **В засаде на коралловом атолле...**

I

В засаде на коралловом атолле,  
Как василиск, тайфун таился днём,  
Подсчитывая джонок утлый сонм,  
За лодкой лодку, гиблую их долю.

И выдул облачко он в сон морской,  
Как бы в пруду поплыл утиный пух,  
В котором скрылся весь задор и пыл  
И въехал в горизонт и там потух.

Но кровь застыла в жилах рыбаков,  
Охотники за жемчугом снесли

Все паруса, срубили мачты и  
Избавились от тяжких жемчугов.

Всё в море побросали, весь улов,  
Жемчужины пошли ко дну домой.  
И к небу взор подняв, о боже мой,  
Увидели: оно черней гробов.

И лишь в зените круглый глаз как вход,  
Воронка жёлтая, брандспойт, кишка,  
Откуда мгла туманная – тяжка,  
И шторм, как хищник, лапами вперёд.

Драконом синим он махнул в поток,  
Гладь моря лоном вздыбилась пред ним,  
Гигантская, ввинтилась в небо, сим  
Толкая в бездну, чтоб он там истёк.

И вжались вдруг, дыша огнём рот-в-рот.  
Душа друг друга, словно бы врага,  
Шторм тискал море, [вжавши] в берега,  
Огни плясали в бездне страшных вод.

Отбушевали, похоть утолив,  
И улеглись: стал ровным гребень волн.  
Но там, где джонками поток был полн,  
Раскинулся обломками залив.

## II

Что нам с того, что гибнуть миллионам!  
Безмерных царств чудовищные дали,  
Где жёлтые потоки колыхали  
Тьму волн, по городам катясь спалённым:

Мы годы плыли по волнам и годы,  
День не кончался, и ни разу сами  
Не видели, с горящими власами,  
Людей другой неведомой породы.

Как же Китай велик! Но с каждой барки  
Язык родной нас окликал нередко,  
Мы слышали, как пели наши предки,  
Под килем – огоньки божеств так яркие.

Мы города там видели, и риса  
Плантации, что кормят мир до края,  
Мы видели божественные лица  
В плену блаженства в опиумном рае.

Европа, крошечным пятном, задолго  
До нас вдруг лопнувшая, словно мыльный  
Пузырь, что мальчик выдул из обильной  
Пены пространства полого – невольню.

Закат, когда все в море вышли джонки,  
И ветер шум доносит городов,  
Фейрверков, где монах-буддист готов  
Бить в барабан колтушкой медно-звонкой.

Но всё ж чудеснее всех дивных снов  
Цвет розовый: закат на берегу, на  
Всех облаках, фламинго, сон, лагуна,  
Пух розовый дрожащих облаков.

*11 июля 1909*

### **Gegen Norden<sup>3</sup>**

Die braunen Segel blähen an den Trossen,  
Die Kähne furchen silbergrau das Meer.  
Der Borde schwarze Netze hängen schwer  
Von Schuppenleibern und von roten Flossen.

Sie kehren heim zum Kai, wo raucht die Stadt  
In trübem Dunst und naher Finsternis.  
Der Häuser Lichter schwimmen ungewiß  
Wie rote Flecken, breit, im dunklen Watt.

Fern ruht des Meeres Platte wie ein Stein  
Im blauen Ost. Von Tages Stirne sinkt  
Der Kranz des roten Laubes, da er trinkt,  
Zur Flut gekniet, von ihrem weißen Schein.

Es zittert Goldgewölke in den Weiten  
Vom Glanz der Bernsteinwaldung, die enttaucht,  
Verlorner Tiefe, wenn die Dämmerung raucht,  
In die sich gelb die langen Äste breiten.

Versunkne Schiffer hängen in den Zweigen.  
Ihr langes Haar schwimmt auf der See wie Tang.  
Die Sterne, die dem Grün der Nacht entsteigen,  
Beginnen frierend ihren Wandergang.

*August 1910*

### На север

Багрово вздулись паруса на вантах.  
Карбасы чертят воду серебром.  
Свисают сети, тяжкие добром  
От краснопёрых тел чешуеватых.

И снова – к молу, где от близкой мги  
Дымится город. Двигают домой.  
Огни домов – расплывшись по кривой,  
На тёмных волнах – красные круги.

Восток синеет. Каменной плитой  
Недвижно море. День нагнулся, чтоб  
Пригубить свет, и обнажил свой лоб,  
Венок теряя красно-золотой.

Вдали мерцает тучка золотая –  
От янтаря той роши, что смогла  
Отстать от дна, когда курится мгла,  
Но жёлтыми ветвями в ночь вращая.

На них висят утопшие матросы.  
В воде, как водоросли, волоса.  
И звёзды, замерзая, наги, босы,  
Зелёный мрак покинут в полчаса.

*август 1910*

### Der Abend

#### <Versunken ist der Tag in Purpurrot...><sup>4</sup>

Versunken ist der Tag in Purpurrot,  
Der Strom schwimmt weiß in ungeheurer Glätte.  
Ein Segel kommt. Es hebt sich aus dem Boot  
Am Steuer groß des Schiffers Silhouette.

Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald  
Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren.  
Und aus der Schluchten dunkler Tiefe hallt  
Der Waldung Ton, wie Rauschen der Kitharen.

Das Dunkel ist im Osten ausgegossen,  
Wie blauer Wein kommt aus gestürzter Urne.  
Und ferne steht, vom Mantel schwarz umflossen,  
Die hohe Nacht auf schattigem Kothurne.

*September 1910*

**Вечер**

< **День погрузился в пламенный багрец...**>

День погрузился в пламенный багрец.  
Бежит поток, невероятно ровный.  
И парус. И, как вырезал резец,  
Там рулевого силуэт огромный.

На островах осенние леса  
В прозрачность неба – головою рыжей.  
Из тёмной глуби леса голоса –  
Мелодией кифар, но тоном ниже.

Мгла на востоке льётся бутафорно  
Синим вином из погребальной урны.  
А ночь, закутавшись хламидой чёрной,  
На тени встала, словно на котурны.

*сентябрь 1910*

**Der Tod der Liebenden<sup>5</sup>**  
**(Letzte Fassung)**

Durch hohe Tore wird das Meer gezogen  
Und goldne Wolkensäulen, wo noch säumt  
Der späte Tag am hellen Himmelsbogen  
Und fern hinab des Meeres Weite träumt.

«Vergiß der Traurigkeit, die sich verlor  
Ins ferne Spiel der Wasser, und der Zeit  
Versunkner Tage. Singt der Wind ins Ohr  
Dir seine Schwermut, höre nicht sein Leid.

Laß ab von Weinen. Bei den Toten unten  
Im Schattenlande werden bald wir wohnen  
Und ewig schlafen in den Tiefen drunten,  
In den verborgenen Städten der Dämonen.

Dort wird uns Einsamkeit die Lider schließen.  
Wir hören nichts in unserer Hallen Räumen,  
Die Fische nur, die durch die Fenster schießen,  
Und leisen Wind in den Korallenbäumen.

Wir werden immer beieinander bleiben  
Im schattenhaften Walde auf dem Grunde.  
Die gleiche Woge wird uns dunkel treiben,  
Und gleiche Träume trinkt der Kuß vom Munde.

Der Tod ist sanft. Und die uns niemand gab,  
Er gibt uns Heimat. Und er trägt uns weich  
In seinem Mantel in das dunkle Grab,  
Wo viele schlafen schon im stillen Reich».

Des Meeres Seele singt am leeren Kahn.  
Er treibt davon, ein Spiel den tauben Winden  
In Meeres Einsamkeit. Der Ozean  
Türmt fern sich auf zu schwarzer Nacht, der Blinden.

In hohen Wogen schweift ein Kormoran  
Mit grünen Fittichs dunkler Träumerei.  
Darunter ziehn die Toten ihre Bahn.  
Wie blasse Blumen treiben sie vorbei.

Sie sinken tief. Das Meer schließt seinen Mund  
Und schillert weiß. Der Horizont nur bebzt  
Wie eines Adlers Flug, der von dem Sund  
Ins Abendmeer die blaue Schwinge hebt.

*27 сентября 1910*

**Смерть влюблённых  
(Последняя редакция)**

В высокие ворота с золотыми  
Колоннами, где дремлет неба свод  
И медлит вечер, грезя в тонком дыме, –  
Вступает море, горизонт встаёт.

«Забудь печаль, что унесла игра  
Далёких волн, забудь о жизни той,  
Что утонула, ветру петь пора,  
Не слушай же его тоскливый вой.

Оставь свой плач. В подводном мире скоро  
Мы будем жить, в стране теней глубокой,  
Где демоны, их города и норы,  
Спать вечном сном, где не блуждало око.

Там одиночество смежит нам веки.  
Ни звука там не будет слышно в залах,  
Лишь рыбы – в окна, и одни – навеки,  
И веточки качаются в кораллах.

И там, на дне, среди тенистой чаши,  
Мы будем вечно вместе, и одною  
Волной гонимы, поцелуй чаще  
С губ станут сны снимать одной волною.

Ведь Смерть нежна. У прочих мы в тюрьме –  
Она же родину нам даст. Равно  
Укрыв плащом, в могильной скроет тьме,  
Где многим уже царство раздано».

Дух моря начинает глухо петь  
Пустому шлюпу, и, игрушка моря,  
Он в океан уходит умереть,  
Что вздыблен, со слепую ночью споря.

В волнах мелькает смутною мечтой  
Баклан зеленопёрый. О, печаль.  
Под ним утопленников бледный строй,  
Как лилий полоса плывущих в даль.

И тонущих. И море, пасть закрыв,  
Мерцает белым. Горизонт встаёт  
Крылом орла; в синеющий отлив;  
И падает в закатный отблеск вод.

*27 сентября 1910*

### **Der Fliegende Holländer<sup>6</sup> (Letzte Fassung)**

I

Wie Feuerregen füllt den Ozean  
Der schwarze Gram. Die großen Wogen türmt  
Der Südwind auf, der in die Segel stürmt,  
Die schwarz und riesig flattern im Orkan.

Ein Vogel fliegt voraus. Sein langes Haar  
Sträubt von den Winden um das Haupt ihm groß.  
Der Wasser Dunkelheit, die meilenlos,  
Umarmt er riesig mit dem Schwingenpaar.

Vorbei an China, wo das gelbe Meer  
Die Drachenschunken vor den Städten wiegt,  
Wo Feuerwerk die Himmel überfliegt  
Und Trommeln schlagen um die Tempel her.

Der Regen jagt, der spärlich niedertropft  
Auf seinen Mantel, der im Sturme bläht.  
Im Mast, der hinter seinem Rücken steht,  
Hört er die Totenuhr, die ruhlos klopft.

Die Larve einer toten Ewigkeit  
Hat sein Gesicht mit Leere übereist.



Dürr, wie ein Wald, durch den ein Feuer reist.  
Wie trüber Staub umflackert es die Zeit.

Die Jahre graben sich der Stirne ein,  
Die wie ein alter Baum die Borke trägt.  
Sein weißes Haar, das Wintersturmwind fegt,  
Steht wie ein Feuer um der Schläfen Stein.

Die Schiffer an den Rudern sind verdorrt,  
Als Mumien schlafen sie auf ihrer Bank.  
Und ihre Hände sind wie Wurzeln lang  
Hereingewachsen in den morschen Bord.

Ihr Schifferzopf wand sich wie ein Baret  
Um ihren Kopf herum, der schwankt im Wind.  
Und auf den Hälsen, die wie Röhren sind,  
Hängt jedem noch ein großes Amulett.

Er ruft sie an, sie hören nimmermehr.  
Der Herbst hat Moos in ihrem Ohr gepflanzt,  
Das grünlich hängt und in dem Winde tanzt  
Um ihre welken Backen hin und her.

2.

Dich grüßt der Dichter, düsteres Phantom,  
Den durch die Nacht der Liebe Schatten führt,  
Im unterirdisch ungeheuern Dom,  
Wo schwarzer Sturm die Kirchenlampe schürt,

Die lautlos flackert, ein zerstörtes Herz,  
Von Qual durchlöchert, und die Trauer krankt  
Im Tode noch in seinem schwarzen Erz.  
An langen Ketten zittert es und schwankt.

Sein roter Schein flammt über Gräber hin.  
An dem Altare kniet ein Ministrant,  
Zwei Dolche in der offenen Brust. Darin  
Noch schwelt und steigt trostloser Liebe Brand.

Durch schwarze Stollen flattert das Gespenst.  
Er folgt ihm blind, wo schwarze Schatten fliehn,  
Den Mond an seiner Stirn, der trübe glänzt,  
Und Stimmen hört er, die vorüberziehn

Im hohlen Grund, der von den Qualen schwillt,  
Mit dumpfem Laut. Ein ferner Wasserfall  
Pocht an der Wand, und bittre Trauer füllt  
Wie ein Orkan der langen Treppen Fall.

Fern kommt ein Zug von Fackeln durch ein Tor,  
Ein Sarg, der auf der Träger Schultern bebt  
Und langsam durch den langen Korridor  
In trauriger Musik vorüberschwebt.

Wer ruht darin? Wer starb? Der matte Ton  
Der Flöten wandert durch die Gänge fort.  
Ein dunkles Echo ruft er noch, wo schon  
Die Stille hockt an dem versunkenen Ort.

Das Grau der Mitternacht wird kaum bedeckt  
Von einer gelben Kerze, und es saust  
Der Wind die Gänge fort, der bellend schreckt  
Den Staub der Gräfte auf, der unten haust.

Maßlose Traurigkeit. In Nacht allein  
Verirrt der Wanderer durch den hohen Flur,  
Wo oben in der dunklen Wölbung Stein  
Gestirne fliehn in magischer Figur.

*1. Hälfte Januar 1911*

**Летучий Голландец  
(последняя редакция)**

I

От огненного ливня в чёрный гнев  
Впадает океан. Вскипает вал.  
В клочки и тряпки паруса порвал  
Оркан, что с юга встал, рассвирепев.

Кто птицей обогнал его? Власы,  
Где шторм шумит, вокруг чела взвились.  
Огромные крыла с водой слились –  
Со мглой её бескрайней полосы.

Уже Китая жёлтые моря,  
Драконы-джонки нянча, позади.  
Храм, фейерверки, барабан, гляди,  
Мчат в небесах, сверкая и горя.

Дождь не догонит: редких капель стук  
По капюшону. Плащ летит за ним.  
Часы умерших слышит нелюdim  
На мачте, за спиной. Их вечный стук.

Но лёд небытия в пустом лице,  
И маска мёртвой вечности при нём.

Он сух, как лес, обглоданный огнём,  
В мерцающем вокруг эпох венце.

Морщинами легли на лоб века,  
Покрытого, как дерева, корой.  
И пряди белым пламенем порой  
У каменного мечутся виска.

Гребцы иссохшие. Который год.  
Иной матрос, как мумия, как чёрт,  
И руки их, вцепившиеся в борт,  
Пустили корни, словно пни, в рангоут.

Косицы, как береты, вкруг голов,  
Вертящихся на тонких, как тростник,  
И голых шеях: бедным груз велик –  
Столь тяжек амулет в конце миров.

Зовёт их капитан – им хоть бы хны.  
Им осень уши нарастила мхом,  
Зелёный, он дрожит под ветерком,  
Щекочет щёки, словно ждёт весны.

## II

Фантом! тебя приветствует поэт,  
Ловящий тень любви, и вслед за ней  
В собор подземный мчащий, в ночь, где свет  
В лампаде бьётся на ветру сильней.

В разбитом сердце боль, как свет, терпи.  
Она мерцает, смерть ей не указ,  
Свисая чёрной бронзой на цепи,  
Пылает сердце, свет в нём не погас.

Скользит по саркофагам красный луч.  
Пред алтарём монах, простёртый ниц.  
Два кортика в груди, но зряч и злюч  
Огонь любви, кипящий из ключиц.

По чёрным штольням шествует фантом,  
Поэт за ним, плетясь вслепую вслед –  
Луна на лбу сияет мрачным сном,  
И голоса встают, идут на свет –

В пустую глубь, где мука бьёт ключом,  
Звенящем глухо. Виден водопад  
О стену бьющий, горьких пеней гром  
На лестнице, спускающейся в ад.

За тяжкой дверью – факелов огни.  
И на плечах колеблющийся гроб  
Плывёт по штольням, и, совсем одни,  
Щемяще, всхлипы музыки взахлёб.

Кто умер? Кто? Лишь флейт унылый тон  
По коридорам проплывёт за ним,  
И смутным эхом отзовется стон,  
И мрак сидит на корточках, как дым.

Седую полночь разве осветит  
Свеча, желтея, и в собачий лай  
Срывается сквозняк, с подземных плит  
Сдувая пыль, хоть век её сдувай. –

Тоска без меры. А вверху, один,  
Фантом летучий, в горних, во весь рост.  
И тёмный свод над ним – из камня, льдин,  
Магических фигур и новых звёзд.

*первая половина января 1911*

**Columbus<sup>7</sup>**  
**12. Oktober 1492**

Nicht mehr die Salzlufte, nicht die öden Meere,  
Drauf Winde stürmen hin mit schwarzem Schall.  
Nicht mehr der großen Horizonte Leere,  
Draus langsam kroch des runden Mondes Ball.

Schon fliegen große Vögel auf den Wassern  
Mit wunderbarem Fittich blau beschwingt.  
Und weiße Riesenschwäne mit dem blassern  
Gefieder sanft, das süß wie Harfen klingt.

Schon tauchen andre Sterne auf in Chören,  
Die stumm wie Fische an dem Himmel ziehn.  
Die müden Schiffer schlafen, die betören  
Die Winde, schwer von brennendem Jasmin.

Am Bugspriet vorne träumt der Genueser  
In Nacht hinaus, wo ihm zu Füßen blähn  
Im grünen Wasser Blumen, dünn wie Gläser,  
Und tief im Grund die weißen Orchideen.

Im Nachtgewölke spiegeln große Städte,  
Fern, weit, in goldnen Himmeln wolkenlos,  
Und wie ein Traum versunkner Abendröte  
Die goldnen Tempeldächer Mexikos.

Das Wolkenspiel versinkt im Meer. Doch ferne  
Zittert ein Licht im Wasser weiß empor.  
Ein kleines Feuer, zart gleich einem Sterne.  
Dort schlummert noch in Frieden Salvador.

*Ende Februar – Anfang Januar 1911*

**Колумб**  
**12 октября 1492**

Не будет больше океана, ада,  
Ни соли в воздухе, ни чёрных гроз,  
Ни пустоты, пока хватало взгляда,  
Откуда лунный шар вползал и рос.

Уже кружатся синие с усиьем  
Большие птицы на большой воде.  
И лебеди огромные, чьим крыльям  
Петь слаще арфы – где мы, Боже, где?

Уж новые созвездья новым хором,  
Безмолвным, словно рыбы, восстают.  
И, одурманены жасминным мором,  
Матросы спят, забыв про тяжкий труд.

И грезит генуэзец, в ночь склонённый,  
В ночь уносясь, когда внизу, тонки -  
Стеклянные цветы в воде зелёной,  
И орхидей на дне цветут венки.

И города, как на огромной льдине,  
Отражены на тучах там и сям.  
И словно сон о солнечном притине,  
Льёт золотом ацтеков дивный храм.

И тонет в море. Белый, догорает  
Дрожит в волнах туманный огонёк -  
Как звёздочка, Сан-Сальвадор играет,  
Блаженно дремлет. Срок уж недалёк.

*конец февраля – начало января 1911*

**Schatten von Kähnen...<sup>8</sup>**

Schatten von Kähnen, großes Segel streicht  
Vor trüber Dämmerung. Des Stromes Blut  
Wird schwarz und starr, da losch des Abends Glut  
Und nue Erinnern bleibt noch und verbleicht.

Des Bootes Lampe fällt auf deine Hand,  
Ihr Schein geht deinen leisen Adern nach  
Und wandert fort auf deiner Schläfen Rand,  
Er sucht der Seele Schlaf und Traumgemach.

Warum bist du so still? Warum so zu  
Ist deine Hand, die matt herunterfiel.  
Geliebteste. Was hörst du: Stirbst auch du  
An dieser Wolken wildem Trauerspiel?

*Juni 1911*

### **Тень лодок, парус – прочерк в темноте...**

Тень лодок, парус – прочерк в темноте –  
На фоне сумерек. Чернеет кровь  
Теченья. Стынет. Гаснет Запад вновь.  
Лишь память здесь – в бледнеющей черте.

Свет корабельной лампы по твоей  
Руке скользит, вдоль тихих синих вен,  
Виска коснулся, где, скажи скорей:  
Где сновиденья спят, отринув тлен?

Но почему молчишь? Не разожмёшь  
Ладонь, зачем безжизненна рука?  
Любимая. Ты слышишь? Ты умрёшь?  
Там, где играют скорбно облака.

*Июнь 1911*

### **An das Meer <sup>9</sup>**

Dich grüßet noch das Land der Hesperiden  
Im Untergang, mit Wäldern, rot betaut,  
Wenn von den Bergen weit auf deinen Frieden  
Des stillen Herbstes großes Auge schaut,

Und jede Nacht entzünden in den Steinen  
Meergötter sich ein Feuer mit Gesang,  
Wo Segel, die im Mondlicht fern erscheinen,  
Ziehn wie ein Traum den Rand der Flut entlang.

Noch glänzet Joppe. Und noch schreiten immer  
Die Frauen mit den Krügen aus dem Tor,  
Wo deiner Buchten großer Rosenschimmer  
Mit schwarzem Duft erfüllt der Locken Flor.

och rauscht der Nil hervor aus grünen Sternen,  
Ein Brunnen still. Und das Geheimnis klingt  
In weiter Wüstennacht in blauer Ferne,  
Die bis zum Atlas mit dem Fittich schwingt

Und Mauretania, das weitbeglänzte,  
In seidenen Feldern, wie ein Goldhelm schön,  
Wo einst Karthagos Flammen gelb umkränzte  
Gellender Pfeifen Schrei und Meergetön.

Und aller Inseln windig bunte Stirnen  
Hören noch immer deinen Sang, o Meer,  
Wenn unter deines Gottes blauem Zürnen  
Du brausend bäumst um Stein und Höhlen her,

Und rauscht ihr Bergwald deinem Ton zusammen  
Urewig brausend über wilden Pont,  
Wenn nachts der Wetter rote Häupter flammen  
Mit Feuerlocken weit im Horizont.

Manchmal ertönet noch der Hirtenflöte  
Einsames Lied auf deiner Bläue fort,  
Wenn, überrauht von großer Abendröte  
Du leise schwimmst an ihrer Insel fort.

Dann liegen weiß von Stürmen und von Jahren  
Die Wogen ruhig auf dem grünen Strand,  
Seefahrern [gleich, die manche Fahrt gefahren]  
Und kommen wieder in der Heimat Land.

Und etwas tauchen aus der Flut, der matten,  
Gesichter, wesenlos vom Totenreich,  
Wenn draußen weit in grauen Abendschatten  
Der Mond heraufkommt mit den Hörnern bleich.

Ewiges Meer, im Land der Morgenfrühen  
Gewiegt von Winden, wie ein Gott so rein,  
Und wenn der Wolken große Städte ziehen  
Im Abend in verwelkter Himmel Schein,

O Meer, ich grüße deine Ewigkeiten,  
Das unter träumenden Gestirnen wallt,  
Verlorner Wanderer, in die Nacht zu schreiten,  
Ich, wie ein Horaruf, der schnell verhallt.

### **К морю**

Край Гесперид закатом – гиблым, красным –  
Тебя приветствует со скальных плит,

Так над покоем вод твоих всевластным  
Большое око осени глядит,

А по ночам костёр разводят с пеньем  
Морские боги на камнях в тоске,  
И в лунном свете чудным сновиденьем  
Проходят парусники вдалеке.

Блится Яффа. Из ворот кувшины  
Выносит стайкой гибких женщин ряд.  
Бухт розовых твоих блеск совершенный  
На локоны льёт чёрный аромат.

Из звёзд зелёных Нил с журчаньем льётся,  
Как тихий ключ. И тайны тихий звук  
В пустыне ночи в синей дали бьётся,  
На крыльях к Атласу вершащий круг,

Там Мавритания – сиянье бликов,  
Шлем золотой средь шёлковых полей,  
Где Карфаген горел в венце из криков,  
Прибоя, флейт: всё злей и веселей.

И лица пёстрых островов, цветасты,  
Всё слушают, о море, твой напев,  
Когда под синий гнев богов взвилась ты,  
На скалах пена, гриву гнева вздев.

И подпевает лес в горах тебе же,  
Превечный шум его внимает Понт,  
И красно рожи гроз пылают те же,  
Копной горящей застя горизонт.

Бывает, всхлипнет флейта пастуха, и  
В твоей затихнет дали, синева,  
Когда в дыму закатном ты, лихая  
Волна, идёшь, идёшь на острова,

И вот лежат на берегу зелёном  
Спокойно волны, от штормов белы,  
Как моряки [настранствовавшись волю]  
На родину вернулись, тяжелы.

И вроде выплывают из течений  
Безжизненные лица мёртвых царств,  
Рогатый бог Луны в закатной тени  
Бледнея так плывёт во тьме мытарств.

Тебя, о вечный край рассветной рани,  
Как некий бог, баюкал ветер впрок,



Туч города влекутся там по грани  
Сиянья, вянущих небес порог,

О море, вечности твои целую,  
Среди сновидящих созвездий впрах,  
Ночной забытый странник, голос всеу,  
Я возглас стражи, гаснувший в ночах.

*август 1911*

**Die Nacht**<sup>10</sup>  
**(3. Fassung)**

Alle Flammen starben in Nacht auf den Stufen.  
Alle Kränze verwehten. Und unten im Blute verloren  
Seufzte das Grauen. Wie hinter Gestorbener Toren  
Manchmal es fern noch hallt von dunkelen Rufen.

Eine Fackel noch oben bog aus den Gängen,  
Lief im Chor. Und versank wie das Haar der Dämonen  
Rot und rauchend. Doch draußen der Waldung Kronen  
Wuchsen im Sturm und zerrten sich in die Länge.

Und in Wolken hoch kamen mit wilden Gesängen  
Weiß die Greise der Stürme, und riesige Vögel scheuchten  
Über den Himmel hinab, wie Schiffe mit feuchten  
Segeln, die schwer auf den Wogen hängen.

Aber die Blitze zerrissen mit wilden und roten  
Augen die Nacht, die Öde der Säle zu hellen,  
Und in den Spiegeln standen mit Köpfen, den grellen,  
Drohend herauf mit schwarzen Händen die Toten.

Bleibe bei mir. Daß unsere Herzen nicht stocken  
Wenn die Türen sich auftun ins Finstere leise  
Und in der Stille es steht. – Und sein Atem von Eise  
Unsere Adern verdorrt und die Seelen macht trocken

Daß sie dünn wie ein Hauch aus der Tiefe sich lösen,  
Flattern hinaus in die Nacht und sinken und fallen  
Dürr wie die Blätter, die traurig am Boden wallen  
Schlüpfend ins Leere dahin, im Winde dem bösen.

Wenn der Donner Gelächter im Dunkel verhallen.

*etwa Ende August 1911*

**Ночь**  
**(третья редакция)**

Все огни исчахли – в ночи на ступенях.  
Все венки смяты ветром. В луже кровавой стонет  
Ужас одинокий. Тёмный, в жалобах тонет  
За вратами убитых – голос в неясных пенях.

Пламя факела перегнулось, шась в проходы и по стене и  
Побежало по хорам, демонов патлы, упало,  
Красное, коптящее. Кроны роц так рассыпала  
Буря, и они длинней ещё росли, ещё длиннее.

Беловласые старцы бурь возгремели во веселье,  
Тучи с гимнами налетели, птиц огромных распугали,  
С неба ринулись вниз громады: так на дыбщемся вале  
С мокрыми ветрилами тяжко корабли висели.

Красноглазые молнии рыскали хищно, и там и  
Ночь разодрали, светлее чтоб стало в безлюдном зале,  
Чтобы в зеркале, с головами, мертвецы восстали,  
К небесам воздымаясь, чёрными маша руками.

Не уходи! Чтобы наши сердца не преткнулись,  
Как распахнутся двери во Мрак, и во что-то иное, и  
К нам беззвучно войдёт Он. – И дыханье его ледяное  
Высушит нашу кровь и души заревом улиц,

Так что сорвутся они, выдохом тонким, из бездны,  
Скорбно в ночь полетят, чтоб к земле припадать, опадая,  
Словно листья, что гневно метёт по земле без труда и  
В пустоту, недовольно шурша, ветер злой, нелюбезный,

Когда гром отгремит, смех отъявленного негодяя.

*ближе к концу августа 1911*

**Alle Landschaften haben...<sup>11</sup>**  
**[Träumerei in Hellblau]**

Alle [Landschaften] haben  
Sich mit Blau gefüllt.  
Alle Büsche und Bäume des Stromes,  
Der weit in den Norden schwillt.

Блаue Länder der Wolken,  
Weiße Segel dicht,

Die Gestade des Himmels in Fernen  
Zergehen in Wind und Licht.

Wenn die Abende sinken  
Und wir schlafen ein,  
Gehen die Träume, die schönen,  
Mit leichten Füßen herein.

Zymbeln lassen sie klingen  
In den Händen licht.  
Manche flüstern, und halten  
Kerzen vor ihr Gesicht.

*1. September 1911*

**Все ландшафты и дали...  
[Видение в голубом]**

Все [ландшафты и] дали  
Синевой полны.  
Все деревья, все ветви потока,  
Идущей на север волны.

Облаков эскадрильи –  
Каравелла, корвет.  
Кромка рушится неба за ними –  
Ветер и свет.

Вот угаснут закаты,  
Будем видеть мы сны:  
К нам придут они стайкой,  
Лёгких стоп мастера, летуны.

Пальцы, струны, цимбалы,  
что-то шепчут в ответ.  
Теплят свечки, по лицам  
катится-льётся свет.

*1 сентября 1911*

**Die Seefahrer**<sup>12</sup>

Die Stirnen der Länder, rot und edel wie Kronen  
Sahen wir schwinden dahin im versinkenden Tag  
Und die rauschenden Kränze der Wälder thronen  
Unter des Feuers dröhnendem Flügelschlag.

Die zerflackenden Bäume mit Trauer zu schwärzen,  
Brauste ein Sturm. Sie verbrannten, wie Blut,  
Untergehend, schon fern. Wie über sterbenden Herzen  
Einmal noch hebt sich der Liebe verlodernde Glut.

Aber wir trieben dahin, hinaus in den Abend der Meere,  
Unsere Hände brannten wie Kerzen an.  
Und wir sahen die Adern darin, und das schwere  
Blut vor der Sonne, das dumpf in den Fingern zerrann.

Nacht begann. Einer weinte im Dunkel. Wir schwammen  
Trostlos mit schrägem Segel ins Weite hinaus.  
Aber wir standen am Borde im Schweigen beisammen  
In das Finstre zu starren. Und das Licht ging uns aus.

Eine Wolke nur stand in den Weiten noch lange,  
Ehe die Nacht begann, in dem ewigen Raum  
Purpurn schwebend im All, wie mit schönem Gesange  
Über den klingenden Gründen der Seele ein Traum.

### **Мореходы**

Благородные красные лбы побережий, короны,  
Тонут, видели мы, вместе с остовом дня,  
Шумно кроны лесов восходят на троны  
Под грозой и угрозой захлопавших крыльев огня.

Шторм взревел. И обуглил растрёпанный горем  
Сонм стволов. Кровь горела. Но жар уж далёк,  
В воду пал. И как замерло сердце, над морем  
Напоследок любви вспыхнул тлевший ещё уголёк.

Мы же мчали туда, за пределы морей и закатов,  
Наши руки свечою пылали светло,  
И мы видели жилы с тяжёлою кровью в агатах  
Солнца, глухо солнце сквозь пальцы текло.

Ночь пришла. Кто-то плакал во тьме. Безутешно  
За пределы нёс парус косою грешных нас.  
Молча мы обнялись, встав на палубе тесно,  
И смотрели во мрак. И тогда свет погас.

Только облако встало вдали и пылало багрово,  
Ещё прежде, чем ночь началась, в вечном космосе он  
Зазвучал как прекрасный напев без тумана ль, покрова,  
Над звенящею бездной души багровеющий сон.

*3 сентября 1911*

**Mit den fahrenden Schiffen...** <sup>13</sup>

Mit den fahrenden Schiffen  
Sind wir vorübergeschweift,  
Die wir ewig herunter  
Durch glänzende Winter gestreift.  
Ferner kamen wir immer  
Und tanzten im insligen Meer,  
Weit ging die Flut uns vorbei,  
Und Himmel war schallend und leer.

Sage die Stadt,  
Wo ich nicht saß im Tor,  
Ging dein Fuß da hindurch,  
Der die Locke ich schor?  
Unter dem sterbenden Abend  
Das suchende Licht  
Hielt ich, wer kam da hinab,  
Ach, ewig in fremdes Gesicht.

Bei den Toten ich rief,  
Im abgeschiedenen Ort,  
Wo die Begrabenen wohnen;  
Du, ach, warest nicht dort.  
Und ich ging über Feld,  
Und die wehenden Bäume zu Haupt  
Standen im frierenden Himmel  
Und waren im Winter entlaubt.

Raben und Krähen  
Habe ich ausgesandt,  
Und sie stoben im Grauen  
Über das ziehende Land.  
Aber sie fielen wie Steine  
Zur Nacht mit traurigem Laut  
Und hielten im eisernen Schnabel  
Die Kränze von Stroh und Kraut.

Manchmal ist deine Stimme,  
Die im Winde verstreicht,  
Deine Hand, die im Traume  
Rühret die Schläfe mir leicht;  
Alles war schon vorzeiten.  
Und kehret wieder sich um.  
Gehet in Trauer gehüllet,  
Streuet Asche herum.

### На бродячих судах мы

На бродячих судах мы  
Сном летучим неслись  
Сквозь блестящие зимы  
И не в самую близь.  
Уплывая всё дальше,  
Танцевали в краю островном,  
И поток мимо нас проходил,  
Гром раскатами в небе пустом.

Назови города,  
Где бы я у ворот не состриг  
Локон с каждой прошедшей,  
Но не вызнал твой лик?  
А закат умирал –  
Ждал при свете огня,  
Но не ты, шли все мимо,  
Неопознаны, мимо меня.

Звал у мёртвых в краю,  
В отдалённых местах,  
Где селенья покойных;  
Ах, и там только страх.  
В поле вышел, деревья  
С шумом над головой  
В замерзающем небе  
Облетали листвою.

Во все стороны слал я  
Воронов и ворон,  
В серый дым улетали клубами,  
Ныла раной земля: этот стон.  
К ночи падали камнем,  
Крик печальный издав,  
И в железных их клювах  
Венки из соломы и трав.

Слышу, кажется, в ветре,  
Как твой голос продрог,  
Сплю, рука твоя гладит  
Нежно сонный висок.  
Всё уж было когда-то.  
И приходит опять.  
Чтобы, в скорбь завернувшись,  
Пеплом мир посыпать.

**Die Meerstädte**<sup>14</sup>  
**(Entwurf)**

Mit den segelnden Schiffen fuhren wir quer herein  
In die Städte voll Nacht und frierender Häfen Schein.  
Tausend Treppen leere hingen zum Meere breit,  
Dunkel die Schiffer schwangen den Feuerschein.

[Die Gärten der Meere mit silbernen Straßen gefüllt  
Dehnten sich [unleserlich] unter der Sterne Bild  
Und die riesigen Fische gingen im goldenen Kleid  
Mit blitzenden Speeren über die Wasser weit.]

Glocken nicht brummt. Und Bettler nicht saßen am Pfad.  
Rief kein Horn, und niemand den Weg uns vertrat.  
Und die Städte alle waren wie Wände bloß.  
Sterne nur gingen über den Zinnen sehr groß.

Seebäume saßen geborsten im Mauergestrüpp.  
Salzig, und weite [Türme] vor unserem Fuß.  
Brücken zerbrochen standen wie Knochengerüpp,  
Ferne Feuer warfen sich über den Fluß.

*2. Hälfte Dezember 1911*

**Морские города**  
**(набросок)**

Мы вломились на всех парусах в города, место ночи и бед,  
Косо шли сквозь замёрзших и призрачных гаваней свет.  
Тысячи лестниц к морю сбегали равно,  
Шкипера горящим поленом махали темно.

[Серебрились аллеи в морских небывалых садах  
Удлинялись [нрзб.] под фигурами звёзд в городах  
И огромные рыбы в нарядах прошли золотых  
Над водою блистали длинные копья у них.]

Рокот стих колокольный. Нищих как сдуло с дорог.  
Рог молчал. И наставить на путь нас никто не мог.  
Только голые стены – стояли кругом города.  
Звёзды лишь над бойницами двигались иногда.

И в кустах, или это стена, обломки деревьев морских.  
Соль была под ногами, [башни] повсюду, везде.  
И скелеты мостов были сломаны, воздух был тих.  
И далёкие зарева отражались в ясной воде.

*вторая половина декабря 1911*

<sup>1</sup> Популярность «проклятых поэтов» среди немецких экспрессионистов общеизвестна. Но в текстах Г. Хайма Ш. Бодлер и А. Рембо оставили отчётливые и зримые следы. Маринистика в его творчестве, в-первых, инспирирована стихотворениями «Плаванье» Бодлера и «Пьяный корабль» Рембо, а во-вторых, окрашена светом эсхатологии, конца мира.

Среди стихотворений автора есть неопубликованные: ни при жизни в сборнике «Вечный день» (*Der ewige Tag*, 1911), ни в посмертном *Umbra vitae*, 1924, вплоть до 1964 года: *Dichtungen und Schriften / Georg Heym*. Hrsg. v. Karl Ludwig Schneider / Bd. 1. Lyrik, 1964. Виной тому непростая судьба авторского наследия. Но это отдельная тема.

А упоминаю я о ней только в связи с тем, что такого рода стихи буду маркировать здесь как «неопубликованные до 1964 г.» Это раннее, неопубликованное до 1964 года, стихотворение (автору 15-16 лет) проливает свет на дискурс маринистики в творчестве Г. Хайма. Если принять во внимание, что загадочный «Ты» заимствован из стихотворения Бодлера *Le Voyage* (в переводе М. Цветасевой «Плаванье», 1940), последняя часть которой звучит так:

Шарль Бодлер

8

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!  
 Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!  
 Пусть небо и вода – куда черней чернила,  
 Знай, тысячами солнц сияет наша грудь!

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!  
 Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,  
 На дно твоё нырнуть – Ад или Рай – едино! –  
 В неведомого глубь – чтоб новое обрести!

– то получаем основной мотив практически всех «морских» стихотворений Г. Хайма. Плавание в море – чистая эсхатология, парадоксальное «спасение в смерти», ибо ему, Капитану (Смерть в немецком мужского рода) принадлежит Вечность.

<sup>2</sup> Неопубликованное до 1964 г. стихотворение.

Упоминание Китая – также «тень» Бодлера. 2-я часть – одно из ранних описаний души, странствующей в мире смерти, чуждой этому миру и лишённой субъектности.

<sup>3</sup> Из сборника *Der ewige Tag*, 1911.

Перевод опубликован в: Георг Хайм. Вечный день / Пер. с нем А. Прокопьев. – М.: libra, 2020.

<sup>4</sup> Из сборника *Der ewige Tag*, 1911.

Перевод опубликован в: Георг Хайм. Вечный день / Пер. с нем А. Прокопьев. – М.: libra, 2020.

По двум последним стихотворениям (*Gegen Norden* и *Der Abend*) видно, как поэт разрабатывает «античные» мотивы. Здесь их представляют два слова, «венок» – в этом, и «котурны» – в следующем. В какой-то момент под влиянием Д. Мережковского, которого Георг Хайм очень ценил, тема крушения античного мира начинает звучать у него как тема гибели (всего) мира в целом, и частная смерть (см., например, ст. «Смерть фавна») рассматривается в общем эсхатологическом контексте. Немудрено поэтому, что морской пейзаж приобретает дополнительное, подспудное значение, либо неожиданно всплывает как фрагмент в стихотворении, где, казалось бы, ему совсем нет места.

Сопоставленные вместе (и соположенные по дате написания), оба стихотворения выглядят как этюды к одной большой картине.

<sup>5</sup> Из сборника *Der ewige Tag*, 1911 Перевод опубликован в: Георг Хайм. Вечный день / Пер. с нем А. Прокопьев. – М.: libra, 2020.



Претекстом этого стихотворения служит сонет Ш. Бодлера с тем же названием.  
Baudelaire, Charles: Blumen des Bösen. Leipzig 1907, S. 143.

LA MORT DES AMANTS

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,  
Des divans profonds comme des tombeaux,  
Et d'étranges fleurs sur des étagères,  
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,  
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,  
Qui réfléchiront leurs doubles lumières  
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir plein de rose et de bleu mystique,  
Nous échangerons un éclair unique,  
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ;

Et bientôt un Ange entr'ouvrant les portes,  
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,  
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Георг не читал по-французски. Но в 1907 г. «Цветы зла» вышли в переводе графа фон Калькройта, того самого, который за год до этого в 1906 покончил с собой и кому Рильке посвятил знаменитый «Реквием графу Вольфу фон Калькройту». Собственно, эти два литературных факта и составляют событие, важное для нашей темы. Учитывая, насколько ревностно и ревниво он читал всё, что выходило из-под пера Рильке, и принимая во внимание его почитание Бодлера, трудно пройти мимо этого текста, из которого, словно бы мимоходом, мы узнаём, откуда в стихах поэта столько факелов и как они возникли. Факел как сердце умершего в мире (который и сам гибнет), какой однако глубокий след оставил в нём символизм! Но – след скрытый, неявный, нуждающийся в дешифровке. И оттого придающий происходящему особенную глубину.

перевод на немецкий:

W. v. Kalckreuth

**Der Tod der Liebenden.**

Wir werden Lager tief wie Grüfte finden,  
Die leichte Wohlgerüche übersprühn,  
Und seltne Blumen werden sich uns winden,  
Die unter schönrem Himmel uns erblühn.

Die letzten Gluten hauchend, die entschwinden,  
Sind unsre Herzen Fackeln, licht und kühn,  
Und lassen Feuer, die sie hold verbinden,  
Aus unsrer Geister Zwillingsspiegeln glühn.

Wann Blau und Rosig abends mystisch scheinen,  
Laß tiefen Blick uns tauschen, wie ein Weinen,  
Ein Schluchzen, das nur Abschied atmen soll.

Dann schiebt ein Engel sacht zurück die Riegel,  
Und neu belebt er, treu und liebevoll,  
Die toten Flammen und die trüben Spiegel.

Источник: Baudelaire, Charles: Blumen des Bösen. Leipzig: Insel, 1907, S. 143.

В переложении К. Бальмонта:

СМЕРТЬ ВЛЮБЛЁННЫХ

Постели, нежные от ласки аромата,  
Как жадные гроба, раскроются для нас,  
И странные цветы, дышавшие когда-то  
Под блеском лучших дней, вздохнут в последний раз.

Остаток жизни их, почувяв смертный час,  
Два факела зажжёт, огромные светила,  
Сердца созвучные, заплакав, сблизят нас,  
Два братских зеркала, где прошлое почило.

В вечернем таинстве, воздушно-голубом,  
Мы обменяемся единственным лучом,  
Прощально-пристальным и долгим, как рыданье.

И Ангел, дверь поздней полуоткрыв, придёт,  
И, верный, оживит, и, радостный, зажжёт  
Два тусклых зеркала, два мёртвые сиянья.

В версии Н. Гумилёва:

СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ

Ложем будут нам, полные духами  
Софы, глубоки, как могильный сон,  
Этажерок ряд с редкими цветами,  
Что для нас взрастил лучший небосклон.

И сердца у нас, их вдыхая пламя,  
Станут, как двойной пламенник возжен  
Пред очами душ, теми зеркалами,  
Где их свет вдвойне ясно отражен.

Ветер налетит тихий, лебединый.  
И зажжемся мы вспышкой единой,  
Как прощанья стон, долог и тяжел;

Чтобы, приоткрыв двери золотые,  
Верный серафим оживить вошел  
Матовость зеркал и огни былые.

<sup>6</sup> Из сборника *Der ewige Tag*, 1911.

Перевод опубликован в: Георг Хайм. Вечный день / Пер. с нем А. Прокопьев. – М.: libra, 2020.

Стихотворение существует также в переводческой версии Е. Витковского, опубликованной мной в: Георг Гейм. Избранные стихотворения / Составление и пер. с нем. А. Прокопьев. – М.: Carte Blanche, 1993.

Витковский, которому я в своё время этот перевод заказал, спрашивал у меня, кто этот Фантом. Капитан, отвечал я. Капитан «Летучего Голландца», он же Смерть, владетель Вечности. – А, конечно, это же Бодлер! – ответил Евгений Владимирович.

<sup>7</sup> Из сборника *Der ewige Tag*, 1911.

Перевод опубликован в: Георг Хайм. Вечный день / Пер. с нем А. Прокопьев. – М.: libra, 2020.

Только в свете эсхатологических конструкций становится понятен образ Колумба. Это первооткрыватель посмертных миров, образ, удивительным образом роднящий экспрессионизм с поэзией барокко: чудесный мир как воздаяние за праведную жизнь. Правда, в новейшей редакции, начала XX в., и без религиозных коннотаций.

12 октября 1492 г. – официальная дата открытия Америки, день высадки на острове Сан-Сальвадор Багамского архипелага. В стихотворении он мерцает звёздочкой, то есть прямо помещается в небесную сферу.

<sup>8</sup> Из неопубликованного (до 1964 г.), см. комментарий выше.

Стихотворение вошло в составленный друзьями третий сборник поэта, *Der Himmel Trauerspiel*.

И наконец любовная лирика органичным образом вписывается в ту же проблематику частной смерти, смерти отдельного человека как гибели всего мира. Опять мы обращаемся к метафизической поэзии XVII в. Ангел Силезский (1624–1677), например, ставил богословский по своей проблематике вопрос в стихах, рассматривая смерть одного человека, упразднение личности, «я» человека как упразднение самого Бога. Потом этот мотив подхватит в «Книге Часов» Райнер Мария Рильке.

Последняя строка

An dieser Wolken wildem Trauerspiel

*букв.: «В дикой игре печали (скорби) этих облаков»*

диктует название третьего сборника (составленного postmortum друзьями поэта). И это вовсе не «Небесная трагедия», как предлагает редакция «Литературных памятников», а «Скорбная игра облаков», «Скорбная игра небес» или «Там, где играют скорбно облака».

<sup>9</sup> Из неопубликованного (до 1964 г.), см. комментарий выше.

В образе моря, адресате стихотворения, воспевается потусторонний мир, на синкретическом фоне условной «древности», читай: античности. Мощной видится картина застывших волн, которые сравниваются с моряками, вернувшимися домой. Дом при этом, вполне в согласии с барочной и романтической традицией, небеса.

<sup>10</sup> Из сборника *Umbra vitae*, 1924.

«Морские» стихи из этого сборника достигают внутренней зрелости, становятся более цельными, так сказать, «тематически». Синкретизм мотивов достигает здесь огромного размаха. Отсюда известная суггестивность, присущая, впрочем, практически всему экспрессионизму. Но уж больно наглядно она здесь выражена.

<sup>11</sup> Из сборника *Umbra vitae*, 1924.

<sup>12</sup> Из сборника *Umbra vitae*, 1924.

Вспомни облачко, которое выдувает тайфун, притаившийся на атолле, облачко, из которого встанет страшный ураган. Здесь багровое облако – предвестник багровеющего сна, вечного сна смерти.

<sup>13</sup> Из сборника *Umbra vitae*, 1924.

Это же стихотворение в переводе Б. Пастернака опубликовано в: Георг Гейм. Избранные стихотворения / Составление и пер. с нем. А. Прокопьев. – М.: Carte Blanche, 1993.

<sup>14</sup> Из сборника *Umbra vitae*, 1924.

В этом, последнем хронологически, «морском» стихотворении (Георг Хайм и его друг, поэт Эрнст Бальке, утонули, катаясь на коньках, 16 января 1912 г.), описываются города, до которых доплыли мореходы, где уже бушует вселенский, последний, пожирающий мир, пожар.

Михаил БАРУ

## ЧЕТЫРЕ КОНЦА КИТАЙКИ СИНЕЙ

### Лальск

По прямой от Москвы до Лальска около восьмисот километров, но это если по прямой, по которой до него не доехать. Если же по железной дороге, то куда больше тысячи. Удобнее всего сначала до Нижнего, а потом из Нижнего на воркутинском поезде до станции Луза, а уж от Лузы до Лальска всего три десятка километров, но автобус их проходит часа за два с остановками. На такси быстрее, но тоже не меньше часа, потому как дорога до Лальска грунтовая, разбитая лесовозами, осенью и зимой вообще почти непроходимая, а зимой хоть и проходима, но похожа на обледенелую стиральную доску, и ехать по ней надо осторожно переставляя колеса. Аварии, как рассказал мне словоохотливый таксист из Лузы, случаются часто. Недавно вот автобус перевернулся, были жертвы... Он о многом еще рассказывал – о том, что самые высокие заработки в районе на лесоповале, но это всего несколько месяцев в году, да и не всем везет устроиться на такую работу, о том, что большая часть тех, кто работает здесь, вкальвает без продыху на лесопилках, что уезжают на Север и в Сибирь добывать нефть и газ, что половина района «сидит на стакане»...

По уму-то надо бы расстояние до Лальска считать не от Москвы, а от Новгорода, но не Нижнего, а Великого, потому как Лальск основали беглые новгородцы в пятьсот семидесятом году, аккурат в тот самый год, когда Иван Грозный со своим опричным войском устроил в Новгороде такой погром, что некоторые из новгородцев, опасаясь за свои жизни, решили бежать от греха подальше из города. В 1765 году эти события священник Устюжского Успенского собора Лев Вологдин в своем «Летописце о великом граде Устюге» описывал так: «...А когда грозный царь Иван Васильевич казнил новгородцев и своих изменников, будучи сам своею особою в Новеграде, тогда нецыи от граждан совещавшееся, усветовали тайно избежать из Новаграда и вселитися в пуге месте, иде же бог наставит, и тем свободитися царскаго гнева. И тако, оставившее жительство свое Великий Новград, странствовали по лесам, пустыням и непроходимым местам дотолге, донеле же достигли богом наставляеми реки Лалы, в пустом месте течение свое продолжающей, от Устюга на Сибирь в разстоянии 80 верст, и ту поселилися. Пребывающим же им на том месте, начали размножатися и нарекошася по имени реки Лалы лалечана»... Выходит, что не нагрязь со своими опричниками из Москвы Иван Васильевич, Лальска и не было бы. М-да... Как ни крути, а расстояние надо считать и от Москвы тоже.

Бог наставил будущих основателей Лальска пройти, проехать и проплыть от Новгорода больше тысячи верст на северо-восток. В те времена лесов, пустынь и непроходимых мест было более чем достаточно, и потому шесть десятков человек с чадами и домочадцами, со всеми своими ендавами, братинами, запасными валенками, онучами, меховыми рукавицами, нагольными тулупами, наборами рыболовных крючков, рогатинами и капканами на медведей сумели уйти от ищеек царского правительства и добраться до реки Лалы. Правда, насчет пустого места летописец ошибался. В Лальской округе к моменту появления новгородских беженцев уже существовало, еще с начала шестнадцатого века, около десятка деревень.

Кроме деревень со славянскими поселенцами в тех местах обитали еще и племена чуди, которые пришлым воинственным новгородцам были совсем не рады. Чудь можно понять. Живешь ты в этих местах десятки и даже сотни лет, ловишь рыбу, охотишься, а тут приходят совершенно

посторонние люди, норовят обложить тебя данью и обратить в христианство. Поневоле и станешь на них нападать. Правда, нападения эти успеха не имели и мало-помалу чужь отступала все дальше и дальше на восток к Уралу и в Сибирь.

Дотошные краеведы выяснили, что фамилии первых жителей Лальска, который тогда еще и Лальском-то не назывался, в большинстве своем совпадали с фамилиями жителей окрестных славянских поселений, а не с фамилиями, которые были в те времена у жителей Новгорода. Скорее всего на том месте, где возник Лальск, уже существовало какое-то, пусть и небольшое поселение, но... мы не будем копать в этом месте. У нас есть красивая и, как говорит большинство историков, правдивая легенда. Тем более, что упоминается она не в одной, не в двух, а в четырех устюжских летописях. Нам этой легенды для рассказа о Лальске более чем достаточно.

Кстати, о названии. Городок, основанный на высоком берегу Лалы за три версты от впадения ее в реку Лузу, поначалу назывался неблаговучно – Ботище. Происходит это название от древнерусского «ботение», что означает «насыщение, наполнение водой». Стояло поселение у впадения совсем уже мелкой речки Бучихи в небольшую Лалу. Впервые Лальск описан в приправочных книгах дозора Василия Самарина по Сольвычегодскому посаду и уезду за шестьсот двадцатый год: «...В Лальской же волости на реке на Лале на осыпи бывал городок Ботище ниже Николскаго погосту на берегу, а в осыпи церковь Михаила Архангела вверх шатровой ставят ново мирские люди Лальскою волостью, а дворов в осыпи нет, а поставлен острог около Николскаго Лальскаго погосту по реке по Лале по берегу вверх от осыпи, а из острогу трои ворота проезжие да 8 башен глухих, а в остроге государев казенный погреб, а на нем амбар кругом у амбару тын стоячий вострой на иглах, а в нем за замком и за печатью у острожных приказчиков у Овдейки Паламошнова с товарищи государева казна: 12 пищалей затинных, а к ним 1000 ядер железных, да 20 рушниц<sup>1</sup> да обломок рушницы да в 3-х бочках 11 пуд зелья пищального да в станках и усечках и в пуляках 7 пуд свинцу, да 30 стрел, да 10 прапоров зенденных<sup>2</sup> розными цветы да 300 лыж...».

Должно быть это было красивое зрелище – стрельцы на лыжах, вооруженные легкими рушницами и тяжеленными затинными пищалями, с развевающимися перед строем разноцветными шелковыми флагами... Вот только зачем гарнизону этого крошечного острога нужно было десять разноцветных шелковых флагов – ума не приложу.

Правда, к середине семнадцатого века в приправочных книгах Ивана Благого и подъячего Василия Архипова за шестьсот сорок пятый год читаем: «острог весь подгнил, только стоят ворота до башни да и те все ветхи и развалились», но это еще только через четверть века будет, не раньше.

На самом деле Лальский острог был не таким уж и маленьким – в нем было трое проезжих ворот – Никольские, Покровские и Устюжские и восемь глухих башен. И все эти башни, пищали, рушницы, тысяча ядер, пуды свинца, стрелы, пищальное зелье – все это было совсем не лишней предосторожностью. Смута к тому времени официально лет семь как закончилась, но смутьяны в окрестных лесах еще долго не переводились. Прямых свидетельств о том, что жители Лальска или лалетяне, как их тогда называли, принимали участие в боевых действиях, не имеется. Приходили ли к ним воровские шайки поляков, литовцев и казаков доподлинно неизвестно, но в шестьсот двадцать пятом году владельцы деревень, расположенных всего в двух верстах от Лальска, заявили переписчиком о том, что купчие на их земли «пропали в приход казанских татар».

Внутри острога был стандартный по тем временам набор: две церкви, арсенал с оружием, тюрьма, государев кабацкий двор и таможенная изба, в которой собирали налоги со всех торгующих. Нестандартным было то, что дома лальского посада были не разбросаны как попало вокруг острога, а выстроены по улицам: Калининой, Запольской, Кабацкой и Гулыне. Самая длинная называлась Большой. Она и сейчас самая длинная, только называется улицей Ленина.

Надо сказать, что торгующих в лальском погосте было большинство. По данным переписей здесь в шестьсот двадцать пятом году имелось более шести десятков «безпашенных» дворов, то есть таких дворов, хозяева которых не сеяли и не пахали, а занимались торговлей. Переписчики про них так и писали в своих отчетах: «а пашен, государь, у них на Лальском повосте тож

кроме дворов нет; а промышляют оне, государь, Лальского повоста посадские люди отъезжими и тутошними торгами». И то сказать – пахать и сеять в этих местах конечно можно, но при том, что зима здесь длится столько, сколько захочет, а морозы... нет, что ни говори, а промышлять торговлей куда выгоднее. Тех, которые не торговали, а зарабатывали на жизнь ремеслом, можно было перечесать по пальцам – один столяр, один иконник, один кирпичник, один хлебопек и один серебряных дел мастер. Кузнецов, правда, было больше. Они в те времена были кем-то вроде шиномонтажников. Оно и понятно – перекресток торговых путей, а по этим путям идут люди и лошади, лошади, лошади, которых нужно было время от времени подковывать и перековывать.

Тем же, кто не торговал, не столярничал, не подковывал лошадей и не пек калачей, приходилось туго. Часто встречаются в писцовых книгах первой половины семнадцатого века, описывающих Лальский погост, то кельи, в которых живут нищие черницы, «питающиеся от церкви Божией», то нищая вдова Акинья, то нищая вдова Анна, то нищий Ивашка Баран, то нищая Марфа Сенькина, то шесть дворов бобыльских, а в них «живут бедные люди, кормятся в миру Христовым именем». Про бобыля Тимофея Сидорова записано, что он «бродит меж двор». Крестьяне, занимавшиеся в деревнях Лальской волости хлебопашеством, жили немногим лучше нищих. По переписным книгам шестьсот сорок пятого года про жителей этих деревень сказано, что от высоких налогов и неурожая, «от самосовершенной хлебной скудости» ушли они в Вятку, в Сибирь или «бродят по миру». Про некоторые деревни и вовсе записано, что они «пусты и лесом поросли».

И еще о лальских нищих. В шестьсот пятнадцатом году в дозорную книгу вятских городов был записан «нищей Пospelко Лалетин». Обретался Пospelко в Вятке, которая тогда называлась Хлыновым. Это, между прочим, первое письменное упоминание о жителе Лальска. Конечно, нищий это не воевода, не подъачий и не купец гостиной сотни, но дозорную книгу уже не перепишешь. Впрочем, со временем будет и среди лалетян купец гостиной сотни.

Вернемся к жителям Лальска. На протяжении всего семнадцатого века в писцовых книгах то и дело встречаем «а Васька и с братом Ларькою съехали в Сибирь для промыслу», «вдова Марфица Андреевская жена Икконникова сын ея Афонька съехал в Сибирь для промыслу», «Стенька Петров сын Норицын с братом Семейкою съехали в Сибирь для промыслу», «Митька Семенов с детьми с Ивашком да с Петрушкою сбрели в Сибирь...», сын Артюшки Васильева Лучка съехал в Сибирь для промысла, а Данилку Паламошного и вовсе в Сибири убили, и его двор стоит пуст. Каптелинку Саватееву ее дети Нефедко да Ивашко оставили одну с восьмилетним внучком Ивашкой, а сами съехали в Сибирь для промыслов. Это только небольшая часть записей писцовых книг по Лальску за шестьсот сорок шестой год.

Если исключить торговлю, то в Лальском погосте в семнадцатом веке, считай, не происходило ничего. В пятьдесят четвертом и пятьдесят пятом годах в России свирепствовала эпидемия чумы, и по этому случаю в Лальском погосте, как и везде, по указу патриарха Никона служили сорок служб в поминовение умерших и Божественную литургию. Постановили ежегодно в память избавления от морового поветрия в летние месяцы ходить крестным ходом к городским церквям по средам и пятницам, а вокруг погоста в девятое воскресенье после Пасхи. В шестьдесят шестом году сгорели тюрьма, церкви Николая Чудотворца, Благовещения Пресвятой Богородицы вместе с колокольной и церковь Фрола и Лавра. Вместе с церквями в остроге, который и без того еле стоял, сгорели без остатка трое проезжих ворот и восемь глухих башен. В этом же году, если судить по писцовым книгам, житель Лальского погоста «Стенька Никифров сын большой Норицын обнищал и обдолжал и сбрел в Сибирские городы». В шестьдесят седьмом году на месте сгоревших церквей построили две новых – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. К ним пристроили шестиугольную колокольную, на которую повесили восемь больших и малых колоколов. Простояли две церкви с колокольной десять лет и снова сгорели. В том же семьдесят седьмом году Максимко Савин сын Жаравлев после пожара «сбрел в Сибирь в Тобольской город и живет в служивых», а Андрюшка Федотов сын Воронцов с детьми с Ивашком

да с Якушком с Тишкой обнищали и обдолжали и сбрили безвестно», а жена Андрюшки Воронцова Ульяна «кормится в мире Христовым именем». В восемьдесят втором году в конце июля «по всей Устюжской провинции приключилась великая стужа, от коей позябли все полевые растения и выпало снегу на семь вершков». Вот и расти хлеб в тех местах, где в конце июля может выпасть снегу на три десятка сантиметра.

Через год, в конце мая, до Лальского погоста дошел царский указ «За разговоры и письма в городах про прежнее смутное время наказывать батоги или кнутом». Речь шла о стрелецком бунте, отшумевшем год назад. Где бунт, а где Лальск. Особенно в конце семнадцатого века. Разные планеты. Да и какая из Лальского погоста планета – астероид, не больше. Однако же по торговым трактам слухи расходились и разъезжались быстро. Что могла говорить о стрелецком бунте в Лальске жена пропавшего Андрюшки Воронцова Ульяна или Каптелина Савватеева, которую ее дети оставили с восьмилетним внуком, а сами ушли в Сибирь, или бобыль Тимофей Сидоров, который «бродит меж двор»... Наверняка то же, что и сейчас. Они-де, там, в Москве, с жиру бесятся.

Мы, однако, отвлечлись. В сентябре девяносто шестого года указом Петра Первого велено было в Сибирь из России ездить через город Верхотурье. Еще при Борисе Годунове Верхотурье было местом, где купцы платили казенные пошлины. Указ Петра стал для Лальска бесценным подарком, поскольку путь в Сибирь теперь должен был пролегать через Лальский посад и дальше на Соликамск, Верхотурье, Тюмень и Тобольск, а длиной этот путь, если считать его от Москвы, был почти две тысячи четыреста верст. Был и другой путь – через Муром, Нижний, Вятку и Соликамск, но на дороге от Мурома до Соликамска могли запросто ограбить.

Как ни крути, а рассказ о Лальске все время сворачивает на торговлю. Уже сначала семнадцатого века, едва только закончилась Смута, предприимчивые жители Лальского погоста стали устраиваться приказчиками к устюжанам, торговавшим с английскими и голландскими купцами. Да и как не устроиться, если от Лальска до Устюга всего семьдесят верст. Летом это был путь по рекам, а зимой по проторенной дороге. Основную прибыль в этих торговых операциях приносили сибирские меха – соболя, горностаев, песцов, зайцев, бобров, куниц и белок. Белок, кстати, тогда было столько, что считали их тысячами, и стоили они во столько же раз дешевле соболей. Пушнину везли из Сибири в Устюг, куда приезжали иностранные купцы, через Лальск. Некоторые предприимчивые устюжане заранее выезжали в Лальск, чтобы опередить конкурентов и купить самый лучший товар по наиболее выгодной цене. Некоторым и выезжать не нужно было, поскольку это делали за них лальские приказчики. Впрочем, оборотистые лальчане торговали и сами, но на деньги, взятые взаймы у москвичей и устюжан. Лальские купцы регулярно ездили в Сибирь за пушным товаром. На торговле сибирскими соболями разбогатели уже в первой половине семнадцатого века лальские купцы Норицыны, Саватеевы, Бобровские, Паламошновы и Ворыпаевы. Ездили в Сибирь большими группами. К примеру, в шестьсот семьдесят восьмом году из Лальска отправились девять купцов с тридцатью проводниками на тридцати лошадях. В Лальске можно было и лошадей купить, что давало дополнительный доход местным торговцам, не говоря о кузнецах, которые подковывали этих лошадей.

Из Сибири привозили не только меха, но и слюду, хмель, выделанную оленью кожу, траву зверобой и каменное масло, оно же белое мумие, оно же бракшун, которое представляет собой самые обычные алюмокалиевые квасцы. Им и сейчас-то народные целители лечат все подряд, а уж в те времена и подавно. Надо понимать, что ездили купцы в Сибирь не столько с мешками денег, сколько с товарами для меновой торговли. Везли кожаные рукавицы, сукно, холст, пестрядь, сахар, ложки, вилки, складные ножи, виноградное красное вино, теплые шерстяные шляпы, кафтаны, вязаные чулки, колпаки, тюленьи шкуры, красные и черные яловые кожи. Красную медь и олово везли в слитках или, как тогда говорили, «в деле». С одной стороны, конечно, семнадцатый век, дремучий лес от Лальска до самого Китая, грунтовые дороги, грязь непролазная, пыль столбом, трескучий мороз и в придорожных кустах лихие люди, норвящие ограбить торговый караван... а с другой стороны привезенный из Нового света через полмира сахар к чаю, который пил какой-нибудь тобольский или тюменский купец. С чаем было проще – его в Сибирь не надо было



везти через полмира. Чай везли из Китая. Из Сибири через Лальск в европейскую часть Московского государства и дальше в Европу везли пушнину, а обратно в Китай шло то, чем богата была Россия. Только не надо думать, что проще всего сибирякам было торговать напрямую с Китаем и своих соболей обменивать на чай, фарфор, шелковые ткани, китайский жемчуг и самую черную в мире китайскую тушь. Оно и сейчас, если посмотреть на сибирскую нефть и газ... То есть, поначалу, оно так и было – русские купцы со своим товаром в Сибирь и далее в Китай, а оттуда... В списке имущества одного из лальских мещан Григория Басанова читаем «четыре конца китайки<sup>3</sup> синей, два конца китайки белой, один конец китайки черной, четыре портища камки<sup>4</sup> разных цветов, три фанзы<sup>5</sup>: одна белая, вторая лазоревая, третья лимонная, одна фата коноватка<sup>6</sup>, один аршин отласу китаиского, десять мотушек шелку китаиского... одна раковина морская, один доскан<sup>7</sup> мамонтovy кости и крышка наложена серебром...».

При Петре Алексеевиче, свободная торговля с Китаем закончилась. Была установлена государственная монополия на «китайский торг». Заодно ввели государственную монополию и на торговлю соболем и чернубурой лисицей. Теперь купец мог отправиться в Китай только в составе казенного каравана. И такой купец в Лальске жил. Это был купец гостиной сотни Иван Прокофьевич Саватеев. В первый раз Саватеев побывал в Китае в составе первого российского торгового каравана в шестьсот девяносто девятом году. То есть караван в девяносто восьмом году вышел, потом год шел до Пекина, потом там все привезенное продал, закупил китайских товаров и еще год домой возвращался. В девяносто восьмом году жене Ивана Саватеева Екатерине было двадцать три, а сыну Ивану три года. Летом она выходила на Сибирский тракт и долго глядела из-под руки в ту сторону, где за тридевять земель лежал неведомый Китай, а зимой сидела у замеченного снегом стюдного окошка и при свете сальной свечи в который раз перечитывала: «Еще хочу сообщить вам – дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам<sup>8</sup> и ни о чем не вздыхаем, кроме, как об вас, единственная и незабвенная Катерина Матвевна<sup>9</sup>. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие».

В семьсот втором году Иван Прокофьевич, которому тогда исполнилось тридцать восемь лет, царским указом был послан снова в Китай, но уже, если так можно сказать, каравановожатым. В указе<sup>10</sup> Саватеев именовался уже не просто купцом, а «купчиной», и это в те времена совсем не означало его толщину. Караван в Китай собирали долго – несколько лет. Кроме мехов везли немецкие товары, прибывшие через Архангельск. Часть мехов нужно было забрать по пути, в Нерчинске. В караване были казенные целовальники, купеческие приказчики, московские, поморские и сибирские служилые люди, работные люди, которых было до двухсот человек, сто казаков охраны под командой гвардейского офицера, священники, кузнецы... Всего в караване было более восьмисот человек. Одних только начальников и священников было два десятка. И весь этот батальон нужно было в пути кормить, поить, лечить в случае нужды, держать в строгости, следить в оба глаза за товаром и каждый день идти и идти – из Лальска в Соликамск, из Соликамска в Верхотурье, из Верхотурья в Тюмень... и так до самого Пекина.

В Нерчинске, последнем русском городе на пути в Китай, все товары, включая частные и казенные, оценили, и оказалось, что их стоимость немногим более двухсот двадцати тысяч рублей. Только на дорогу из Нерчинска в Пекин у каравана ушло около пяти месяцев. В Пекине выяснилось, что аккуратно перед приходом русского каравана прибыл прошедший через степь бухарский караван с обскими мехами. С руками русские товары никто не отрывал. Тем не менее все было продано или обменено, и назад караван Саватеева, нагруженный китайскими товарами, двинулся уже другим, более коротким путем через Монголию и через каких-нибудь семьдесят дней достиг Иркутска. До Москвы Иван Прокофьевич добрался только в семьсот пятом году. Петр Алексеевич купчину Гостиной сотни Саватеева за успешный провод каравана в Китай и обратно наградил. Пожаловал ему серебряный позолоченный кубок с двуглавым орлом на крышке. По краям кубка было вычеканено: «Божию милостию Великий Государь царь и Великий князь Петр Алексеевич и всея великия и малыя и белья России самодержец пожаловал сим кубком весом в 3 ф. Китайского отпуска купчину гостиной сотни Ивана Прокопьева, сына Саватеева, за многоградительную



его службу, что он учинил в нашу Великаго Государя казну в покупке и продаже товаров прибыли 53796... Дан на Москве из Сибирского приказа лета от Р. Х. 1706 июля в 9».

Через два года Саватеев снова повел торговый караван в Китай по царскому указу. В семьсот десятом году, его караван достиг Иркутска, а еще через год снова прошел через Иркутск, но уже на обратном пути. Этот его караван принес казне чистой прибыли на двести двадцать три тысячи пятьсот рублей девятнадцать алтын и две деньги, что составляло примерно одну четырнадцатую всех государственных доходов в семьсот одиннадцатом году. И снова Саватеев был награжден. Кроме серебряного кубка весом в три килограмма царь Петр дал ему тысячу рублей жалованья. Еще и десять аршин материи по шести рублей аршин, еще и две пары соболей по сорока рублей. На память от того похода остался жить в доме Саватеева среди других его работных людей мальчик «мунгальской породы», которого Иван Прокофьевич привез из Китая или из Сибири.

Похоронили Ивана Прокофьевича в Лальске, на кладбище, которое когда-то было при Воскресенском соборе. При Екатерине Второй кладбища при церквях в уездных городах были запрещены, и то, на котором был похоронен Саватеев, пришло в запустение, а при советской власти его и вовсе раскопали, когда прокладывали водопровод. При строительстве натыкались на следы могил, но в которой из них был похоронен Иван Прокофьевич... Могилы, конечно, не воротить, но памятник Саватееву способствовал бы много к украшенью Лальска. Стоял бы бронзовый Иван Прокофьевич на высоком постаменте, на берегу Лалы и указывал простертой рукой в направлении Китая, а у ног его поместить на барельефах фигурки навьюченных лошадей, верблюдов, лодки, на которых караван плыл по рекам, тюки с тканями, ящики с китайской тушью, мешки с чаем, фарфоровые чайники, пашки...

Ну, что толку мечтать о памятнике. Нет его и вряд ли будет. Китайских товаров вокруг пруд пруди а памятника не будет. Вот только заметим, что в Эрмитаже, в коллекции вещей Петра Первого сохранился шлафрок из голубой камки конца восемнадцатого века с орнаментом в виде виноградной лозы с гроздьями и зверьками. Как знать – может, эту самую голубую камку привез царю из города Пекина Иван Прокофьев сын Саватеев.

Да еще в фондах Лальского районного историко-краеведческого музея хранится старый, пришедший в негодность стихарь. Его несколько лет назад передали музею из лальского Воскресенского собора среди вороха других, пришедших в негодность церковных одежд. Вышиты на нем два изящных тонконогоих журавля в золотом небе с синими тучами, красные цветы, листья... Только представьте себе гулкий и просторный собор, необъятных размеров дьякона с огромной бородой, который возглашает таким басом «Вонмем...» или «Покайтесь, вам скидка выйдет!», что у журавлей на его стихаре со страху подгибаются коленки. Конечно, нет никаких доказательств того, что ткань для этого стихаря привез один из караванов, которые водил Саватеев. Нет и доказательств того, что кто-то из его родственников или даже он сам принесли в дар собору эту «парчу китайскую с орлами и травами», как значилось в описи, но думать так никто нам запретить не может.

Между тем, жизнь в Лальском погосте текла своим чередом. Событию такого масштаба, как посылка каравана в Китай, равного, конечно, не было, но... его заменила долгая и упорная тяжба с Сольвычегодском, к уезду которого был приписан Лальск, за то, чтобы получить налоговую независимость. Платить налоги и сборы вместе с Сольвычегодском лальскому купечеству и посадским людям было невыгодно. Кроме того, хитрые сольвычегодцы часто и не в очередь выбирали жителей Лальска в уездные казенные службы, что последним совсем не нравилось. Лалетяне все посчитали до последней полушки и... за пять лет с шестьсот девяносто седьмого года по семьсот второй было вынесено четыре решения в пользу Сольвычегодска и три в пользу уезда и Лальска. Бывало, примет власть решение о том, что платит уезд и Лальск подати отдельно от Сольвычегодска, а через два месяца, после того как приедут из Лальска купцы с полными карманами челобитных и жалоб, сама свое решение и отменит.

В семисотом году Иван Прокофьевич Саватеев между своими торговыми вояжами в Китай построил в пяти верстах от Лальска с разрешения властей «винокурную поварню», в которой

было десять котлов и четыре перегонных куба. Оно и удобно. Ты идешь и идешь себе в Китай, потом торгуешь в Пекине, потом идешь и идешь обратно, а деньги из перегонного куба мало-помалу капаят.

В семьсот восьмом году всю Россию поделили на восемь губерний, и Лальск вместе с Сольвычегодским уездом отписали в Архангелогородскую. В семьсот десятом году, если судить по переписным книгам Сольвычегодского уезда, в Лальском погосте уже была «Церковь Воскресения Христова каменная с приделами и с папертью в недостройке и не освящена холодная. Другая церковь теплая Благовещения Пресвятыя Богородицы с приделом деревянная». Через год освящен первый каменный храм во имя Николая Чудотворца, а через четыре года, в семьсот пятнадцатом, строительство соборного храма Воскресения Христова было закончено. Впрочем, закончили только строительство, через два года освятили и потом долго его украшали, строили соборную колокольню, устанавливали на нее часы...

Не будем, однако, забегать вперед. В семьсот двенадцатом году житель лальского посада купец Иван Федорович Бобровский на свои средства построил каменный дом, в котором устроил воспитательный дом для подкидышей и богадельню для престарелых и убогих. Ничего особенного – воспитательный дом для подкидышей и сирот, однако в Москве государственный воспитательный дом появился только в царствование Екатерины второй – через полвека после лальского. Через два года после постройки дома Бобровский построил при нем каменную церковь и содержал ее и священнослужителей этой церкви за свой счет. До самой своей смерти и содержал – и воспитательный дом, и богадельню, и церковь.

Порой случалось удивительное. В Устюге летом пятнадцатого года при пожаре сгорела церковь Св. Симеона Столпника и прихожане Лальской Богоявленской церкви с разрешения архиепископа Великоустюжского и Тотемского Иосифа подарили устюжанам верхний этаж своей старой деревянной церкви – и этот второй этаж в разобранном виде сплавили по реке Лале в реку Лузу, а из Лузы в Юг и так привели свой подарок в Устюг.

В семнадцатом году освятили в Воскресенском соборе главный престол Воскресения Христова, устроили и освятили в нем же престол Св. Апостолов Петра и Павла и... продолжали писать в переписных книгах: «Леонтий Норицын с сыном Григорьем в 713 году сошли в сибирские города, матери его Леонтьева Парасковья и жена Елисавета скитаются в мире, а дочь Анна отдана замуж...», «калмык Иван Никифоров в 714 году сошел в сибирские города, а жена его Дарья с сыном Федором скитаются в мире...». Правду говоря, нет вести печальнее на свете, чем эти переписные книги – длинной вереницей бредут по их страницам нищие вдовы, бобыли, мужики, уходят от хлебной скудости в сибирские города, скитаются в миру и питаются Христовым именем оставшиеся бабы и детишки. По переписи семьсот девятнадцатого года в Лальском погосте проживало пятьсот пять человек. Нищих была треть.

В семьсот двадцать шестом году Лальск указом был переведен из погоста в посад. «Высокий Сенат приказали, по доношению и мнению главного Магистрата, Архангелогородской губернии Устюжской провинции Лальскому погосту... по купечеству и мастерствам – быть особливим посадом и как их, так и тем, которые по торгам приписаны к тому посаду, с черносошными не числить и из двойного оклада, что они на полки с черносошными, и по купечеству с посадскими написаны выключить, а платить им подушные деньги только с посадскими». Дорогого стоит это «с черносошными не числить». При этом Лальск забрали у Сольвычегодска и подчинили Великому Устюгу.

Правду говоря, насчет мастерства Магистрат Устюжской провинции Лальску польстил, поскольку ремесленников (в отличие, скажем, от Великого Устюга), кроме тех, которые были нужны для обслуживания проходящих мимо по Сибирскому тракту купцов с товарами, в новорожденном посаде по-прежнему было мало. Да еще и за четыре года до этого часть плотников вместе с семьями забрали на строительство новой столицы. Плотники, конечно, не горели желанием ехать, но власти обещали им на новом месте дома, огороды, а по прибытии в Петербург по два рубля денег и по три четверти муки на семью.

Осенью двадцать шестого года в сентябре и в октябре Лальский посад горел. Пожар был такой силы, что сгорела кровля у каменной главы Воскресенского собора, деревянный шатер у колокольни и в шатре часы. От нестерпимого жара расплавились два колокола, а третий упал и разбился. Сгорела казенная церковная коробка, в которой хранились документы на владение церковными землями, приходные и расходные книги, свечные деньги... Земский староста Данила Бобровский писал в донесении Лальской Ратуше: «сгорело дворов и амбаров и лавок со всякими домовыми пожитки многое число и от того пожарного разорения многие посадские люди оскудели и пришли во всеконечное разорение». Тут, как на грех, пришло время сдавать рекрутские деньги, а откуда они у погорельцев... Власти, впрочем, на пожар скидок не делали, и некоторым жителям посада, не имеющим необходимой суммы в сто рублей, которую полагалось уплатить за рекрута, пришлось постоять на правее<sup>11</sup>, а потом еще и посидеть в земской избе под караулом.

В феврале семьсот двадцать седьмого года Лальская Ратуша уплатила в Камерирскую контору Устюжской провинции триста пятьдесят четыре рубля сорок копеек и одну полушку, собранных в Лальском посаде денег на строительство в Москве Триумфальной арки по случаю коронации Петра Второго.

И снова... Земский староста пишет в Лальскую Ратушу, что из лальских жителей в двадцать восьмом году в Сибирскую губернию «от самосвершенной хлебной скудости» ушло четырнадцать человек, а до переписи девятнадцатого года и еще сорок три. В этом же году власти отменили сбор с идущих в Сибирь. Как говорил гоголевский Иван Иванович: «Ну, ступай же с богом. Чего же ты стоишь? Ведь я тебя не бью!»

Через год вдруг обострился застарелый конфликт между Усольской и Устюжской провинциальными канцеляриями. Снова заспорили о том, к какой из канцелярий будет приписан Лальск. Дошло до того, что из Великого Устюга в Лальскую Ратушу пришел указ о том, чтобы «от Усольской Канцелярии присланных указов не принимать и отправление по ним не чинить и посланных не впускать». В Великом Устюге заранее подстраховались и к своему указу приложили указы Сената и главного Магистрата Архангелогородской губернской канцелярии. И сами Лальские власти в том же году подали прошение о переводе их в ведомство Устюжской канцелярии, мотивируя это тем, что Сольвычегодск от Лальска отстоит куда дальше, чем Великий Устюг. В тридцатом году снова пришел указ Сената о прикреплении Лальска к Великому Устюгу и... переписка между Великим Устюгом, Сольвычегодском, Архангельском, Петербургом и Лальском продлилась еще на девять лет. Бедный в самом прямом смысле этого слова Сольвычегодск сопротивлялся изо всех сил – малочисленному и небогатому тамошнему купечеству и посадским людям ни за что не хотелось терять доли лальских денег в и без того дырявом бюджете Усольской провинции, и потому челобитчики продолжали приносить челобитные, секретари их принимали и обещали помочь, выразительно при этом глядя в потолок или барабаня пальцами по столу, письмоводители письмоводили, и все были при деле.

Только в семьсот тридцать девятом году Правительствующий Сенат указом определил Лальскому посаду быть особым посадом под ведомством Великоустюжской провинциальной канцелярии, а платить подати и отбывать службы от Усольцев отдельно.

Первый летописец Лальска Иван Степанович Пономарев, городской голова и городской староста на рубеже позапрошлого и прошлого веков, в книге «Материалы к истории города Лальска Вологодской губернии» аккуратно выписал цены на продукты питания и вещи в семьсот тридцать восьмом году. Эти цены мало что говорят обычному неподготовленному читателю, поскольку их надо сравнивать с покупательной способностью тогдашнего рубля, учитывать достаток купцов, мещан, крестьян, удаленность от крупных торговых центров, инфляцию... Бог знает с чем еще их надо сравнивать и что учитывать, но современному читателю, даже если он не подготовлен, приятно представлять себя покупающим на рынке Лальска пудового осетра за каких-нибудь семьдесят пять копеек или пуд икры за рубль тридцать или пуд лука за гривенник. Пуд изюма стоил рубль шестьдесят, за пуд палтуса просили полтинник, а за пуд сухой трески нужно было отдать двадцать четыре копейки. Пуд соленой трески стоил на шесть копеек дешевле. Стопа писчей бу-

маги – рубль двадцать, башмаки – гривенник (какого качества были эти башмаки, остается только гадать), овчинный кафтан – полтинник, шелковый платок – двугриденный, дюжина столовых ножей с вилокми – полтинник, десяток пар варежек – четвертак, шкурка выдры – рубль, вязаный колпак – две копейки, за сотню соленых огурцов просили пятиалтынный, вязаные на пяти спицах чулки (их называли панскими) стоили гривенник за пару. Быка или корову можно было купить не дороже четырех рублей, а цены на лошадей начинались там, где цены на коров заканчивались и поднимались почти до двух десятков рублей. Яблоки стоили дорого – пуд яблок стоил почти столько же, сколько пуд сухой трески. И то сказать – они в Лальске до сих пор привозные. Уж больно суровые в Лальске зимы – вымерзают яблони, как их ни укутывай. За проезд из Лальска в Устюг платили зимой от тридцати до пятидесяти копеек с подводы. Придет читатель домой, нагруженный воображаемыми огромным осетром, икрой, пудом изюма, сухой трески, обутый в башмаки за гривенник и колпак за две копейки, с кучей соленых огурцов... а у него на карте Сбербанка еще тысяч сто или даже сто пятьдесят осталось.

Мы, однако, отвлеклись. Надо сказать хотя бы несколько слов о промышленности Лальска в первой половине восемнадцатого века, тем более что для нее хватит и нескольких. Кроме винокуренных поварен Ивана Прокофьевича Саватеева и Данилы Ивановича Бобровского были в посаде три кожевенных завода, которыми владели местные купцы Яков Аврамов, Леонтий Бобровский и Осип Свиныин. Выделывали они в год до девятисот юфтей. Бобровский и Саватеев, кроме того, что поставляли вино в другие города, в семьсот тридцать девятом году поставили на Лальский кружечный двор по пятьсот ведер вина каждый. Это выходит почти по два ведра вина на каждого жителя Лальского посада. Впрочем, если добавить к этим жителям проезжающих по Сибирскому тракту, то получится, наверное, не так уж и много. Может, даже и не будет хватать.

Понемногу Лальск богател. В семьсот сороковом году в посаде открылось Малое духовное училище. Принимались туда дети духовенства в возрасте от семи до пятнадцати лет. Алгебру с геометрией там не преподавали, но чтению, письму и пению по нотам научиться было можно. Тех, кто подавал надежды, посылали в Великий Устюг – держать экзамен в тамошнюю семинарию, а тех, кто не подавал... не посылали. Кстати, о богатстве. В том же сороковом году жители Лальска просили Устюжскую Провинциальную Канцелярию прислать им для охранения от воровских людей военную команду. Впрочем, это может свидетельствовать не столько о богатстве Лальска, сколько о расплодившихся воровских шайках в тамошних дремучих лесах.

Каких-то выдающихся событий в истории Лальска в те годы не случилось. Да и обычных событий... Вот разве что оттепель в ноябре сорок первого года была такой сильной, что начался ледоход на реках, да еще лальские купцы Александр Саватеев и Данила Бобровский поставили на местный кружечный двор в общей сложности три с половиной тысячи ведер вина. Должно быть редкий купец, проезжавший через Лальск в Сибирь или, наоборот, из Сибири, не мучался на следующее утро с похмелья и не держался руками за большую голову, подпрыгивая в своей кибитке на ухабах Сибирского тракта.

Впрочем, было в середине восемнадцатого века событие в истории Лальска выдающееся по нынешним меркам, а тогда самое обычное. В пятидесятых годах все подати за бедных граждан Лальского посада уплачивали два купца – Иван Федорович Бобровский и Кондрат Никитович Пономарев. Только представьте себе на минуту, что все налоги за бедных граждан, к примеру, Москвы или Вологды или Костромы, уплачивают ~~Сечин или Миллер или братья Рот...~~ богатые московские или вологодские или костромские купцы. Ну, хорошо, пусть не Москвы и Вологды. Пусть Кинешмы. Пусть хотя бы Лальска. Представили? Вот и у меня не получается.

В шестидесятом году власти разрешили всем без ограничений покупать из казны ремень по сто рублей за пуд. Целебный корень ревеня в восемнадцатом веке был экспортным товаром – его везли из Китая в Россию, а из России в Европу. Через Лальск проходили сотни пудов этого ценного лекарственного сырья, но торговать им имело право только государство. Еще в начале пятидесятых годов одного из предприимчивых лальских жителей взяли за торговлю ременем в

Верхотурье и в кандалах привели в Устюгскую Провинциальную Канцелярию. Привели, а не привезли. От Верхотурья до Великого Устюга, между прочим, больше тысячи верст.

Через год в Лальске случилось удивительное – купец Никифор Дмитриевич Захаров нашел клад из старинных серебряных копеек и честно сдал его в казну до копеечки. За что и получил шестьсот с лишним рублей вознаграждения из монетной конторы. На эти деньги он купил для Лальской Спасской церкви колокол весом без малого в тонну.

К началу шестидесятых годов Лальск не то чтобы перестал процветать, но... что-то в механизме его процветания начало скрежетать. Паспортов на отлучки в Сибирь по торговым делам и для проведения различных работ было выдано лальским купцам не так уж и много – тридцать семь. В Москву выдано всего три паспорта, а в Архангельск и вовсе один. К середине восемнадцатого века государственная караванная торговля с Китаем была признана невыгодной, и торговля перешла в руки частных лиц. Увы, это была только часть беды, и к тому же самая малая ее часть. Настоящая беда была в том, что основной торговый путь в Сибирь и далее в Китай перестал проходить через Лальск. Теперь он шел южнее – через Вятку и Казань. Те лальские купцы, у которых к тому времени были налаженные связи с сибирскими городами, еще продолжали торговать, но... В шестидесятых годах в Лальском посаде числилось около ста сорока жителей купеческого звания, а в начале девяностых – всего сорок.

Ну, до девяностых мы еще доберемся. Пока, в начале шестидесятых, купец Дмитрий Бобровский, внук Ивана Федоровича Бобровского, того самого, который построил на свои деньги в Лальске воспитательный дом и богадельню, отказался ее содержать за неимением к тому средств. Богадельню на произвол судьбы не бросили – договорились содержать ее всем миром – с купцов собирать по десять рублей в год, а с мещан – по пять.

В шестьдесят третьем случился очередной пожар, в результате которого обгорела соборная колокольня. Через два года ее привели в порядок и даже установили на ней башенные часы работы местного мастера Николая Попова. Часы были замечательные – с боем, который был слышен во всей округе, и показывали не только часы с минутами, но даже восход и заход солнца и фазы луны. Тот ярус колокольни, на котором были установлены часы, в сильные холода отапливался. На часовом валу, как сообщает Иван Степанович Пономарев, имелась надпись «1765 г. сии часы построены старанием и иждивением Лальским посадским Иваном Рысевым и всего гражданства. Работал того же посаду Nikolai Porov». Да, именно так и написано иностранец Василий Федоров Nikolai Porov. Теперь от часов, сработанных Николаем Поповым, и следа не осталось. Говорят, что к тридцатым годам двадцатого века они износились совсем, а починить их никто не мог. Да и время тогда было такое, что на колокольнях часов не чинили. В тридцать пятом году на колокольне устроили парашютную вышку. Часы при этом исчезли. Теперь вместо часовых циферблатов на колокольне заржавевшие до черноты круги, вырезанные из кровельного железа. В музее мне сказали, что какие-то части часов работы Николая Попова теперь находятся в краеведческом музее Сыктывкара. Сначала они попали в один из местных храмов, а оттуда в середине тридцатых годов прошлого века их перевезли в музей. Как они попали в Сыктывкар, мне рассказать не смогли<sup>12</sup>. На саму колокольню уже не подняться – внутри провалился один из пролетов. Только бесстрашные мальчишки каким-то образом пробираются на самый верх колокольни, хотя и достается им потом... если, конечно, дознаются родители.

Вернемся в Лальск середины восемнадцатого века. В марте шестьдесят седьмого в Лальск «послано из уродившихся в Сольвычегодске земляных яблоков “потетес” го фунтов для раздачи здешним купцам, имеющим деревенские владения, с возвратом этого количества из урожая текущего года». Про «урожай текущего года» сведений до нас не дошло. Неизвестно даже, сажали ли эти земляные яблоки, или купцы посмотрели на них, посмотрели, понюхали да и скормили скотине. В семьдесят первом году в посаде была учреждена Питейная Контора. Делами этой конторы ведала ратуша. Все привозимое в Лальск вино пробовалось ратушей и поверенным от короны. Кто из ратушных чиновников производил пробу вино – теперь доподлинно неизвестно, но трезвых в этот день... и на следующий тоже.

В семьдесят четвертом году, после того как Пугачева разбили под Казанью, Архангелогородские губернские власти, опасаясь появления отрядов Пугачева, указом повелели всем местным властям усилить бдительность и убеждать жителей оказывать бунтовщику и самозванцу сопротивление. На всякий случай Лальская ратуша взяла расписку у каждого жителя в том, что он никуда не отлучится из посада «ниже на самое короткое время». Меры предосторожности включали в себя наблюдение за всеми приезжающими и приходящими. Тех, кто паспорта не имел или, паче чаяния, смущал народ разными разговорами, велено было отправлять под стражей в Устюжскую канцелярию. Подготовились, что и говорить, основательно. Вот только ни пугачевские шайки, ни сам атаман в эти края, отстоявшие от мест боевых действий почти на тысячу верст, так и не дошли. Впрочем, и не собирались.

Мало-помалу Лальск... нет, пока он еще не захирел, но и процветающим его уже назвать было сложно. В семьдесят седьмом году в Лальске был всего один купец первой гильдии – Иван Тимофеевич Юрьев, объявивший капитал в восемнадцать тысяч рублей. Юрьев, у которого одних доверенных лиц было шестеро, торговал по всей Сибири до самой Кяхты на китайской границе. Купцов второй гильдии – трое, один из которых, Василий Александрович Саватеев, был потомком Ивана Прокофьевича Саватеева. Капиталов у этих троих вместе взятых было меньше, чем у одного Юрьева. В третью гильдию записалось двадцать пять купцов. Самый богатый объявил капитал в тысячу рублей, а у всех остальных и того меньше. Один Иван Прокофьевич Саватеев мог по части капиталов заткнуть за пояс все лальское купечество, а со времени его сибирских караванов прошло всего семьдесят лет. Вот в эти самые семьдесят лет и уместился золотой век Лальска.

Между тем жизнь в Лальске продолжалась. В том же семьдесят седьмом году на деньги местного купчества Воскресенский собор оштукатурили внутри, расписали и лепные орнаменты покрыли позолотой. Соборный протоиерей Матвей Швецов, под руководством которого проводились эти работы, описал все строительные работы в стихотворении, которое назвал «В потомки для сведения записка».

Вообще же купцы Лальского посада были очень богобоязненны. К примеру, в смете расходов посада за семьдесят седьмой год десять рублей приходится на ладан и свечи для Воскресенского собора. Еще десять с лишним рублей отнесены на «Неугасимую лампаду Спасителю», а вот «на поправку дороги» вокруг Лальска – всего пятнадцать копеек<sup>13</sup>. Или, скажем, приезжал в Лальск по случаю выборов Головы Устюжский воевода князь Енгалычев. Только на его прием мещане Лальска (помимо купцов) истратили пятнадцать рублей. Еще столько же дали сопровождавшим его двум солдатам и дворецкому. И напрасно, потому что меньше чем через два года князя «за остановку в Устюг питейных сборов и за разные подложности, неисполнения и неисправности» уволят от должности по распоряжению Архангелогородского губернатора.

В семьдесят девятом году наконец-то Лальск стал городом и даже центром одноименного уезда. В июне Ярославский и Костромской генерал-губернатор Алексей Петрович Мельгунов прибыл в Лальский посад и объявил его городом. Лальский уезд открыли через три месяца после того, как сам Лальск стал городом – в конце сентября. Буквально через две недели утвердили и городской герб – две шкуры куницы в золотом поле «в знак того, что сего города жители производят значительный торг мягкой рухлядью».

Первым Лальским городничим был премьер-майор Александр Фонделден, а исправником секунд-майор Филипп Косилов. На день превращения Лальска из посада в город в нем числилось четыреста тридцать пять душ мужского пола – меньше чем в сорок седьмом году на сто семь душ, а всего почти тысяча душ. Нельзя сказать, чтобы Лальск был большим уездным городом – в нем было четырнадцать улиц и двести шестьдесят четыре дома. На центральной Большой улице стояло два десятка домов. Еще питейная контора и два питейных дома, еще сорок три лавки, еще четыре кузницы, еще два казенных соляных амбара, еще две каменные кладовые купцов Василия Саватеева и Кондрата Пономарева, еще купеческие и мещанские амбары, еще собаки, еще бродящие по заросшим травой немощеным улицам куры, свиньи и еще такая тоска, какая бывает в маленьких русских уездных городах, когда жизнь из них уходит, а жители еще остаются.



Тогда же Лальск, уже в новом городском качестве, поставил в Санкт-Петербург четырнадцать лошадей с ямщиками для путешествия Екатерины Второй из столицы в Смоленск и обратно. Сохранить лошадей и ямщиков должен был Лальск. При этом было отдельно указано, «чтобы ямщики были не старые, не малолетние, не пьяницы и не в гнусной одежде».

Теперь уж и не сказать, какими особенными талантами обладал первый лальский городничий, так как при нем Лальск продолжил понемногу хиреть, но Александр Ефимович Фонделден, хотя и дослужился лишь до премьер-майора, без сомнения был натурой тонкой, чувствительной и художественно одаренной. Вот его донесение Вологодскому наместническому правлению о случившейся в июне восемьдесят первого года буре: «...над городом Лальским и в окружности его, Божиим благоволением учинилось праведное посещение Господне сиевое вышеозначенного числа пополудни в первом часу, начали сходитья на воздухе престрашные и зело темные и з белыми — столпами и з зелеными виды две грозные тучи; одна с западную а другую сполуденную страну, и по совокуплении шли на север с таковою превеликою бурейо, что у многих домов кровли раскрывало, также заплоты, а наипаче огороды поломило когда оные тучи шли, тогда непрестанно чрезвычайная молния блистала и по всему воздуху растворялся блистающий огонь так, что все строение и земля аки бы пламенем горели в то же самое время с презельным вихрем, ледяным градом, у святой церкви Собора, у окон разбило очюнь много стекляных звений; которой град был величиною с ореха большаго и куричную яичную желтью: такожде; в городе в огородах овощи повредило, и оной град с неба, столь сильно падал что немалые его крупичи, твердое деревянное здание изпятнало, а гнилое разбивало и тогда страх на всех людех был, что за необычайным по воздуху непрестанно разливающимся огнем и громом, также и запредельною бурейо и градом, в городе никто не осмелился из дворов выйти; и всяк в отчаянии жизни, которая гроза продолжалась два часа, и стала утихать, а по прошествии той сильной тучи, сего Июня 21 числа здешнем Соборе после Литургии, в соборе при собрании всех жителей, был благодарной молебен; что Всещедрый Бог свой гнев пронес, о чем в Вологодское Наместническое Правление для ведома донести имеем». Случись, не приведи Господь, сейчас такая буря – разве написал бы глава администрации Лальского городского поселения такой рапорт своему районному начальству? Написал бы о белых и зеленых престрашных небесных столпах, о растворенном в воздухе блистающем огне? Написал бы о квадратных метрах, о стройматериалах и десятках тысяч рублей потребных на восстановление разрушенного, которых ему все одно не дали бы. Да что глава администрации... Можно подумать, что теперь можно найти таких премьер-майоров или хотя бы просто майоров...

Увы, приходилось лальскому городничему заниматься делами совершенно прозаическими – то исполнять указ «об обсаживании дорог деревьями», то отводить землю под городские выгоны, то готовиться к объявленной Высочайшим манифестом ревизии восемьдесят второго года. Что же до городской жизни Лальска последних двух десятилетий восемнадцатого века, то стороннему наблюдателю она представится лишенной каких бы то ни было заметных событий, но если посмотреть на нее хотя бы через простое увеличительное стекло, не говоря о микроскопе, то обнаружится большое количество событий мелких и даже мельчайших. К примеру, учредили при церквях кружки для сбора в пользу городской богадельни. Мелочь из этих кружек высыпали в присутствии городского головы и тотчас же отправляли в богадельню. В богадельню, между прочим, стали принимать крестьянских детей Лальского уезда на счет Приказа Общественного Призрения. Появился ночной караул на колокольне Воскресенского собора, который в случае пожара, начинал звонить во все колокола. Вообще тратили городские власти на городскую богадельню немного – в семьсот восемьдесят втором году всего двадцать три без копейки рубля. Из них на дрова два с лишним рубля, на питание и одежду призреваемым и младенцам – двадцать с полтиной рублей и на погребение младенцев – пятнадцать копеек. Ровно столько, сколько пять лет назад истратили на ремонт дороги вокруг Лальска, в то время как на неугасимую лампаду... Между тем, в богадельню в восемьдесят шестом году было принято пятнадцать младенцев, а умерло их в том же году шестнадцать. Ничего удивительного при таких-то расходах на одежду и

пропитание призываемых младенцев. Правда, в восемьдесят девятом лальский купец Афанасий Максимов принес в городскую Думу пятьсот рублей, которые завещала на содержание Лальской богадельни его покойная сестра Татьяна Юрьева.

Осенью восемьдесят второго года «После беспрерывных в ноябре месяце дождей, в начале декабря, сделался такой мороз что люди, скот и птицы замерзали, а равно и озимь по причине беснежной долго зимы повредилась. И после такой нечаянной и крутой перемены сделалась общая простудная лихорадка». Запретили, согласно указу, хоронить покойников при городских церквях, а для кладбища отвели место за городом. Это место окропили святой водой и водрузили на нем Св. Животворящий крест.

Из событий не просто мелких, но мельчайших. Стали выписывать во все городские присутственные места по одному экземпляру Московских Ведомостей. В восемьдесят шестом году по предложению городничего в Лальске ввели нумерацию домов. Горожане обратились с просьбой к городничему, чтобы тот разрешил домовладельцам самим чистить дымовые трубы, а трех трубочистов, которых общество должно было содержать на свой счет, уволить. Просили потому, что город маленький, расходы на городское хозяйство велики и с каждым годом все больше, а доходы... Фонделден просьбу горожан не удовлетворил, но разрешил вместо трех трубочистов иметь двух. На этом история с трубочистами не закончилась. Через два года упорные горожане попросили городничего возложить обязанности городских трубочистов на полицейских десятских, которых в Лальске было целых тринадцать. Городничий милостиво согласился и тогда благодарное общество поднесло ему десять рублей.

Среди событий мельчайших затесалось одно совершенно микроскопическое – в восемьдесят восьмом году посланный от Лальска для обучения в Холмогорскую мореходную семинарию мещанин Федор Бобровский был возвращен домой «за непонятием наук». Хотя документов на этот счет не сохранилось никаких, можно предполагать, что бедного Федора дома высекли и решили направить по торговой части<sup>14</sup>.

Кстати, скажем и о науках. В самом Лальске, кроме как в Малом духовном училище, негде было учиться, но и в него родители не хотели отдавать своих детей. До такой степени не хотели, что генерал-губернатор Ярославский и Вологодский Петр Васильевич Лопухин, когда был в Лальске в девяносто четвертом году, усмотрел в этом нежелании лальчан «закоснелое упорство и невежество», а кроме того, «неблагодарность их пред Ее Императорским Величеством пекущейся о просвещении народа», и рекомендовал городничему и городскому голове уговаривать жителей отдавать своих в обучение. Еще за шесть лет до приезда генерал-губернатора городничий просил городскую Думу обязать подпиской жителей города не обучать детей дома, а отдавать в училище, но Дума отказалась от такой меры, поскольку не знала, как «сие распоряжение принадлежит по полицейской части».

Нельзя сказать, что городские власти об училище не заботилось. Ему ассигновали сто десять рублей в год, но родители все равно не желали отдавать детей в обучение «по неприлежности и нерадению к учению учителя Смирнова». То ли он беспрестанно нюхал табак, то ли пил, то ли бил детей по рукам линейкой, то ли посылал их в мелочную лавку за табаком и водкой, то ли делал все это вместе. В конце концов, после приезда генерал-губернатора, Смирнова уволили и на его место назначили учителя из Сольвычегодска Мудрова. Назначение нового учителя, быть может, и помогло бы, но... через три года после его назначения городское общество постановило по неимению городских доходов, по «скудости мещанства» и по малочисленности купечества просить власти перевести лальское училище в другой город или принять его содержание на счет Приказа общественного призрения. Через год училище закрыли, а учителя Мудрова перевели в Сольвычегодск. Когда закрывали училище, то в нем оказалось полтора десятка учеников.

Зато без трактира Лальск не обошелся. На запрос Наместнического правления о том, «сколько в здешнем городе пристойно и должно состоять трактиров», общество отвечало, что хватит одного или двух. При том, что в городе уже имелся трактир питейного откупщика Пашкова, в ко-



тором можно было купить водки, виноградного вина, английского пива, легкого полпива, кофе, чаю, шоколаду и разрешалось курить табак.

В семьсот девяностом горожане Лальска «по случаю прихождения многих домов в городе, особенно крыш на них, в ветхость» обратились к Вологодскому генерал-губернатору с просьбой разрешить им для ремонта использовать запрещенный топорный тес. Его еще Петр Алексеевич запретил использовать, поскольку отходов от использования такой, с позволения сказать, технологии было куда больше, чем собственно продукции. Аргументов в пользу топорного теса жители Лальска нашли несколько – и пильных мельниц у них нет, и ближайшая мельница в трехстах верстах от Лальска, и пилами никто не умеет пользоваться, и самое главное – «в здешней стороне такое состоит большое лесное излишество, против прочих мест, что никогда их прирубить, или иметь когда-либо в них оскудение не можно...». Вот это никогда и наступило через двести с небольшим лет. Кончилось излишество. Прирубили и оскудели. Лесовозы из Лальска в Лузу идут и идут, а из Лузы по железной дороге идут и идут поезда с лесом. И кабы везли только толстые бревна – везут и тонкие, диаметром едва десятка два сантиметра, а то и меньше.

Генерал-губернатор отказал лальчанам в их просьбе. Дело в том, что ремонтировать дома, построенные не по утвержденному плану города (а многие дома именно так и были построены) он разрешить не может, а что касается использования топорных досок вместо пильных из-за того, что поблизости нет лесопилок – так это и вовсе «не может быть принято ни в малейшее уважение». Пилите ручными пилами – посоветовало начальство.

Насчет скудости мещанства и малочисленности купечества лальчане не обманывали. В девяносто четвертом году была проведена ревизия, и оказалось, что в Лальске осталось всего тридцать два купца мужского пола и двадцать шесть женского. По сравнению с первой половиной века... Нечего и говорить о первой половине века.

По скудости городского мещанства и купечества решили строить не каменный, а деревянный гостиный двор взамен обветшавших лавок. Городская Дума просила у губернатора на это разрешение.

В девяностом году ни с того ни с сего случилось единственное в истории Лальска землетрясение. В описи Воскресенского собора об этом событии сказано: «Мая с 24 на 25 число по полуночи в 4 часу трясение или колебание земли здесь в г. Лальске весьма чувствуемо было; кратко, а сильно; так аки бы волнами от запада к востоку провоздало, на подобие волн землю колебало». Надо думать, что большинство лальчан это землетрясение просто проспало.

В том же году купец Афанасий Максимов объявил городской Думе, что его покойная сестра Татьяна Юрьева, та самая, что завещала пятьсот рублей местной богадельне, передала ему перед смертью тысячу рублей на постройку на городском кладбище каменной церкви во имя Успения Божией Матери. Из этих денег он уже истратил четыреста рублей на кирпич и камень, но полагает, что оставшейся суммы будет недостаточно для строительства церкви и просил городские власти привлечь пожертвования крестьян окрестных сел и деревень, состоящих в приходах лальских городских церквей. Деньги собрали, церковь построили, и до сих пор она стоит на городском кладбище.

При всей ограниченности средств в девяносто втором году все же смогли сделать деревянную мостовую из брусьев длиной почти в шестьсот саженей или в тысячу триста метров. Причем делали мостовую вскладчину все домовладельцы: крестьяне – тридцать саженей, духовенство – тридцать пять саженей, чиновники и военные – двадцать четыре сажени, а все остальное пришлось на долю купцов и мещан.

Многие лальские мещане и купцы, хотя и были по своему статусу горожанами, предпочитали жить в уездных деревнях, чтобы как можно меньше принимать участия в общественных городских делах и тем более на них тратиться. По повесткам лальской городской Думы они тоже являться не спешили. В связи с этим Наместническое Правление просило Лальский земский суд выслать в Лальск всех проживавших в уезде мещан и купцов. Выслать в город из деревни... Советским колхозникам такое и в самом сладком сне не приснилось бы.

И снова события, которые нужно рассматривать в микроскоп. В девяносто первом году начальник лальской воинской команды прапорщик Дерунов написал донос на городничего. Будто бы городничий чинит жителям города разного рода притеснения. Городничий в ответ испросил у жителей города то, что сейчас назвали бы вотумом доверия. Не просто так, а чтобы с этим вотумом в руках идти к вышестоящему начальству, то есть к самому генерал-губернатору Кашкину. Лальское городское общество в этом вотуме, который тогда назывался приговором, сообщало генерал-губернатору, «что здешний г. Городничий с самого вступления его в должность, 19 Сентября 1780. г., со всяким доброхотством и человеколюбием к гражданству, как долг кроткого и снисходительного начальника зависит, и обид ниже кому либо из частных людей во все его здесь событие не происходило... и под начальством какового добронравного градоправителя и впредь быть все единогласно желаем... что же касается до г. прапорщика Дерунова, здешним обывателям кроме обид и всякого недоброхотства, каковые сначала его здесь нахождения все и описать невозможно, никаких порядочных свойств не видится». Генерал-губернатор, получив от лальской Думы такую бумагу, высказался в том смысле, что Дума не имеет права одобрять или порицать действия правительственных чиновников. Ждали приезда самого Кашкина в Лальск и даже стали собирать деньги на его прием. Решили собрать двести рублей, из которых купечество должно было дать сто тридцать, а остальные семьдесят мещанство, но Кашкин не приехал, и чем кончилась ссора между городничим и начальником воинской команды, неизвестно. Зато известно, что городская Дума, беспокоясь о том, что в Лальске мало ремесленников, предложила мещанскому обществу послать в Архангельск или другой город для обучения трех мальчиков. Мещане города Лальска выбрали Ивана и Григория Норицыных и Виссариона Шемякина, о которых всему городу известно было, что они «праздношатающиеся». Кончилось все тем, что родители их не отпустили. Еще известно, что на общем собрании лальских мещан Ивана Гузнищевского по приговору Вологодской Уголовной палаты городничий наказал плетью за просрочку паспорта и оштрафовал на шесть рублей за небытие у исповеди в течении трех лет. Еще известно, что на должность городского лекаря определен отставной штаб-лекарь Игнациус, который и не думал приезжать в этот медвежий угол – штаб-лекарь жил себе в Великом Устюге, а в Лальск должен был приезжать по требованию.

В девяносто шестом году Лальский уезд упразднили, и город Лальск по Высочайшему указу в одночасье превратился в посад, приписанный к Устюжскому уезду. Упразднили Сиротский суд, Уездное казначейство, Духовное управление, Нижний Земский суд, должностные городничего, уездного стряпчего, винного и соляного приставов... Проще назвать то, что не упразднили. Оставили Лальскому посаду Городскую Думу, городской Магистрат превратили в Ратушу и в ней разрешили иметь бургомистра и двух ратманов. Да при Ратуше Словесный Суд. Всего семнадцать лет Лальск был уездным городом. Через два года Лальск по именному указу Правительствующего Сената снова стал городом, но лишь заштатным.

И снова началась в Лальске обычная городская жизнь, наполненная обычными городскими событиями. Сотского Селиверста Захарова «за пьянство, дебоширство и нерачительное исполнение своей должности» переименовали в десятские. Мещанина Ивана Паламошнова послали в Москву с тем, чтобы он купил там новый соборный колокол вместо разбитого, весом в сорок один пуд.

Губернатор просил городского голову «из единого любопытства» иметь сведения о том, сколько в городе купцов, на какую сумму они торгуют, на наличные или в кредит, как велик кредит по сравнению с объявленным капиталом, и прочие скучные финансовые подробности. Любопытный был губернатор, что и говорить. Городской голова спросил купечество, а то отвечало, что купец первой гильдии в городе всего один – Василий Александров Саватеев с сыном. Объявленного капиталу у него немногим более шестнадцати тысяч рублей. Торгует он через Архангельский порт мукой, поташом, говяжьим салом, льняным семенем, ячменем и рогожами на сумму в сорок две тысячи с половиной рублей и для своей торговли пользуется заморским иностранным кредитом. Второй гильдии купец был тоже один – Василий Афанасьев Максимов. Торговал он внутри

империи – в Сибири, на границе, при Архангельском порте и в сибирской приграничной Кяхте пушиной, шелковыми, бумажными и шерстяными тканями, немецкими товарами на общую сумму до пятнадцати тысяч рублей. Купцов третьей гильдии в Лальске к концу восемнадцатого века было шесть. Торговали они льняным семенем, пшеницей, ржаной мукой, холстами, льном, рыбой, говядиной и мелочным товаром. Некоторые из Лальска и не выезжали вовсе, а торговали единственно из собственных лавок в самом городе. Первый из купцов третьей гильдии Папулов имел товаров на общую сумму в четыре с половиной тысячи рублей, а последний Сидоров – на сумму в три раза меньше<sup>15</sup>. Это уже и серебряным веком не назовешь – только бронзовым.

И последнее о восемнадцатом веке Лальска. В семьсот девяносто девятом году на вопрос Губернского Правления о том, сколько для жителей здешнего города нужно пороху и селитры, лальские власти отвечали – нисколько.

Деятнадцатый век Лальска не был ни бронзовым, ни медным, ни даже каменным. Он был бумажным. В восемьсот двадцать девятом году<sup>16</sup> купец Степан Сумкин<sup>17</sup> в трех с половиной верстах от Лальска на реке Шилиг открыл бумажную фабрику. Тогда в России многие открывали бумагоделательные фабрики потому, что правительство в восемьсот пятнадцатом году взяло да и запретило ввоз в страну импортной бумаги, и стало выгодно развивать производство своей. В год открытия фабрики Сумкина в России уже существовало более семидесяти подобных фабрик. Поначалу-то Степан Семенович открыл еще и кожевенный и свечной заводы, вернее, заводики, но эти оказались убыточными и приказали долго жить, а вот бумажная фабрика выжила.

Сам Степан Семенович руководил фабрикой лишь первые десять лет ее существования. В тридцать девятом году он скончался, и хозяином фабрики стал его сын – купец первой гильдии Алексей Степанович Сумкин.

С сырьем на фабрике проблем не было – нужную для производства льняную тряпку привозили из Вологодской, Архангельской и Пермской губерний. Рабочих было хоть отбавляй – крестьяне из близлежащих деревень, а вот специалистов, способных обслуживать машины и управлять производством, приходилось приглашать. Сумкин-младший выписал из-за границы бумагоделательную машину стоимостью в двадцать тысяч рублей серебром и к ней паровую машину в два десятка лошадиных сил. Для установки этих машин в восемьсот пятьдесят седьмом году пригласили из Москвы англичанина Вельта. К тому времени уже на двух фабриках выпускали бумагу на сорок девять тысяч рублей в год. Работало на этих фабриках больше ста человек. Одна из них была большой, и на ней работало около ста рабочих, а вторая маленькой, и на ней работало полтора десятка. Может, в Москве или Петербурге такие фабрики и затерялись бы среди других, но в масштабе Лальска это были промышленные гиганты и без всякого сомнения градообразующие предприятия. И еще. В России в начале шестидесятых годов позапрошлого века было сто шестьдесят пять бумагоделательных фабрик. Только треть из них производила бумагу машинным способом, и лальская фабрика купца Сумкина была в их числе.

В Лальском краеведческом музее лежит под стеклом преёскурант писчебумажной фабрики торгового дома «Наследники Сумкина» в гор. Лальске, в котором перечислены виды выпускавшейся бумаги: чайная синяя, бутылочная серая, картузная белая, картузная голубая, картузная серая, товарная желтая, мундштучная, цедильная, бюварная красная, газетная, газетная епархиальная, книжная, почтовая гладкая, почтовая линованная, писчая молочная, писчая белая, писчая глазированная, писчая курительная, альбомная, этикетная, обойная, заверточная серая, обертка, чайная розовая и чайная синяя. Одних только сортов газетной бумаги было десять. Только попытайтесь представить себе, для каких случаев употреблялась писчая молочная бумага, а для каких писчая белая, не говоря о писчей глазированной. Только попытайтесь...

В восемьсот сорок восьмом году Вологодские губернские ведомости писали: «На двух бумажных фабриках деятельнейшего купца А.С. Сумкина занято работой до 300 человек; фабрики эти в течение 15 лет доведены до возможного совершенства, бумаги выделяется на 30000 руб. серебром, и несмотря на топкие болотистые места, окружающие ту и другую фабрики, попечи-

тельство хозяина по продовольствию и устройству жилищ избавляет рабочих людей от вредного влияния на их здоровье, потому со времени устройства фабрик болезни там не появлялись».

Через десять лет Алексей Степанович Сумкин пригласил из Калужской губернии нового мастера по выработке бумаге – Сергея Михайловича Прянишника, который прослужил на фабрике более полувека. В семидесятом году он женился на внучке Сумкина Екатерине Егоровне Шестаковой и стал совладельцем фабрики и главным уполномоченным по всем ее делам. Тут надо немного отступить назад и сказать, что у Алексея Степановича прямых наследников не было – два его сына умерли в младенчестве, но дочь он успел выдать замуж за молодого приезжего купца Егора Сергеевича Шестакова, которого уговорил «навечно записаться в лальское купечество». Ну, не то чтобы Сумкин его долго уговаривал, а просто сказал, что дочь не отдаст, если Шестаков... Тот и записался. Прянишников, стало быть, женился на дочке Егора Шестакова и дочери Сумкина – Елизавете Алексеевне.

Прянишников существенным образом расширил производство бумаги. При нем работало уже четыре паровых машины, шестнадцать роллов для размалывания сырья, которые обслуживали три с половиной сотни рабочих. К концу восьмидесятых годов торговый дом «Наследники Сумкина» производил сто тридцать две тысячи стоп бумаги в год на сто восемьдесят три тысячи рублей в год. В девятьсот восьмом году на фабрике работало почти пятьсот человек, которые давали продукции на четверть миллиона рублей. И это при том, что в самом Лальске проживало к концу девятнадцатого века немногим более тысячи человек.

У Сергея Михайловича Прянишникова<sup>18</sup> имелся брат – Илларион Михайлович, который производством бумаги не занимался, но был известным художником-передвижником. Он не раз и два приезжал в Лальск к брату и написал несколько картин на местные темы. Одна из этих картин, увы, незаконченная, называется «Крестный ход» и находится теперь в Русском музее.

Куда только не поставлялась бумага торгового дома «Наследники Сумкина» – и в близлежащие Архангельскую и Вологодские губернии, и в Сибирь, и на Кавказ, и на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. К концу века она была такого качества, что на международной выставке в Париже лальская бумага получила большую серебряную медаль, а в девятьсот двенадцатом году большую золотую на выставке в Лондоне.

Владельцы фабрики бедными не были. Иннокентий Егорович Шестаков – сын Егора Сергеевича Шестакова – владел кроме фабрики конным заводом, тремя домами в Лальске, домом в Великом Устюге, кладовыми, амбарами. Имел четыре с половиной тысячи десятин земли, пристань на реке Лузе и два парохода – «Лальск» и «Шиллог».

О рабочих фабриканты не забывали – построили им дома при фабрике, небольшую больницу на шесть коек, где принимал фельдшер, и начальную школу для детей. К началу двадцатого века при фабрике вырос поселок, в котором проживало полтысячи человек.

Не забывали наследники Сумкина и Лальск. При их содействии в восемьсот семьдесят седьмом году открылась городская библиотека и, спустя шестнадцать лет, трехклассное городское училище. До этого в городе было только приходское училище для мальчиков, открытое еще восемьсот тридцать четвертом году на средства купца Плюснина. Шестаковы и Прянишниковы были попечителями местных учебных заведений, жертвовали деньги на ремонт и благоустройство Лальских храмов.

Вернемся к городу. Если вооружиться увеличительным стеклом и пролистать десяток справочных и памятных книжек по Вологодской губернии, если прочесть десятки номеров Вологодских губернских ведомостей, то среди вороха бесчисленных новостей о жизни в Вологде, Грязовце, Тотьме, Великом Устюге и других уездных городах Вологодской губернии можно обнаружить крупицы сведений о заштатном городе Лальске. К примеру о том, что в восемьсот сорок третьем году, если судить по ежегодной смете городских расходов, городская богадельня содержалась на восемьдесят пять рублей в год, из которых пятьдесят пять рублей отпускалось из городского бюджета, а остальные тридцать рублей представляли собой проценты с капиталов, положенных на ее (богадельню) имя надворной советницей Раковой (с формулировкой «на поддержание в

городе бедных и поминовение ее со сродниками»), устюжской мещанской Острогиной и купцом Федором Абрамовым; что на раздачу бедным жителям Лальска в год отводилось четыре рубля тридцать копеек, а на «иллюминацию Присутственных мест в Высокоржественные дни» полагалась точно такая же сумма; что Иван Плюснин, лальский купец первой гильдии, на содержание городского приходского училища пожертвовал три с лишним тысячи рублей, и проценты с этого капитала, которые составляют около двухсот рублей в год, позволяют училищу ни в чем себе не отказывать; что на «исправление в городе площадей и улиц» было предусмотрено ровно десять рублей и ни копейкой больше, а на покупку и починку мебели для Городской Думы и Градского дома в два раза больше; что на ремонт тротуаров возле Присутственных мест по смете полагалось еще десять рублей (на всех остальных немощеных улицах и площадях заштатного города Лальска тротуары не ремонтировали по причине их отсутствия); что на починку дома, занимаемого Присутственными местами, ассигновали шестнадцать рублей, а на содержание дорог в черте города – двадцать пять рублей; что «церковнослужителям за поминовение вкладчиков в Думу капиталов и их сродников» в год уходило около пятнадцати рублей, что в три раза больше суммы, полагавшейся для раздачи бедным; что на содержание общественных часов на колокольне Воскресенского собора истратили пятнадцать рублей; что на устройство балдахина для водоосвящения жители города Лальска тратили каждый год пять рублей, и эта сумма на семьдесят копеек больше известной суммы, которую раздавали бедным. И еще. В самом конце сметы было сделано примечание «Кроме того хранится остаточного капитала от прежних лет 628 руб. 96 коп.». Как перед глазами стоит этот остаточный капитал, спрятанный в ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, ключик от которого бургомистр носил на том же шнурке, что и нательный крестик.

В следующем, сорок четвертом году... да то же самое, что и в прошлом. Те же десять рублей на исправление городских площадей и улиц, те же десять рублей на ремонт тротуаров возле присутственных мест, те же двадцать рублей на ремонт дорог в черте города, те же пятнадцать рублей на ремонт городских часов на колокольне собора, те же четыре с половиной на освещение Присутственных мест в праздники. Вот только денег на покупку и починку мебели в Думе истратили уже двадцать восемь рублей, а на починку и отопление Присутственных мест целых тридцать. Появилась и новая статья «На содержание трех мальчиков, подкинутых в существовавшую прежде сего Богадельню и бедных в городе жителей» город дал почти двадцать пять рублей. Три подкинутых мальчика! Воображаю какое это было событие для добропорядочного и богобоязненного Лальска, в котором в середине девятнадцатого века по статистике меньше всех в губернии рождалось незаконнорожденных детей. В отдельные годы их вообще не было в то время, как они рождались и рождались в уездных городах десятками, а в губернской Вологде их в год рождалось более сотни. Отдельно надо сказать о «существовавшей прежде сего богадельне». Ее пришлось закрыть по причине ветхости и по причине того, что добропорядочные и богобоязненные граждане Лальска никак не могли собрать достаточно денег на ее содержание, а Иван Федорович Бобровский, который эту богадельню еще в начале восемнадцатого века устроил, давно умер, а его внук отказался ее содержать, поскольку не имел для этого средств, а лальские мещане и купцы...

В восемьсот сорок шестом городские власти выделили десять рублей и тридцать две копейки на содержание двух мальчиков «подкинутых в существовавшую прежде сего богадельню». Бог ведь куда делся третий мальчик – может, взяла его на воспитание какая-нибудь добрая и бездетная мещанская или купеческая семья, а может, и помер он в одночасье, как помидали тогда бесчисленно младенцы от гнилой горячки, нутреца или заметухи. На помощь бедным как выделяли четыре тридцать – так и продолжали выделять. Ну, и на балдахин для водосвятия пять рублей, как говорится, отдай и не грехи. В тот год в Лальске проживало восемьсот двадцать семь жителей. Дворян и чиновников было среди них всего семь. Губернские статистики подсчитали, что съели лальчане за год сто двадцать две коровы, семьдесят пять баранов и овец, шестьдесят два теленка и пятьдесят четыре свиньи. Еще и выпили около двух тысяч ведер вина. Дотошные статистики тогда посчитали, что все эти съеденные свиньи, коровы и телята потянули на

полторы тысячи пудов мяса. Да еще из окрестных сел в Лальск привезли четыре с половиной сотни пудов замороженной свинины и говядины. Если пуды и ведра перевести в килограммы и литры, то получается, что в год один житель Лальска съедал почти сорок килограммов мяса и выпивал тридцать литров вина. Вином тогда называли водку. То есть в день выходила почти стограммовая стопка водки и сто грамм мяса. Это, если наливать всем от мала до велика каждый божий день и не соблюдать постов, а они скорее всего соблюдали и младенцам скорее всего не наливали. Ну не могли же они, в самом деле, наливать младенцам. Если все это сравнить с современными нормами потребления мяса и водки... Хотя посты теперь соблюдают далеко не все, а водку младенцам...

В сорок седьмом году Вологодские губернские ведомости опубликовали «Краткий статистический взгляд на заштатный город Лальск». В нем, в частности, было написано, что «кругом одной из соборных церквей существует примечательная ограда: на обыкновенном каменном фундаменте возведены каменные же столбы, между которыми вместо решетки, вделаны буквы из белого листового железа, из сочетания которых образуется кондак Богородицы». Вот вам и достопримечательность. Впрочем, в том году появилась и еще одна – первый каменный жилой дом. Остальные сто тридцать восемь домов как были деревянными, так и остались.

И еще цитата из «краткого статистического взгляда»: «Главный предмет занятия здешнего купечества есть торговля к Архангельскому порту хлебом, льняным семенем, льном, сальными свечами и писчей бумагой, которая и отправляется тоже и на Ирбитскую ярмарку. Все вышеозначенные предметы торго заготавливаются зимою, как в самом городе Лальске, так и большею частью по другим городам здешней губернии, куда Лальское купечество для производства подлежащих закупок записывается гостями. Писчая же бумага заготавливается на фабриках почетного потомственного гражданина Лальского 2-й гильдии купца Алексея Сумкина... Кроме разных ремесел производимых в Лальске и поныне, он прежде славился искусным часовым ремеслом. Часы там делавшиеся на манер английских, были иногда устраиваемы со множеством колокольчиков, наигрывавших разные мотивы, с боем четвертей и с показанием разных фазов Луны. Ныне за смертью производившего их часового мастера, такие часы уже почти считаются редкостью». И еще. На содержание мальчика, подкинутого в существовавшую прежде сего богадельню, истрачено пять рублей шестнадцать копеек. Вот и думай теперь, вот и мучайся неизвестностью – куда подевался второй мальчик из трех подкинутых. В смете расходов про это не написали, а зря. Ну и, как водится, бедным их обычные четыре рубля тридцать копеек, на иллюминацию Присутственных мест четыре с половиной, а на балдахин для водосвятия пять рублей. На приведение в порядок площадей, улиц два рубля, на очистку площадей девять, на ремонт тротуаров возле Присутственных мест три рубля, а на мебель в Думе и Городском доме – все двенадцать. Да что они там, в Думе – стульями, что ли, кидались... И это при том, что тогдашняя мебель была не чета нынешней.

Между прочим, если судить по смете городских расходов и доходов, Лальск совсем не бедствовал – доходы, к примеру, в восемьсот пятьдесят третьем году почти в два раза превышали расходы, составлявшие семьсот одиннадцать рублей. И при таком, как сказали бы сейчас, профиците в городе не было ни больницы, ни аптеки, ни даже «существовавшей прежде сего богадельни». Зато были три питейных дома и штофных лавки. В Лальске не было даже инвалидной команды под командой какого-нибудь отставного поручика и кавалера ордена Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Да что команды! Не было ни одной полицейской будки с усатым и вечно пьяненьким будочником.

Вообще сведения о жизни внутри Лальска в середине позапрошлого века глухи и отрывочны. В ежегодной Справочной книжке для Вологодской губернии за восемьсот пятьдесят четвертый год ему посвящено всего две строчки. Сказано, что бургомистром в городе купец второй гильдии Иван Афанасьевич Ощепков, а секретарем губернский секретарь Василий Александрович Воцкий. И все. И больше ничего. Только добавлено в разделе о дорогах Вологодской губернии, что расстояние от Лальска до уездного Великого Устюга восемьдесят верст, но это и в каждой книжке



сообщается. Правда, в следующем году в этом же справочнике можно прочесть, что лальский, второй гильдии купец Алексей Сумкин пожертвовал на государственное ополчение пятьсот рублей (в скобках заметим, что остальные жители Лальска на эти же цели совокупно пожертвовали одиннадцать рублей без пяти копеек), в пользу воинов, раненых при защите Севастополя, сто рублей. Еще один Лальский купец Шестаков пожертвовал на эти же цели сто рублей, но Сумкин взял на содержание в свой дом в Великом Устюге три десятка ратников на все время их пребывания в городе. Впрочем, все это можно отнести к событиям внешним и к самому Лальскому имеющим косвенное отношение.

Иногда к обязательным двум строчкам о бургомистре и секретаре в Справочных, а затем и в Памятных книжках прибавляли несколько разного рода цифр. Например, о том, что в пятьдесят шестом году на Афанасьевскую ярмарку, которая ежегодно проходила в Лальске, привезли товаров на двадцать тысяч, а продали едва на пятнадцать, или о том, что в шестидесятом году родилось в городе девятнадцать мальчиков и пятнадцать девочек, из которых два мальчика и одна девочка оказались незаконнорожденными. В этом же году, как подсчитали статистики, в Лальске у горожан имелось пятьдесят две лошади, рогатого скота девяносто голов, три с половиной десятка овец, шестьдесят пять свиней и ни одной козы. Кроме коз не было в городе ни одного хлебника, ни одного булочника, ни одного кондитера, ни одного колбасника и ни одного пряничника. Было два мясника. Модисток, шляпников, башмачников и скорняков тоже не было. Только три портных и четыре сапожника. Шорников, каретников, кузнецов и мельников не имелось. Не было даже лудильщика, чтобы чинить прохудившуюся посуду. Зато работали часовщик и два ювелира. Проживали в Лальске четыре печника, два столяра, два обойщика, один трубочист, один плотник и шесть хлебопашцев. Если говорить о том, чего еще не было в Лальске начала шестидесятых годов девятнадцатого века, то непременно нужно сказать, что не было в нем ни католиков, ни протестантов, ни магометан, ни иудеев. Во всех остальных городах Вологодской губернии и, само собой, в Вологде они были, пусть иногда и в следовых, как говорят химики, количествах, а в Лальске... только православные. И еще о том, чего в Лальске и окрестностях было куда больше, чем почти у любого города в Вологодской губернии. В первой половине шестидесятых годов городу Лальску принадлежало 1754 десятины 741 сажень леса. Больше лесов было только в Яренском уезде, а это уж была такая глухомань, которую, по совести сказать, даже медвежьим углом не назовешь, а только барсучьей норой. В Яренском уезде как минимум треть, а то и половина жителей и вовсе была стариками-лесовиками, водяными и болотными кикиморами.

И снова. В Памятной книжке для Вологодской губернии на 1861 год Лальску посвящено ровно две с половиной строки. Сказано, что бургомистром в нем купец третьей гильдии Николай Афанасьевич Ощепков, а секретарем коллежский секретарь Александр Петрович Шапошников. Половина строки – это известие о том, что пятьдесят восьмом году в Вологде открылся книжный магазин лальского купца Сумкина. В самом Лальске книжного магазина еще долго не было, а если бы Сумкин его и открыл, то довольно быстро закрыл бы, поскольку с грамотностью у лальчан все обстояло не то чтобы плохо, но... Почти сто сорок неженатых мужчин и сто восемьдесят незамужних женщин не получили никакого образования. Среди девяноста четырех женатых мужчин всего дюжина имеющих хотя бы начальное образование (в городе было начальное училище народного просвещения), а среди почти такого же количества замужних дам где-то учившихся – всего две. На весь Лальск было сто восемь грамотных мужчин и шестьдесят восемь женщин. Неграмотных мужчин – сто один, а женщин – чуть больше двух с половиной сотен. Окончивших местное училище народного просвещения было ровно тридцать три человека на весь город, или 1/18 часть всего населения города. Представить себе, как все умеющие грамоте лальчане станут покупать в книжном магазине книги, у меня не получается. У вас тоже не получится. И не старайтесь.

В Памятной книжке для Вологодской губернии на 1862 – 1863 гг. можно найти, кроме обязательных двух строчек о бургомистре, ратманах и секретаре, небольшое описание Лальска: «Почти в середине течения Лузы по Устюгскому уезду в двух верстах от нее, при речке Лале стоит

заштатный город Лальск с 186 деревянными домами, 635 душами обоего пола жителей, и 7 церквями. В нем почти каждый обыватель имеет свой дом, имеет свою деревушку на праве, представленном жителям здешних городов владеть землями, обрабатываемыми половниками или самими владельцами, а потому здесь нет и помину о торговых ценах на торговые припасы; если же кто-либо не имеет недвижимой собственности, так тот и вовсе не живет в Лальске, или поступает в услужение, причем пользуется готовым содержанием».

Устроиться на работу в самом Лальске можно было только сидельцем или приказчиком в одной сорока семи городских лавок или рабочим в одной из трех красилен, принадлежавших мещанам Александру Протопопову, Ивану Деревнину и Николаю Гладышеву. Фабрика Алексея Степановича Сумкина, как мы помним, находилась в трех с половиной верстах от города.

Восемьсот шестьдесят шестой год в Лальске запомнился тем, что в городе не родилось ни одного незаконнорожденного ребенка. Сыграли всего пять свадеб. Ни одного развода, ни одного каменного дома, ни одной козы. Козы появились в городе лишь через десять лет. Тогда же появились в Лальске два кузнеца и переплетчик. Правда, у горожан почти не осталось свиней – всего пять, а еще двадцать лет назад было целых шестьдесят пять голов. Кто его знает, почему так вышло. Не козы же с кузнецами и переплетчиком их забодали, в конце-то концов... Тогда же на средства купца Алексея Стефановича Сумкина в соборной Благовещенской церкви «устроен новый иконостас весь вызолоченный по полименту и приобретены для оного новые иконы Московской живописи по золотому фону... стены как в алтаре так и в самом храме и притворе окрашены приличными красками на масле; для отделения соли от прочего пространства в храме устроена чугунная решётка». Городское кладбище обнесли невысокой кирпичной оградой, крытой железной двускатной крышей... Про восемьсот шестьдесят шестой год всё.

В семидесятом году Александр Второй реформировал городское управление, и по новому Городовому положению в Лальске появилась Городская Дума, гласные, председатель земской управы и городской голова. Городских голов в Лальске было несколько, и рассказывать о них особенно и нечего – головы как головы – большей частью бородатые головы купцов второй и третьей гильдий. Только об одном – Иване Степановиче Пономареве – стоит рассказать особо, поскольку он был не только самым лучшим городским головой в истории Лальска и первым его летописцем, но и сам по себе был отдельной главой этой истории.

Само собой, Иван Степанович не сразу родился городским головой с цепью на шее. До этого он был гласным Лальской Городской думы, а еще раньше городским секретарем, членом Устюжского уездного училищного совета от Лальска, состоял попечителем Лальского приемного покоя для больных, почетным попечителем Учещкого земского училища в тринадцати верстах от Лальска... Всех его должностей и обязанностей не перечислить. Пономарев был очень активным общественным деятелем. Купеческий сын Иван Степанов Пономарев больше всего на свете не любил только одно занятие – торговлю.

В восемьсот девяностом году Пономарева избрали городским головой, и был он им до самой своей смерти в девятьсот шестнадцатом, но еще до его избрания городским головой по его настоянию в Лальске в начале восьмидесятых годов было открыто женское начальное училище. И это при упорном сопротивлении гласных Городской Думы. И это при том, что граждане Лальска почти сто лет боролись против открытия в городе мужского начального училища, а когда его все же открыли, стали «ходатайствовать о закрытии училища по невозможности обществу содержать таковое... по малочисленности купечества и скудости мещанства». В девяносто четвертом году Иван Степанович открыл в Лальске мужское шестиклассное городское училище. Не просто открыл в купленном для этого здании, а добился постройки нового за счет Устюжского уездного земства и сам нанимал на строительство плотников. Он же был и почетным смотрителем нового училища<sup>49</sup>. В девятьсот одиннадцатом году заштатный Лальск тратил на народное образование больше, чем некоторые уездные города Вологодской губернии. Иван Степанович еще и хлопотал о стипендиях тем выпускникам городского училища, которые после его окончания шли учиться дальше – в учительские семинарии уездных городов Вологодской губернии.



В восемьсот девяносто восьмом году «за усердную и полезную деятельность по учреждениям Министерства народного просвещения» Иван Степанович Пономарев, окончивший лишь начальную школу в Лальске и уездное училище в Устюге, был награжден серебряной медалью, а через двенадцать лет «золотой медалью для ношения на шею». Медалей у Пономарева было несколько. Еще одной, бронзовой, он был награжден в девяносто седьмом году за руководство переписью населения в восточной части Устюжского уезда.

В восемьсот девяносто первом году построили больницу, где работал фельдшер, а доктор, как и сто лет назад, приезжал время от времени из Великого Устюга, где он постоянно проживал.

Пономарев обращал свое внимание на все. Он, к примеру, предложил открыть в Лальске общество взаимного страхования имущества от огня. На это гласные согласились, поскольку Лальск, как и все деревянные городки, очень страдал от периодических пожаров. Открывать городскую библиотеку в Лальске хотели не больше чем открывать училище. Надо сказать, что ни уездным, ни губернским начальникам библиотека в Лальске тоже была не нужна. И все же Пономарев добился ее открытия. В разрешении на ее открытие, выданном в начале восьмидесятых годов, так было и записано: «под личную ответственность купеческого сына Ивана Степановича Пономарева». Когда в девяностые годы в городской библиотеке оказалось уже довольно большое количество книг, Иван Степанович организовал переплетную мастерскую, приобрел необходимый инструмент и пригласил из Великого Устюга переплетчика, который за два года работы переплел не только изрядно потрепанные библиотечные книги, но и книги некоторых жителей Лальска. Жил и работал переплетчик все это время в доме городского головы. Только в конце восьмидесятых годов в Лальске была открыта еще одна библиотека – для священников, чтобы «дать духовенству округа возможность дополнять и расширять приобретенные в учебных заведениях знания и следить за развитием богословской науки и христианского просвещения». Светских книг там практически не имелось, а газеты были и вовсе запрещены. Вообще за недозволенной литературой следили внимательно. В девяносто четвертом году в Лальской городской библиотеке бдительные правоохранители обнаружили подписку журнала «Русская мысль» за семь лет, всю сложили в специальный ящик, который опечатали и сдали на хранение библиотекарю.

В начале двадцатого века Лальский городской голова, увидев в каком-то журнале рекламу керосино-калильных фонарей, уговорил городскую Думу заменить самые обычные примитивные керосиновые фонари, которые не столько освещали город в темное время суток, сколько просто расходовали керосин, на новые, дававшие почти такой же яркий свет, как и электродуговые. Такие фонари были далеко не во всяком уездном городе Вологодской губернии, а в заштатном Лальске были.

При Пономареве в Лальске появилось почтовое отделение, а спустя короткое время оно стало почтово-телеграфным. Специально нанятый почтальон три раза в неделю ездил в Устюг и привозил оттуда в управу почту.

Каким образом Ивану Степановичу при вечной его занятости удавалось выкраивать время еще на краеведение – неизвестно, но именно Пономареву Лальск обязан первой своей летописью. Он успел написать только первый ее том, который называется «Материалы к истории города Лальска Вологодской губернии». В нем самым подробным образом описана история Лальска с самого его основания до конца восемнадцатого века. Старинных документов Пономарев изучил огромное количество. Городская Дума даже выделила сто рублей на собирание необходимых материалов. Этой небольшой суммы, конечно же, не хватило, поскольку пришлось пользоваться архивами монастырей, Министерства юстиции, из которых нужно было извлекать большое количество материалов писцовых, дозорных и приправочных книг. Такого серьезного краеведческого труда в конце девятнадцатого века в Вологодской губернии, исключая саму Вологду и Устюг, не было написано ни об одном уездном городе, а о заштатном Лальске был. И теперь ни один краевед, пишущий о Лальске, не обходится без того, чтобы не сослаться на работу Пономарева.

Иван Степанович Пономарев умер от сердечного приступа в апреле девятьсот шестнадцатого года. После похорон в его письменном столе нашли не одно и не два предупреждения из

Ярославско-Костромского земельного банка о том, что нужно немедленно уплатить очередной взнос в счет погашения ссуды, взятой под залог дома. Семья городского головы, управлявшего городским хозяйством Лальска почти полвека, жила бедно. Жалованье Пономарева лишь в последние четыре месяца его жизни было сто рублей в месяц, а до этого два года он получал по пятьдесят, а еще раньше тридцать пять. Семьи, в которых одиннадцать детей, редко живут в достатке. Иван Степанович, как уже было сказано, торговать не любил, а потому сначала продал небольшие земельные владения<sup>20</sup>, доставшиеся ему по наследству, потом большую часть своих коллекций монет, бумажных денег, почтовых марок, старинных книг, рукописей, антикварных вещей и палеонтологических редкостей, а потом и заложил дом. Кроме бумаг из банка в письменном столе Пономарева нашли список долгов на пять тысяч рублей. Три тысячи из этих денег Иван Степанович был должен конторе бумажной фабрики. Этот долг владелец фабрики купец Шестаков ему немедленно списал. Еще и перевел в банк триста рублей в счет очередного взноса по закладной.

В девятьсот тридцать первом году дом семьи Пономаревых был по суду отчужден райисполкомом. Жене Ивана Степановича А.А. Пономарева с дочерью и внуком пришлось переехать на частную квартиру, а все вещи, за исключением тех, что удалось разместить у родственников, сложили в амбаре, во дворе дома. Через несколько месяцев вдова Ивана Степановича умерла, а райисполком велел дочери очистить амбар. Девать ей вещи было некуда, и потому ими стал владеть райисполком, поскольку они находились в амбаре, который уже ему принадлежал. Говорят, что старинное кресло восемнадцатого века в стиле рококо, на котором сидел Иван Степанович, видели в одном из райисполкомовских кабинетов.

Девятнадцатый век для Лальска был не только бумажным, но и льняным. На ярмарке и трех торжках, ежегодно проводившихся в городе, торговали прежде всего льном и куделью, то есть очищенным льняным волокном. В отдельные годы в самом Лальске и его окрестностях скупали льна и кудели на миллион рублей. Сюда приезжали скупать лен представители прядильно-ткацких фабрик Ярославля, Костромы и Устюжского уезда. Скупка льна продолжалась с конца октября до конца декабря. Лальчане сдавали свои дома скупщикам льна и других товаров, с тем чтобы те устраивали в них склады товаров. Ярмарки проходили в Лальске с октября по март. Кстати, о лальчанах. Лальск был единственным городом в Вологодской губернии, в котором не было дворян – только мещане, купцы, духовенство, крестьяне и половники<sup>21</sup>. В восемьсот семьдесят третьем году в Лальске проживало почти шестьсот человек. Из них половина – мещане, около восьми процентов – купцы, пятнадцать процентов духовенство, а остальное – крестьяне и половники. К концу девятнадцатого века население Лальска составляло тысячу сто человек – все те же мещане, купцы, священники и крестьяне.

Вы, наверное, думаете, что Лальск, торгующий льном и опекаемый бумажными фабрикантами, разбогател, украсился домами с коринфскими колоннами и похорошел? Увы, он как был захолустьем – так и остался. В начале двадцатого века в нем было всего четыре каменных дома и около двух сотен деревянных. Дюжина улиц и два переулочка. Мощеных ни одной. Освещался город яркими, но очень редкими керосино-калильными фонарями. Конечно, главным украшением Лальска были церкви, а кроме церковей ограда с буквами из кондака Богородице, сосновый парк, бульвар длиной двести с лишним метров и... Нет, не все. К концу девятнадцатого века в Лальске появился клуб. Назывался он «Общественное собрание». Клубом управлял совет старшин, в числе которых был Иван Степанович Пономарев. Поначалу он и помещался в доме городского головы, а потом для него построили специальное здание с залом для танцев, бильярдным и карточными столами и сценой для постановки спектаклей. Крестьяне в этот клуб не ходили. Завсегдатаями были местные интеллигенты, купцы и мещане. Женщины приходили сюда редко – только на семейные вечера, на которые пускали и молодежь, в том числе и девушек. Мазурка, полька, оркестр из трех скрипок и контрабаса, лимонад, монпансье «Ландрин», шампанское, пироги с капустой и морковью. Во время танцев на сцене обычно сидели мамы женихов и высматривали танцующих в зрительном зале невест, а мамы невест, сидевшие рядом с мамами

женихов, высматривали женихов. В девятьсот восьмом году молодежь Лальска решила организовать свой демократический клуб, куда можно было бы приходиться представителям всех сословий. Назвали этот клуб «Семейный кружок», и девушки туда могли приходиться каждый день. Купили граммофон с пластинками, поставили бильярд, столы для карт и стали гонять шары и играть в преферанс, сообразуясь с новыми, демократическими принципами. Еще и мазурку заменили вальсом. Новый клуб квартировал в доме городского головы. Просуществовал он до самой Первой мировой войны.

Все же не стоит думать, что развлекаться в Лальске можно было только играя в карты или на бильярде. Были и культурные развлечения. В свободные от танцев вечера в клубе «Общественное собрание» ставили спектакли по пьесам Островского, Сумбатов-Южина и еще целого ряда популярных тогда авторов. Особой популярностью пользовалась пьеса В.А. Тихонова «Сполохи» с подзаголовком «Жизнь достанет», главный герой которой – Адриан Износков, чем-то неуловимо напоминающий чеховского профессора Серебрякова, говорит: «Оставьте меня в покое. Я ничего не хочу знать. Служить при нынешнем шатании я не могу; жить в Петербурге, в этой крикливой сутолоке – не в силах...». Так и вижу, как после этой фразы лальская публика вздыхала и думала: «Пожил бы ты у нас, среди гусей с курами, мещан, медведей и станowych приставов, похожих на медведей как две капли воды, без сутолоки и крика хотя бы месяц – посмотрим как запел бы».

Лальская публика театром была не избалована и живо реагировала на все, что происходило на сцене. На одном из спектаклей в декорациях был устроен невидимый ручей, протекавший через всю сцену. За кулисами приготовили большой железный бак с водой. Человек, приставленный к баку, черпал ведром воду и наливал ее в самый обычный ручной мойник из тех, которыми и до сих пор пользуются у нас на дачах. Ручейник висел выше бака и был соединен с ним трубкой. Струйка воды падала в бак и это «журчание» было слышно всему залу. Успех был оглушительный. Зрители вскакивали с мест, чтобы увидеть ручей.

Поначалу режиссером в театре была провинциальная актриса по фамилии Гулина, приехавшая в Лальск, потом, некоторое время, после того как Гулина умерла – ее дочь, а с девятьсот восьмого года спектакли ставила Е.И. Шестакова – дочь владельца бумажной фабрики. После семнадцатого года... ничего ужасного с ней, к счастью, не случилось. Через пару лет она вышла замуж и уехала из города.

Вы не поверите, но в крошечном Лальске в то время было даже два театра. Вторым был народный. В нем ставили народные драмы вроде «Царя Максимилиана», которые обычно играли на Святках. Народные драмы – это... Впрочем, народные драмы не имеют никакого отношения к истории Лальска. Скажу только, что ставила эти драмы молодежь – городская и фабричная, женские роли исполнялись мужчинами, костюмы делались из картона и обклеивались золотой или серебряной бумагой в зависимости от важности того или иного персонажа.

Если к двум клубам и двум театрам прибавить Вольное пожарное общество под председательством Иннокентия Егоровича Шестакова, владельца бумажной фабрики, почтово-телеграфную контору, городскую повивальную бабку, земскую больницу, двух врачей с аптекарским помощником, аптеку, Общество взаимного страхования от огня, в котором был распорядителем Иван Степанович Пономарев, Общество потребителей, высшее начальное училище, женскую прогимназию, Сиротский суд, Общество призрения бедных<sup>22</sup>, две с половиной сотни деревянных домов и четыре каменных, несколько десятков торговых лавок, тысячу с лишним жителей, фабрику наследников Сумкина с пятью паровыми машинами, двумя водяными колесами, турбиной, семью паровыми котлами и около тринадцати тысяч годового городского бюджета, то получим Лальск перед Первой мировой войной. И еще прибавим помидоры, которые начал сажать в девятьсот десятом году приехавший в Лальск учитель чистописания коллежский регистратор Михаил Феофилович Дрицкий.

Наверное, нужно упомянуть события девятьсот пятого года, но в Лальске и размах беспорядков был соразмерен самому городу. В ночь на второе февраля большевики из Устюга разбросали по улицам Лальска прокламации и... все. Может быть, даже кто-то и разбил стекло в нетрезвом

виде, ругался матерно, грозил кулаком, обещал всем показать кузькину мать. Другое дело русско-японская война. В городе разместили военнопленных японцев. Местный исправник доносил уездному в Велико Устюге «Считаю долгом дополнить, что две семьи японцев открыли в городе прачечную и парикмахерскую, но едва ли они принесут им доход, а корейцев избегают пускать на квартиры, можно ли взять их на подённые работы на фабрику Сумкина для пилки и колки дров». Как только война закончилась, всех военнопленных стали отправлять обратно – в Японию и Корею, и тут оказалось, что не все из них хотят возвращаться. Более того, некоторые захотели перейти в православие. В июле пятого года лальское полицейское начальство рапортовало великоустюгскому: «10-го сего июля корейские подданные Пакюйсе-Син (30 лет) и Поягуни-Вон (23 года) приняли православную веру с наречением первого – Александром Сергеевичем Сергеевым и последнего – Федором Георгиевичем Георгиевским... Обряд совершал священник Спасской церкви о. Павел Баклановский. Об этом имею честь донести Вашему Высокоблагородию». В октябре еще один проживающий в Лальске кореец Ким-Тюки крестился и стал Алексеем Алексеевым. Вот, собственно, и все о событиях девяносто пятого года в Лальске.

Потом была Первая мировая, потом семнадцатый год, потом Гражданская, потом Великая Отечественная... В девятнадцатом году в доме Шестакова устроили детский дом. Тогда же Лальск забрали у Вологодской губернии и приписали к Северо-Двинской. В двадцать четвертом сгорела бумажная фабрика, уже не принадлежавшая Сумкиным. Правда, рабочие ее быстро и безвозмездно восстановили. В том же году Лальск навсегда престал быть городом и превратился сначала в село, а через три года в поселок городского типа. Приказали ему быть административным центром учрежденного Лальского района Северо-Двинской губернии. Центром Лальск, конечно стал, но железная дорога через него так и не прошла. Что говорить о железной, если и обычной асфальтовой дороги до Лузы до сих пор нет. В двадцать восьмом Лальск приписали к Северному краю, в тридцать седьмом к Архангельской области. В это же самое время стали строить узкоколейку Лальск – Пинюг. Начали и... бросили. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» писал: «А железная дорога Лальск (на реке Лузе) – Пинюг (и даже до Сыктывкара думали её тянуть)? В 1938 какие крупные лагеря там согнали, 45 километров той дороги построили – бросили... Так всё и пропало». Не то чтобы бросили, а проложили еще шестьдесят с лишним километров, но до Пинюга она так и не дошла. В тридцатых организовали духовой оркестр. Инструменты купила Лальская бумажная фабрика, и с тех пор ни одно торжественное собрание без него не обходилось.

В сорок первом Лальск отрезали от Архангельской области и прирезали к Кировской. В пятьдесят седьмом в первый раз поставили в центре города елку с электрическими лампочками. В то время городская электростанция работала на дровах. В центре лампы у уличных фонарей еще горели ярко, а ближе к окраинам, до которых было рукой подать, еле-еле. При Хрущеве в совхозе «Лальский» выращивали кукурузу. Вернее, пытались ее выращивать. При этом загубили льняные поля. Кукуруза, понятное дело, в этих широтах не растет совсем. Здесь даже ячмень не вызревает до конца. Пшеницу никто выращивать и не пытается. Тогда же, при Хрущеве, массово продавали и забивали коров, потому что власти не разрешали косить траву. В шестидесятых у лальчан еще ни телевизоров, ни холодильников не было, зато почти в каждом доме было радио, а у некоторых еще и радиолы. Последние, правда, далеко не у всех.

В шестьдесят третьем образовали Лузский район, и райцентром стала соседняя с Лальском Луза, а Лальск снова стал заштатным, но уже не городом, а поселком. Все эти годы, весь прошлый век и два первых десятилетия нынешнего, Лальская бумажная фабрика работала не переставая. Бумагу, понятное дело, делали уже не из тряпок, а из целлюлозы. Сырье привозили из Братска, Котласа и Сыктывкара. Бумага расходилась не только по стране, но ее и экспортировали – в Болгарию, Сирию и даже в Африку. Кроме писчей бумаги делали фильтровальную и промокательную. Те самые промокашки, которые вкладывали в каждую школьную тетрадь за две копейки. Ту самую фильтровальную бумагу, которая была в каждой химической лаборатории и которую держал в руках каждый химик. Теперь, в двадцатом году, фабрика почти мертва. Капитализм вернулся и принес собой конкуренцию, о которой здесь давно забыли. Перед закрытием на

фабрике работало около восьмидесяти человек. Кто теперь владеет тем, что осталось от фабрики, на которой почти двести лет делали бумагу, неизвестно. Есть временный директор, а владельцы... Впрочем, какая разница кто они. Фабрику не воскресить<sup>23</sup>.

Спросил я в местном историко-краеведческом музее, расположенном в красивом особняке, построенном еще Сергеем Михайловичем Прянишниковым, чем сейчас заняты жители Лальска. – Лесом, – ответили мне. Если работать на лесоповале или на лесопилке, то можно заработать до двадцати тысяч в месяц. Тот, кто не занят на лесоповале и на местных пилорамах, уезжает, как и в семнадцатом, и в восемнадцатом веках, в Сибирь на заработки – работать вахтовиками, на добыче нефти и газа. Те, кто не валит и не пилит лес, не уезжает в Сибирь на заработки, работают в местной администрации, нескольких магазинах, на почте, на маслозаводе и хлебозаводе. Хлеб и сливочное масло<sup>24</sup> в Лальске очень хороши. Еще хороша рыбалка. В Лале и Шилиге водятся плотва, уклейки, окуни, караси, хариус и даже стерлядь. В половодье можно поймать и нельму. Уж на уху-то всегда можно наловить. Зимы в последние годы стали теплыми. Еще лет десять назад зимой целый месяц могли стоять морозы за сорок, а теперь... Вот только расплодились волки и лисицы – утаскивают кошек и собак. Лисиц и правда много – на снегу у Воскресенского собора я видел их следы. Мне рассказали в местном музее, что одну собаку, сидевшую на цепи, волки утащили вместе с будкой...

Нет, в рассказе о Лальске не будет оптимистического финала. Какой уж тут оптимизм, если еле-еле отстояли местную больницу, которую власти решили закрыть, чтобы сократить свои расходы на то, на что они и без того не давали почти ни копейки. Ходил я по улицам Лальска и думал о том, что... Ну не собираться же им всем и идти из этого Богом забытого места обратно, откуда пришли – в Новгород. Или хотя бы в Великий Устюг. На кого, спрашивается, оставлять все najитое за четыреста с половиной лет? Кому оставлять Воскресенский собор, колокольню, кладбище с церковью Успения Богородицы, память о караванах в Китай, о двух с половиной десятках сортов бумаги, включая бюварную красную, мундштучную и глазированную? И в Новгороде их никто не ждет. И Дед Мороз, которому с огромным трудом удастся прокормить Устюг, не сможет на себе выгнать еще и Лальск. Не говоря о том, что хлеб и масло в Устюге, не говоря о Новгороде, совсем не те...

И последнее. В июне нынешнего, двадцатого, года жители Лальска обратились к вологодскому губернатору с просьбой включить и Лальск, и земли вокруг него в состав Вологодской области. Милый дедушка Константин Макарыч Писали, Кировской области не до них, что всегда тяготели они к Вологде, всегда были в составе Вологодской губернии, что обузой области не будут, потому как осталось их всего ничего, а туризм развивать в Лальске можно и нужно, что вместе с Великим Устюгом они составят... Думает вологодский губернатор. То есть он в ответе своем лальчанам написал, что «Вопрос включения города Лальск Кировской области в границы территории Вологодской области должен быть рассмотрен в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Вологодской и Кировской областей в сфере административно-территориального устройства, по результатам выявленного положительного мнения населения, проживающего на соответствующих территориях, по данному вопросу», но что это может означать...

-----  
<sup>1</sup> Рушница – ружье с фитильным запалом.

<sup>2</sup> Зендень – шелковая ткань.

<sup>3</sup> Китайка – легкая хлопчатобумажная ткань. Россия потом сама освоила ее производство и ко второй четверти девятнадцатого века стала экспортировать китайку туда, откуда она к нам пришла, в огромных количествах. У нас этой китайки в одной Костромской губернии, в какой-нибудь крошечной Вичуге, производилось столько... а теперь снова как в семнадцатом веке. Они нам китайку, а мы им... Соболями теперь уж не расплатишься. Вот разве что лес или газ...

<sup>4</sup> Камка (дамаск) – шелковая ткань с цветочным рисунком.

<sup>5</sup> Фанза – китайская шелковая ткань, напоминающая тафту.

<sup>6</sup> Фата коноватка – Точнее, канаватная фата. Шелковое женское покрывало или платокпрямоугольной формы. Такой шелк производили в сирийском городе Канават. Богатые женщины носили шитые золотом канаватные покрывала. Носили и бедные, когда хотелось пустить пыль в глаза. Про таких говорили «голь перекатна, а фата канаватна». Как такой платок попал в сундук Григорию Басанову – неизвестно, но уж он-то точно не был перекатной голюю.

<sup>7</sup> Доскан – ящик, шкатулка.

<sup>8</sup> Часть обратного пути каравана проходила в районе пустыни Гоби. Не самая легкая часть.

<sup>9</sup> Правду говоря, она была не Матвеевна, а Спиридоновна, но Спиридоновна нарушит размер и рифму.

<sup>10</sup> Хотя это и не имеет отношения к Лальску, но о такой детали жаль не упомянуть. Кроме указа, была еще и «Проезжая грамота», данная Саватееву в Посольском приказе. Так вот в этой грамоте первые два десятка слов «Божиею поспешествующею милостию мы, пресветлейший и державнейший великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец» были написаны золотом, а все остальное обычными чернилами. Впрочем, и китайскому императору была оказана честь – слова «богдыханову высочеству» тоже написали золотом.

Раз уж зашла речь о проезжих грамотах. Журнал «Русская старина» в одном из номеров конца позапрошлого века писал, что в семьсот четвертом году по Сибирскому тракту, а значит и через Лальск, проехал беглый крестьянин Тобольского уезда Ефрем Иванов. Представлялся Иванов местным властям полковником и крестником Бориса Петровича Шереметьева. Была у него «грамота» за подписью и печатью Бориса Петровича. Ехал он по с целью предупредить местные власти о якобы предстоящем проезде по Сибирскому тракту Петра Первого. В грамоте было сказано, чтобы везде Иванову давали по двадцать пять подвод и оплачивали прогоны. Ехал он от самой Москвы и проехал почти до Тобольска, прежде чем его разоблачили. Интересно – брал ли он заимообразно деньги у местных дьяков, подьячих и кушцов в обмен на обещание протекции у крестника, или только кутил в придорожных трактирах на прогонные деньги?

<sup>11</sup> Стоять на правее – это значит в течение некоторого, установленного судом или приказом времени, ежедневно, кроме праздников, стоять перед этим самым судом, пока тебя бьют батогами по ногам. Бить могли и час и два. Пока не отдашь денег или не найдешь человека, который тебя с правее выкупит. За долл в сто рублей нужно было стоять месяц или больше, если долг был больше. Это еще Иваном Грозным было установлено, и потом подтверждено несколькими указами в семнадцатом веке.

<sup>12</sup> Не поленился я написать в Национальный музей Республики Коми в Сыктывкаре. Тамашние музейщики долго меня спрашивали, какую организацию я представляю, по чьему заданию пишу очерк о Лальске, где он будет опубликован и каким тиражом. Требовали указать место работы, паспортные данные и прописку. Когда же я сообщил им, что никакого задания у меня нет, а я сам, своей, что называется, охотой, пишу и никакую организацию не представляю, то сообщили мне, что никаких шашенных часов из Лальска у них нет, а есть только напольные, работы часового мастера Михайлы Коршунова. Зато очень красивые и показывают даже фазы луны. Тогда я снова написал в Лальский музей, и выяснилось, что бывший настоятель Лальского Воскресенского собора считал, по каким-то ему одному известным причинам, что часы находятся в краеведческом музее Сыктывкара, и даже писал туда, считая, что часы нужно отдать собору. Музейщики – люди не из тех, которые по доброй воле отдадут хотя бы ржавый гвоздик, попавший к ним в фонды. Сыктывкарские – не исключение. Так я и не смог узнать, куда делись часы с колокольни Лальского Воскресенского собора. Как бы не сами хозяйственные лальчане не растащили в тридцатых части неработающего механизма по домам.

<sup>13</sup> И ведь нельзя сказать, что лальские купцы были дураки. Вовсе нет, но с дорогами у них была беда. Для того, чтобы в Лальск смог приехать генерал-губернатор Мельгунов и объявить его



городом, пришлось срочно ремонтировать дорогу от Устюга до Лальска – и мосты, и перевозки, и даже ставить новые верстовые столбы. Да и сейчас, когда их сменили новые купцы и неугасимых лампад Спасителю уже давно нет, с дорогами все без изменений. Вот кабы приехал в Лальск губернатор... Нет, мало губернатора, чтобы исправить дорогу от Лузы до Лальска, не говоря о дороге до Устюга. Тут поднимай выше... но кто же придет спустится в забытый богом Лальск с самых вершин... И начинаешь думать, что, может быть, дело в той самой лампаде Спасителю, которая давным-давно погасла.

<sup>14</sup> Справедливости ради нужно сказать, что были и совсем другие примеры. Лальский мещанин Григорий Зарубин, обучавшийся в Архангельской мореходной школе, в семьсот девяносто втором году ходил на торговом корабле «Меркурий» в заграничное плавание, в Голландию.

Вообще же жители Лальска морских путешествий и торговых предприятий, связанных с морем, не боялись. Так лальский купец Афанасий Чебаевский был одним из двенадцати компаньонов, снарядивших в 1758 году промысловую экспедицию на боте «Св. Улиан» на Алеутские острова. Четыре года длилось плавание. Одних черных и чернобурых лисиц добыли больше тысячи. Прибыль от экспедиции была оценена в сто тридцать тысяч рублей. Еще и привели в российское подданство двадцать восемь ничего не подозревающих алеутов на островах Уналашка и Умнак, которые сами же открыли и нанесли на карту. Правда, пришлось для острстки пострелять, но все обошлось благополучно. Все двенадцать купцов, и Афанасий Чебаевский в их числе, были награждены золотыми медалями «За полезные обществу труды».

Лальские купцы Терентий Чебаевский и Василий Попов снарядили в 1764 году на промыслы на Ближние и Лисьи острова Алеутской гряды шитик «Св. Иоанн Устюжский Чудотворец». После удачных промыслов через два года судно возвратилось на Камчатку. В том же году Василий и Иван Поповы снарядили промысловую экспедицию к Ближним и Лисьим островам на шитике «Св. Иоанн Устюжский Чудотворец», а через три года Поповы в компании с соликамским купцом Иваном Лапиным построили судно «Андреян и Наталья» и отправили его на промысел к острову Кадык. Плавание казалось удачным – пушнины добыли на шестьдесят три тысячи рублей.

Иван Попов организовал нескольких промысловых экспедиций, но после неудачного плавания судна «Иоанн Предтеча» в устье Амура в 1768–1772 годах разорился и через два года умер. Наконец, лальский мещанин\* Иван Бурчевский, у которого денег на снаряжение собственного судна не было, в 1792 году плавал вместе с Григорием Шелиховым к северо-западному побережью Америки.

-----

\*Лальские мещане были, конечно, разными. В то же самое время, когда Иван Бурчевский бороздил просторы Тихого океана, другой лальский мещанин, Петр Угрюмов, за разбой и грабежи, по приговору Нижегородской Уголовной Палаты, был наказан кнутом с вырезанием ноздрей и сослан в каторгу навечно.

-----

<sup>15</sup> Богатые лальские купцы жили в богатых, по лальским, конечно, меркам, домах. Купчиха Федора Юрьева – в восьмикомнатном доме, самые богатые Василий Саватеев и Василий Максимов – в семикомнатных. Купец третьей гильдии Сумкин и вовсе жил в четырехкомнатном доме, но самым большим домом в девять комнат владел не самый богатый купец Михаил Бобровский.

<sup>16</sup> Вы, конечно, спросите куда же делись первые тридцать лет истории Лальска в позапрошлом веке. Кто же их знает. Запропастились куда-то\*. В историях наших провинциальных заштатных городов, случается, пропадают и целые века. Что уж говорить о десятилетиях. Само собой, люди в них живут, рождаются, женятся, заводят детей, умирают, растят крыжовник и тыквы, торгуют мылом, пряниками, глиняными горшками, картузами или мобильными телефонами, но при этом не происходит ровно ничего, кроме выращивания редьки и моркови, торговли мылом, пряниками, картузами и мобильными телефонами. Не дай Бог путешественнику во времени попасть в такую темпоральную петлю – его оттуда не вызволить никакими силами. В таких временных болотах вязнут и тонут даже полноприводные машины времени на гусеничном ходу.

-----  
 \*Все же одно свидетельство существования Лальска в эти годы мне найти удалось. Городское общество г. Лальска прислало пятьсот рублей на благоустройство Вологды к приезду императора Александра I в августе восемьсот двадцать четвертого года. Огромная, между прочим, для Лальска сумма.  
 -----

<sup>17</sup> Фамилия Сумкиных известна в Лальске еще с середины семнадцатого века. Сумкины торговали пушниной, которую привозили из Сибири. Сам Степан Семенович начинал, что называется, с низов. В 1782 году ему было двенадцать лет, и по данным переписи он значился как «мещанский сын». О его имущественном положении сказано «без всякого имения, умеющий читать и писать». Учиться в Архангельск или хотя бы в Устюг он поехать не мог, а посылать его за счет города никто не собирался. Определили его с другими мещанскими мальчиками в городской магистрат. К сорока годам этот мальчик «без всякого имения» уже купец третьей гильдии, а через год, после того как он записался в третью гильдию, Сумкин перешел во вторую, объявив капитал в двадцать тысяч рублей, и еще через шесть лет открыл писчебумажную фабрику.

<sup>18</sup> Сергей Михайлович Прянишников умер в девяносто двенадцатом году и похоронен в Лальске. На черном гранитном надгробии выбито «Надгробное слово, сказанное рабочими фабрики Сумкина, на которой покойный прослужил более 50 лет»: «Глубокоуважаемый Сергей Михайлович! Мы рабочие заведываемой тобою фабрики движимые искренней признательностью за твое отеческое отношение к нам, собрались у гроба твоего, чтобы воздать последний долг и простить с тобой. Как много ты в течение своей долгой трудовой жизни, поражая нас своей энергией, трудолюбием и знанием всех мелочей фабричной работы. Как много сделал ты для усовершенствования и увеличения фабрики! Благодаря твоей работе увеличивалась и потребность рабочих рук, поэтому для постепенного увеличения семейств приходилось тебе без причины вызывающей с нашей стороны разлучаться со своими детьми. А кто помогал нам материально и нравственно в бесчисленных нуждах наших? Кто поддерживал нас при воспитании наших семейств? Все ты – покровитель и благодетель наш! Ты умер, постепенно угасая, твой мощный дух долго боролся со смертью. Но не умрет память о тебе, еще долго фабрика будет собою напоминать о своем создателе. Память о тебе будет передаваться среди нас из поколения в поколение. Прости нас, грешных, если заставишь тебя порой пережить несколько горьких минут! Дай Бог тебе, труженик и доброделитель наш, упокоение в вечной радости. Царствия Небеснаго!»

<sup>19</sup> Когда городское училище открылось, то по распоряжению Петербургского учебного округа в нем повесили портрет Ивана Степановича. Там он и висел до тех самых пор, пока училище не преобразовали в советскую школу. В советской школе вешали совсем другие портреты, а куда подевался портрет Пономарева...

<sup>20</sup> Когда начались выборы депутатов в Третью Государственную Думу, от землевладельцев восточной части Устюжского уезда хотели выбрать И.С. Пономарева и, конечно, выбрали бы, но к тому времени Иван Степанович землей уже не владел, и потому был выбран протоиерей Лальского собора А.А. Попов. Кстати, скажем и о Попове. В девяносто первом году он открыл при Лальском Воскресенском соборе бесплатную народную библиотеку, книги в которой выдавали не только горожанам, но и крестьянам окрестных сел и деревень. В девяносто десятом году в ней уже было более восьмисот томов.

<sup>21</sup> Половник – крестьянин, арендующий землю не за деньги, а за половину урожая.

<sup>22</sup> Переписали всех, кто жил подаями. Набралось немногим более полусотни человек. Определили им денежное пособие, но строго-настроено запретили ходить по домам и просить милостыню. Так они и послушались...

<sup>23</sup> Со стороны, конечно, кажется странным, что двадцатому веку в истории Лальска уделено в моем рассказе так мало места, но... краеведческих работ по этому периоду, как сказала мне сотрудник Лальского историко-краеведческого музея Юлия Страздынь, найти невозможно, поскольку



их почти нет. Нужна долгая и кропотливая работа в архивах, которые находятся частью в Кирове, частью в Архангельске, частью в Вологде. И в эти города на пригородном автобусе из Лальска не доехать. Нужны командировки, на которые нужны деньги, а деньги... Сами все понимаете.

<sup>24</sup> Умение делать хорошее масло у лальчан, можно сказать, врожденное, вологодское. Они и вообще считают себя вологодскими. Те восемьдесят лет, которые Лальск провел в составе Кировской области, не сделали их вятскими. Поздно им меняться. Да и зачем?

## Библиография

Любимов В. А. Лальск // Энциклопедия земли Вятской. Киров, 1994. Т. 1: Города.

Страздынь Ю.Ф. Лальск: от посада до города // Из жизни малого города. Сборник материалов 9-х, 13-х и 14-х краеведческих чтений 2012, 2016 и 2017 гг. – Лальск, 2017.

Пономарев И.С. Материалы к истории города Лальска Вологодской губернии. – В. Устюг, 1897.

Чебыкина Г.Н. Великий Устюг. Летописная книга XII – нач. XXI века. – Великий Устюг: Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2007. – 192 с.

Чебыкина Г.Н. Лальская писчебумажная фабрика Сумкиных // Великий Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 2. – Вологда: Легия, 2000. – 384 с.

Страздынь Ю.Ф. Церкви старого Лальска и Лальской округи // Сохранение исторических объектов и памятных мест Лузского района Кировской области. Сборник материалов третьей областной научно-практической конференции, посвященной Международному дню памятников и исторических мест. – Лальск, Киров, 2011. – 288 с., ил.

Горячевская Л.Ю. Лальский городской голова И.С. Пономарев (1849–1916): факты из биографии // Там же.

Пономарев В.И. Театр в Лальске в конце XIX и начале XX вв. // Вятские записки №19. – Киров, 2011. – 272 с., ил. С. 120–122.

Пономарев В.И. Клубы в Лальске в конце XIX и начале XX вв. // Там же. С. 123–125.

Нестерова Л. В. Великий Устюг в годы Русско-японской войны (1904–1905) // Великий Устюг. Краеведческий альманах. Выпуск 4. – Вологда, 2007.

Справочная книжка для Вологодской губернии на 1853 г. – Вологда, 1853. – 124 с.; на 1854 г. – Вологда, 1854. – 227 с.; на 1855 г. – Вологда, 1855. – 259 с.; на 1856 г. – Вологда, 1856. – 98 с.

Памятная книжка Вологодской губернии на 1860 г. – Вологда 1860. – 129 с.; на 1861 г. – Вологда, 1861. – 129 с.; на 1862 и 1863 г. Выпуск I. – Вологда, 1863. – 171 с.; на 1864 г. – Вологда, 1864. – 154 с.; на 1873 г. – Вологда, 1873. – 321 с.; на 1875 и 1876 г. – Вологда, 1875. – 262 с.; на 1897 г. – Вологда, 1897. – 259 с.

Вологодские губернские ведомости, 1843. №26; 1844. №13; 1846. №11; 1847. №48; 1848. №11; 1849. №11.

Павлушковы: воспоминание о старом Лальске // Сохранение исторических объектов и памятных мест Лузского района Кировской области. Сборник материалов третьей областной научно-практической конференции, посвященной Международному дню памятников и исторических мест. – Лальск, Киров, 2011. – 288 с., ил.

Данила ДАВЫДОВ

СТРАННАЯ РЕЦЕНЗИЯ ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ И НЕМНОГО ПРО КНИГУ

**Евгений Сулес. Письма к Софи Марсо. – М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2020. – 204 с.**

Что-то происходит с русской прозой не очень мне понятное. Мне всегда претило противопоставление эпох как «прозаических» и «поэтических», но сегодня поэзия переживает расцвет; хотя конкретные имена (за исчезающе минимальным исключением) будут вызывать споры, доходящие до взаимоуничтожения в фейсбучных лентах, некий значимый (действительно значимый!) ряд сможет обозначить любой сколь-нибудь компетентный читатель.

С прозой как-то иначе. Очень много превосходной прозы в самых различных литературных нишах. Но нет какого-то ощущения общего контекста – будто это не живая экосистема, а профессионально собранный зоопарк. Волк сам по себе, зайчик сам по себе, их вольеры далеко друг от друга. Нет живой радости природного взаимопоедания, когда, как известно, жука клевала птица, а хорек пил мозг из птичьей головы.

Не то чтобы я придерживался популярной одно время в определенных кругах идеи литературы как войны. И не то чтобы я полагал скандал в писательском сообществе сколь-нибудь продуктивным, напротив. Но одно дело живая избыточность, при которой те, кто не хотел бы замечать природных антагонистов, просто вынуждены с ними сталкиваться лицом к лицу, ну и реагировать в меру собственного ума и темперамента, а другое – некая разреженная атмосфера, где только уж очень сильное возмущение среды оказывается замеченным.

И вот правда: есть же у нас драматургия, мило живущая себе в параллельном мире, не очень чтобы известном среди иных литературных сообществ. Возникнет между этими сообществами беззаконная комета вроде Дмитрия Данилова – и вот уже возникает то, что в акторно-сетевой теории Бруно Латура обозначается как передача взаимодействий и трансляция связей. Но в целом, господа литераторы и сочувствующие, из числа тех, кто далек от театрального искусства, признаемся себе: мы ж ничего толком про современную драматургию не знаем, кроме ну совсем уж громких имен.

Это неправильно, но как-то привычно: драматургия существует между литературой и театром, у нее своя специфика, свои задачи, в конце концов – свои промышленность и экономика. Между поэзией и прозой – не как модусами письма, но как социальными институтами – исторически (ну, начиная с Нового времени) связей гораздо больше, больше и неких системных аналогий. В конце концов, если на минутку всё же обратиться к письму как таковому, поэзия и проза, по одной из очень убедительных, хотя и не общепринятых теорий, образуют некое взаимопереходящее целое («Это два типа, исторически размежевавших поле литературы, но границы их размыты и переходные явления неизбежны», как писал Б.В. Томашевский). Про верлибр молчок, но есть же и множество других явлений, которые можно кодифицировать, лишь обладая лингвистической прекрасной, но наивной уверенностью в том, что определенные таксоны неизменны и обладают неким провиденциальным смыслом.

Иное дело – социокультурная стратификация поэзии и прозы. Глупо об этом писать в двух предложениях, и я этого делать не буду. Однако мне представляется, что, несмотря на тотальное растождествление поэтического поля (такое, что представители разных его областей откажутся считать контрагентов просто-напросто людьми, занимающимися с ними одним и тем же делом,

чего уж говорить о собственно эстетической оценке), все-таки пока что (думается, что недолго) можно говорить «современная русскоязычная поэзия», представляя хотя бы примерно, о чем говоришь.

Недолго это продлится вот почему: уже сейчас феномен вполне успешной коммерчески эстрадной поэзии перестал кого-то удивлять (кроме особенно нежных существ), но это все-таки некий эпифеномен. Интереснее другой разворот. Старые, еще 90-х годов, потуги «сетевой поэзии» создать альтернативу поэзии профессиональной благополучно провалились (с одной стороны, в сети оказались все, с другой – лучшие из изначальных «сетевиков» профессионализировались, а прочие самоорганизовались, подобно бактериальному мату – не оставляют меня сегодня биологические метафоры почему-то, – в своего рода поэтические нивозные отстойники; говорю безоценочно, как и полагаεται естествоиспытателю). Но вот новые движения, лишь на вид схожие с прежними, активно происходящие ныне в социальных сетях, организуют действительно альтернативный процесс, если смотреть на него исключительно социологически. Если же посмотреть с историко-культурных позиций, то постмодернистская «двойная кодировка» не объединила массовую и «элитарную» культуры, но позволила и той, и другой присваивать некоторые коды культуры-антагониста. Новая культура «пабликов» с историко-литературной точки зрения не может не оказаться неким новым анонимным «болотом». Но с точки зрения более-менее представимой исторической динамики, так сказать, «дальнего чтения» Моретти в футурологической интерпретации, вполне возможно формирование из этого «болота» некоего нового фольклора – и генетически, и структурно отличного как от традиционного фольклора, так даже и от «постфольклора» нынешнего, но сохраняющего общие родовые черты с ними – анонимность, отсутствие оригинала при множестве вариаций, принципиальную способность к трансформациям при сохранении структурного «скелета», устойчивую «память жанра» при полном стирании изначальных условий его формирования. Это, возможно, самое интересное в данном феномене, но мы увидим только самое его начало.

Почему я так долго говорю о поэзии, хотя взялся, вроде бы, говорить о прозе, и не вообще о прозе, а о конкретной книге конкретного автора? Ну вот потому, что мне представляется это осмысленным, а дальше посмотрим, согласитесь ли вы с моим представлением. Итак, если поэзия принципиально расходится (или, скажу осторожней: может разойтись) не только по непримиримым художественным и даже мировоззренческим лагерям, но и на совершенно разнородные культурно-антропологические явления, то проза в общем-то так уже существует с определенной поры. И здесь дело несколько сложнее, нежели просто в соотношении «элитарного» и «массового» (опять-таки, не хочу углубляться в тему, которой посвящены целые библиотеки исследований). Дело в принципиальном расхождении самих процессов внутри прозаического письма, которое началось не сегодня и даже не вчера.

Вчера Вячеслав Курицын умилился автору боевиков («Золото Бешеного» и др.) Виктору Доценко, который противопоставлял себя Солженицыну – не в пользу последнего. Но заглянем несколько раньше. Вот как в конце благословенного XIX века лубочный писатель И.Кассиров (И.С. Ивин) выстраивал ценностную иерархию чтения: «несмотря на тридцатилетнюю борьбу с лубочниками школы, литературы, различных обществ, комитетов грамотности и частных лиц, несмотря на то, что за писание для народа взялись такие первоклассные писатели, как Л.Н. Толстой и др., несмотря на то, что уже много издано хороших и дешевых книжек для народа, в том числе произведений Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Григоровича, Лескова... и даже Салтыкова-Щедрина, несмотря на то, что все эти книжки во множестве проникают в народ, потому что за распространение их взялись сами же лубочники, как, например, Сытин, Губанов, Морозов, Абрамов и др., все-таки, несмотря на все это, “хорошие книжки” никоим образом не могут конкурировать с лубочными изданиями, все-таки симпатии народа склоняются и, по-видимому, долго еще будут склоняться в пользу все тех же старинных лубочных изданий, ибо... эти авторы были сами тот же народ или же по своим понятиям, духовным воззрениям, стояли весьма близко к народу и писали для своего же брата-мужика» («О народно-лубочной литературе», 1893).

Самое интересное, что противопоставить этому высказыванию с позиций социологии чтения нечего. Все попытки упрутся либо в абсолютизацию литературных законов Нового времени (с абсолютным приоритетом авторского начала, и – в зависимости от эпохи – либо строго следования «высоким» канонам и четким законам устройства текста, либо новизны и абсолютной воли художника-одиночки), либо в маловразумительную языковую игру в «духовные ценности», «философский смысл», «вечные образы» или «сложность художественного целого».

Этот параллельный процесс отличен от фольклора своей авторефлексивностью, даже, не побоюсь этого слова, самосознанием (и тем, конечно, ближе к таким фигурам, как Сола Монова, нежели к многочисленным авторам «пабликов»). Он никуда – от Кассирова до Доценко и далее – не девался, но мутировал в зависимости от условий, конечно. Так, при развитой советской власти (особенно в стадии торжествующей «культуры 2» по В.Паперному) массовой культуры вроде бы не было. А что было? Были ее паллиативы: дозволенная классика через школьную интерпретацию низводилась к однозначно-плоским текстам, вполне способным выполнять масскультурную функцию (если вы вспомните сакраментальный училкин вопрос из серии «Про что написан роман в стихах “Евгений Онегин”?», то поймете, о чем я). Впрочем, и в соцреализме той поры были тексты, рассчитанные именно на чтение, а не просто на существование в качестве текста, что стало нормой для соцреализма позднего периода, – другое дело, что это, собственно, было за чтение? Этот антропологический вопрос я оставлю в стороне (и на эту тему написано немало), но отмечу, что все-таки, если мы не говорим об эпохе «высокого сталинизма», в котором эстетика и идеология слились до полного неразличения, то в несколько поздние времена возникли и вполне себе советские аналоги и литературы массовой, и литературы «элитарной» (к слову, вспомним об их парадоксальной близости в советское время: том Агааты Кристи и том Булгакова стояли на черном рынке примерно одинаково).

Вспомним и вот что. Помимо «высокой литературы» («литературы, которую принято опознавать как литературу»), литературы низовой и, так сказать, *middle literature*, с начала прошлого века появилось и то, что не укладывалось в эту одномерную схему. Можно, конечно, вспомнить и более ранние примеры – от Александра Вельтмана до уж вовсе специфических прозаических маргиналий Козьмы Пруткова и самого А.К. Толстого, – но постклассическая эпоха актуализировала и постклассическое письмо, в прозе едва ли не более оторванное от какой-либо легитимной традиции. Стоит сравнить стихи, скажем, Андрея Белого из книг «Урна» и «Пепел» с романом «Петербург» – в отношении преемственности по отношению к классике. И это все же «большая литература». Но что делать с прозой Елены Гуро, Велимира Хлебникова (не сравнивать же их со «Стихами в прозе» Тургенева?). Есть примеры «предпостклассические» и в XIX веке, и на рубеже веков, но они не создавали никакой социокультурной силы. Особенно это стало ясно со второй и третьей волнами авангарда. Литература, в которой одновременно с Горьким и Серафимовичем (не будем тут различать литературу здесь и там, в данном случае это не существенно) присутствуют не только Сигизмунд Кржижановский, Константин Вагинов, и не только, с другой стороны, «Серапионовы братья», Борис Пильняк, Андрей Платонов, но и Леонид Добычин, совсем уж выпадающий из всех рамок (как чуть позже будут выпадать обэриуты, – ну, в самом деле, возможно ли, чтобы хармсовская «Старуха» и «Мастер и Маргарита» писались в одной стране на одном языке?), никак не сводима ни к литературным школам, ни к идеологическим векторам, ни даже к жанровым структурам (и «Донские рассказы», и «Встречи с Лиз» – рассказы). То же самое, кстати, мы обнаружим и в эмиграции; как возможен синхронический ряд, состоящий, скажем, из Ивана Лукаша, Набокова-Сирина и Ильязда (сознательно беру относительных ровесников).

Хороший филолог найдет тысячи связей между текстами и авторами, казалось бы, максимально удаленными друг от друга, и это он сделает совершенно правильно. Но дело в том, что постклассическая культура не дала аналогов классической системе социокультурных ниш, да и не могла, построенная на фрагментации, на взрыве или сломе как центральных концептах, ничего подобного предложить. Этого и не надо было бы, если бы кто-нибудь внятно объяснил т.н. «широкой читательской аудитории», что ныне система маркеров в литературе сильно усложнилась,

и не всегда привычная этикетка совпадает с содержимым. Конечно, тоталитарной системе легко приморозить эту ситуацию, что и было проделано (но ведь я для вящего упрощения ограничился лишь отечественной ситуацией, в европейской же и американской словесности все простекало так же, только подчас глобальней, глубже и последовательней, если можно, конечно, говорить о последовательности нелинейной, или, если уж кому угодно, ризоматической структуры). Однако при разморозке все вскрылось и потекло, да к тому ж добавились и новые социальные условия, и новые технологии тиражирования и чтения текстов.

Этот краткий социокультурный памфлет на тему социокультурной истории русской прозы оставим всецело на моей совести, однако вот что мы примерно имеем на данный момент.

Есть множество оппозиций, частично перекрывающих друг друга, частично содержащих на одном из концов нулевой элемент и, в любом случае, расположенных так, что ни двухмерный, ни трехмерный график при самых даже сильных упрощениях не построить. Можно противопоставлять идеологию (и тут не все просто – что противопоставлять чему? либеральную прозу – т.н. «патриотической»? оппозиционную – официозной? или просто идеологически нейтральной? и есть ли вообще какая-то «официозная» литература в эпоху постправды?), но это совсем не интересно. Интереснее институциональность: журналы, издательства, премии. Но и здесь все окажется нелинейно. Один и тот же издатель печатает авторов, способных при встрече друг с другом аннигилироваться. Другой знает свой круг, но круг этот подобран по не вполне ясным критериям. У журналов вроде бы есть направления, однако ж и тут всякое случается (и в случае с прозой, да, это выглядит куда более странным, нежели с поэзией). Понятия «формат» и «неформат» приобретают совсем уже эзотерические свойства, их толкование для профанов возможно лишь в том духе, что издатель и редактор хочет или не хочет что-то печатать, но ему не хватает мужества заявить об этом прямо.

Массовое и элитарное есть, но тут взаимопроникновение совсем уж тотальное, а middle literature готова оборачиваться то тем, то другим, то всем сразу, как, например, Дмитрий Быков. Фантастика и «мейнстрим», как это называют в фэндоме? Так и они срослись давно, и с чего бы им вообще позиционироваться отдельно, кабы не дурное наследие школьного представления о реализме с одной стороны, и коммерческий потенциал определенной («низовой») части фантастики – с другой. Ах да, собственно коммерческий успех? Ну, он непредсказуем, если опять-таки не выходить в область совсем уж «формульного письма», действующего по аналогии с фольклором (но оно-то как раз, судя по всему, переживает последние дни относительного расцвета – эту область, скорее всего, полностью уничтожат разного рода интерактивные виртуальные технологии). И вообще, как известно, лучше всего продаются школьные учебники, а еще лучше настенные календари.

Жанры? Да, есть определенная корреляция между жанрами и сферами бытования прозаических текстов. Так, вроде бы, «роман» – это «формат», а «рассказ» – «не формат» (см. выше). А книга рассказов? А три повести под одной обложкой? А роман, но очень маленький? Для Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – рассказ, а «Раковый корпус» – повесть, роман уже только «В круге первом», но ныне такие старорежимности не приняты. К тому же, очень благозвучная (я серьезно так думаю) эскалация non fiction перевела такого рода дефиниции опять-таки в разряд линнеевских мечтаний о безусловной типологии. И опять-таки, если не обращать внимания на объем текста, то вот «Пенсия» Александра Ильянена и, скажем, вололазкинский «Лавр» (специально беру тексты, вполне возможные в одном круге чтения) – это такие два романа, да?

Но беда любых классификаций прозы вот еще в чем: не только читатель или, хуже того, критик бывает из серии «про что» и «как», но, увы, часто и сама проза так устроена – на поверхностном, по крайней мере, уровне, хотя со времен чтения формалистами Толстого пора было бы привыкнуть к тому, что деление это надумано, и что всякое «про что» устроено «как», а всякое «как» сообщает нам «про что». В поэзии, как ни странно, речь всегда идет про «как», даже если вроде бы она «про что» (иначе откуда бы такие войны вокруг верлибра? но молчок, молчок...).

Доказать это можно элементарно: если взять поминавшийся уже вопрос училки, то, скажите, что звучит более по-дурачки: «Про что роман Лермонтова “Герой нашего времени”?» или «Про что стихотворение Лермонтова “Выхожу один я на дорогу”?» – вот то-то и оно...

Правильнее всего сказать, что нынешней единицей прозы стала книга. Это отчасти парадоксально: за двести лет мы привыкли, что поэтическая книга – это особая единица текста, нетождественная содержащимся в ней текстам. И это не то чтобы ушло, но несколько смазалось: поэзия, причем и авторов самых значительных, превосходно себя чувствует в блогосфере. Листаешь ленту, там стихи. При правильном подборе ленты поэтический обзор будет заведомо более полноценный, чем в большинстве изданий. С прозой так не очень получается, все-таки она требует несколько большего времени просто на сам процесс прочтения.

И вот в этой ситуации у прозаика возникают интересные возможности работы с книгой (не забудем, ко всему прочему, что она – впервые в отечественной традиции – стала более приоритетной формой публикации, нежели журнальная). В каком-то смысле, как сама идея поэтической книги уравнивает у меня на полке Александра Кушнера (например) и Галину Рымбу (например), так и книга прозы оказывается теперь таким же живущим в нынешнем времени, может, однодневным, но при том трепетным актантом, а не гробовой доской, как часто бывало прежде. А такой «нефинальный акт» заведомо больше располагает к приоритету эстетического содержания текста (конечно же, в соотношении с материалом и его интерпретацией, пусть бы и сколь угодно ангажированной).

Чтобы продолжить аналогию с книгой стихов, предположим, что в общем и целом главное место в этой отчасти (а может и вполне) новой ситуации будут занимать книги рассказов, причем небольших. Помимо очевидной близости малой и сверхмалой прозы к стихотворению (иначе не было бы такого межеумочного понятия как «стихотворение в прозе»), которая задается хотя бы потенциальной возможностью единомоментного охвата взглядом всего текста (недаром и в западной традиции, и порой у нас прозаические фрагменты частенько попадают в поэтические книги и соседствуют с вполне себе столбиком напечатанными стихотворениями), есть и очевидная близость в кумулятивном эффекте, который дает книга. Один рассказ в журнале запоминается ну вот прямо совсем-совсем редко (у кого-то возможно иначе, но у меня так). Скорее заметна подборка. Но настоящий эффект дает книга, потому что рассказы – это, как и стихи, элементы некоей серии вспышек авторского мировосприятия, и лишь соположенные, они дают эффект.

Можно вспомнить довольно много книг короткой прозы, произведших эффект в совсем недавние годы или чуть раньше (оставшись при этом актуальным чтением): Максима Белозора, Марианну Гейде, Линор Горалик, Аллу Горбунову, Дмитрия Данилова, Дмитрия Дейча, Вадима Калинина, Леры Манович, Евгения Никитина, Алексея Радова, Сергея Соколовского, Вячеслава Харченко, да много книг вспоминается.

Писать подробно о тенденциях современной малой прозы, однако ж, сейчас не время. Перед нами вполне конкретная книга, новый сборник Евгения Сулеса «Письма к Софи Марсо». Его рассказы мне нравятся давно. Тем интересней, чем он мил другим критиками. Известно, что самое последнее дело – цитировать blurbs, хуже – только издательскую аннотацию. Однако в данном случае, как говорится, не могу молчать, уж больно симптоматично сказанное. Собственно, меня интересует абзац, написанный Леонидом Костюковым, замечательным писателем, критиком и эссеистом, придерживающимся, что встречается редко, твердых литературных взглядов и убеждений. В ряду свойств, выделяемых авторами других высказываний об авторе (Александр Снегирев говорит о подлинности, Дмитрий Данилов – о трагическом смирении, Лера Манович – о ностальгичности) определение Костюкова куда более программно. Не могу не привести это высказывание целиком: «Проза Евгения Сулеса современна по энергетике, темпу и ритму. Но, что еще важнее, оставаясь современной, она практически полностью избегает искушений модернизма и элитарности. Эти рассказы подлинно демократичны – что обеспечивается искренним интересом автора к другим людям и не поддается имитации».



Здесь много интересно. Интересно разведение по сторонам современности и модерности, вряд ли учитывающее извивы мысли метамодеиристов. Интересно и придание не только элитаризму (это привычно, хотя и не вполне понятно, что означает в современной ситуации), но и модернизму откровенно негативных коннотаций (очень мне бы хотелось увидеть хоть один мало-мальски конвенциональный современный текст, в котором не обнаружались бы черты модернистской наследственности). Особенно интересно, однако, возведение в достоинство «демократизма», который, по мнению критика, следует из «искреннего интереса автора к другим людям» (т.е. по сути предлагается своего рода апгрейд «реализма без берегов»). Скорее всего, следовало бы задать вопрос о том, как соотносится «искренний интерес автора к другим людям» (людям, а не персонажам? искренний? ну ладно) и собственно художественное высказывание. Тетя Маша испытывает интерес к другим людям, она подлинно демократична. Следует ли из этого, что тетя Маша, предлагая ей сочинить некий текст, тут же породит замечательный эстетический продукт? Думаю, что не следует. Тетя Маша вполне может создать великолепный образец «наивной словесности», яркий человеческий документ, но это все-таки артефакт, который может быть введен в литературу лишь благодаря усилиям извне – и только на правах артефакта (о более тонких аспектах этой проблемы я много раз писал в других текстах). Вместе с маркером «подлинности» («не поддается имитации») подобная характеристика выворачивает предложенную нами оппозицию «про что» и «как» самым удивительным образом: «как», оказывается, может быть понято как своего рода псевдоним «про что»: демократичность понимается как своего рода единство формы и содержания, при котором уже не только свойства собственно текста, но и, страшно сказать, его мотивный и образный ряды, его сюжет, его идея и даже сверхидея не важны, так как любое их свойство поглощается демократизмом как универсалией. Впрочем, отмечены черты современности – «энергетика, темп и ритм», которые, наверно, должны пониматься как своего рода формальная оболочка демократизма.

Столь долгое рассмотрение цитаты из Леонида Костюкова, которым, говорю совершенно искренне, давно восхищаюсь и многие тексты которого – самых разных жанров – искренне люблю, исключительно потому, что это очень умная формулировка всего того, что мне представляется губительным при разговоре о художественном тексте. По крайней мере – при начале этого разговора.

При этом, если мы вернемся к представлению о книге прозы как о целом, сразу же станет видно, какие тонкие, нетривиальные (и вполне кстати, «модернистские») способы письма использует Сулес для создания эффекта своего рода «безыскусности» своего письма. В книге четыре раздела, довольно сильно отличные и по интонации – от гротескно-ернической до глубоко трагической, и по тематическому ряду – от гиперреалистических картин до фантазмагорий – лирических ли, комических ли. При этом строение рассказов создает еще одно измерение, не соотносимое ни с тем, что я для простоты называю интонацией, ни с трансформированным в тексте материалом. У Сулеса есть множество активно разрабатываемых способов развертывания текста. Это и компрессия, сложение событий долгого периода времени (подчас – всей жизни) в очень ограниченном объеме («Скелеты за окном», «Прощайте, сны!», «Как молоды мы были»), и метонимически соотнесенные эпизоды, создающие контрапункт («Обет»), и ретардация, нарочитое замедление действия («Первый день весны», «Бог внемлет мху»), и перемена статуса высказывания, например, от частного – к общему («Другая жизнь»), и «постепенное проступание» семантики («Бахчиванджи»), и флэшбэки («Памяти архитектора»), «ложные флэшбэки», разрыв ткани реальности или, если угодно, смещение реального и воображаемого планов («Про девочку Валю», «Тело», «Переход», «Как солдатик с войны возвращался», «Утренняя почта») и «ложная тематизация», отвлечение внимание читателя («Игорь Скляр здесь не живет»), и развертывание метафоры («Пустырь», «Близость», «Реновация»), и «обманки» («Точка»), и сюжетное «переворачивание» («Псы Господни»), и внезапная смена фабульного вектора («Концерт для члена, пианино и гавайской гитары»). Конечно же, есть и тексты, в которых эти композиционные приемы контаминируются («Месту встречи изменить нельзя»).

Это разнообразие возможных трансформаций текста становится эффективным у Сулеса именно тогда, когда оно накладывается на совершенно разные интонационные и мотивные и жанровые модулы. Олин и тот же прием неопознаваем в двух текстах, поскольку один из этих текстов – щемлящая ностальгическая зарисовка, а другой – лихая юмореска, один – трагическая исповедальная история, а другой – квазифольклорный хоррор. Именно эта «прошивка» структурными элементами разного уровня различных текстов делает их разнообразными, хотя, если очень захотеть, можно усмотреть во всех рассказах Сулеса одно-единственное первичное свойство, но это, по-моему, сильно обеднит их (точнее – подошедшего к ним с таким убогим инструментарием читателя, самим текстам-то что сделается).

Если мы вспомним предложенную мной метафору ряда моментальных снимков, складывающихся в книге в единую серию, то пример «Писем к Софи Марсо» как нельзя более удачен. Варьирование картинок по нескольким возможным параметрам создает многомерный художественный мир.

Конечно, при желании этот мир можно развернуть и прогладить утюжком, и сообщить, что перед нами либо грустные истории про жизнь, либо не очень грустные истории про жизнь, либо вообще такой стёб. Только будет ли польза от такого упрощения?

Впрочем, интерпретаторы, видящие за прозой Сулеса только некую «правду жизни», не виноваты, поскольку сам лукавый автор ведет их в этом направлении: «Он сидел в сумерках, не включая свет, пил чай с вареньем и посматривал за окно. Тёща пошла выгонять коз мимо крючковатых яблонь. Тесть чем-то стучал в сарае. На втором этаже бегали и шумели дети. А жена сидела рядом и тоже пила чай. Все были живы. Жизнь имела смысл. Жизнь была бесценным даром, и кроме нее на свете не было больше ничего. Одна жизнь» («Вещественное доказательство»).

Этот блестящий виталистический гимн легко принять за декларацию. Но: «И получается, что опять я в это лето не успел пожить *полной настоящей жизнью*. Не успел пожить.

Либо мы проживаем и не думаем. Либо думаем и не проживаем. В первом случае всё происходит, но как бы не с нами. А во втором не происходит, но с нами» («Лето»).

Я готов подобрать еще ряд цитат из книги Сулеса, и в каждой из них центральная проблема книги, если уж вы ее хотите, проблема самой возможности существования, будет акцентирована совершенно по-разному.

Поэтому в который раз возвращусь к сравнению с поэзией: вопрос о том, какой мотив главенствует в этой книг, какая сверхидея в ней содержится, в чем ее основной посыл – вопросы, сводимые лишь к возможности очень кропотливого сравнения тех разнообразных вариаций, которые предлагает автор, и каждая из которых, по отдельности, вырванная из контекста, будет превосходно звучать, но вряд ли сможет описать всю архитектуру книги.

Замечательная книга рассказов Евгения Сулеса становится в ряд других превосходных книг, от чего общая картина всей современной русскоязычной прозы ни малейшим образом не проясняется. Но, с другой стороны, я знаю человек пять, ну, шесть, которым интересна ВСЯ русскоязычная проза (с поэзией число увеличится на порядок или даже на два, кстати). Возможно, дело в изначальной, еще архаической служебной, технической функциональности прозы в ее противопоставленности поэзии, также функциональной, но на другом уровне (ритуально-мифологическом или магическом). Разумеется, если речь идет о списке скота на продажу или законодательных установлениях, глупо не спросить, «про что» текст. Постепенно эта рассогласованность исчезла, но какие-то ее следы остались. От того проступающее поэтическое начало в современной малой прозе, например, у Евгения Сулеса (поэтическое, конечно, не в ритмико-метрических свойствах, но в принципиальной открытости бесконечному смыслопорождению) вызывает у меня столь радостные чувства.



Борис КУТЕНКОВ

В КАЖДОМ НЕРВЕ БЫТИЯ

**Ольга Балла. Сквозной июль. Из несожжённого.** – [б. м.]: [б. и.], 2020. – 40 с.

**Ольга Балла. Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия.** [Б. м.]: Литературное бюро Натальи Рубановой / Издательские решения, 2020. – 464 с.

**Ольга Балла. Библионавтика: Выписки из бортового журнала библиофага.** – М.: Совпадение, 2020. – 416 с.<sup>1</sup>

Три сборника самого трудолюбивого и фанатично преданного своему делу из наших книжных обозревателей, вышедшие в этом году (вслед за «Дикорослем», который традиционно вобрал в себя психологические эссе из Живого Журнала Балла), могут быть прочитаны как три подступа к авторской личности. Первый, «Сквозной июль», совершенно отдельный, – некоторое предмыслие, – книжечка стихов с трогательным подзаголовком «Из несожжённого»: здесь собрано то, с чем, по свидетельству автора, было жаль расставаться при уничтожении архива, и то, из чего зарождалось литературное настоящее Балла («И прорастанье чутких звуков слышит / В себе – предвестье будущей души», – сказано ей как будто обо всём том жизненном этапе). Следующие два – долгожданные сборники критики – переключаются названиями с их семантикой исследователя азарта и выхваченности из пространства, а в названии «Библионавтика» слышится ещё и молодой задор, прибавляемый к традиционно понимаемой серьёзности («библио-») книжной культуры. «Пойманный свет» – собрание книжных рецензий, выстроенное исходя из авторского представления о том, какую зону внимания та или иная книга занимает в культурном настоящем, – и Балла не была бы собой, если бы эти определения не ускользали от чётких границ («книга свое-

вольничает – значит, живая», – поясняет автор в предисловии). В «Библионавтике», сходной с «Пойманным светом» по внутреннему устройству и тоже строго, но вместе с тем свободно систематизированной, названия разделов не объяснены; но героиня наша принадлежит к типу критиков со столь высокой степенью «семантизированнойности», – говоря её же словом о Марии Степановой, – что ничего случайного у неё нет и быть не может – даже в порыве творческой непреднамеренности.

(Вообще, мнится мне, что, будучи чётко и по-разному поделены на главы – поименованные ассоциативным способом, и как тут не провести аналогию с разделами поэтического сборника, – книги эти, «Пойманный свет» и «Библионавтика», чрезвычайно родственны по своим смысловым задачам. Обе представляют избранное разных лет и обе отражают скорее книжный процесс в его свободном движении, а не картину литературы. Разве что вторая, «Библионавтика», своим подзаголовком обманывает ожидания – будучи стилизована под необязательный сборник читательских предпочтений, – но выглядит именно внятным книжным путеводителем: не сборником бортовых записей, как нам это обещают в предисловии, а осмыслением книги в контексте производимой ей культурной работы – и только во вторую очередь в системе личных предпочтений обозревателя. Да и герои рецензий – от Сергея Лишаева до Михаила Эпштейна, от Андрея Таврова до Михаила Лаптева – в этих книгах во многом схожи, что позволяет говорить о внятном, предельно широко, но всё же не срывающемся в неразборчивость читательском диапазоне.)

Хотя она – иронически именуемая себя «библиофагом» и даже посвятившая различению «библиомана», «библиофила» и «библиофага» уже упомянутое игровое предисловие, – не в меньшей степени психофизиолог чтения: перелистывание, ощупывание драгоценных страниц, вид книги, сама возможность брать издание в руки для неё – самоценное удовольствие. Сборник Михаила Лаптева «Корни огня» она именует «обжигающим», и эта ме-

<sup>1</sup> Книга в настоящее время готовится к выходу.

тафора разворачивается, не будучи случайно брошенным общим местом, – а воспринимаемая в совокупности название книги Лаптева, его поэтику и критический стиль Балла, веришь, что сборник и правда способен и «обжигать» её, и поражать «необычной силой, дикой, хтонической». Процесс чтения у неё синестетичен (так и хочется сказать, используя её же внутрисетевую фольклор, что таков он «под её лапой»). «Но самое сочное в этом томе, главная его роскошь...» – такие определения не выглядят ни пошлыми, ни надуманными в заданных ею координатах, где процесс чтения – производное от фанатизма, он же – заразительное (и потому продуктивное) безумие. Вспомним её фотографии книжных завалов – «хребты» – из фейсбука; вспомним самоироничные призывы не подражать её, Балла, примеру после обильных книжных покупок; по сути, мы имеем дело с сознательным родом искреннего имиджмейкерства – во имя пропаганды книжной культуры, а не самопиара ради. «Да, чтение книг – это эрос. Одна из полноценных и властных областей его действия». Статьи, само предисловие к «Библионавтике» – незаменимый путеводитель по смысловым практикам чтения, несмотря на свою игровую природу: мы найдём тут разговор о мотивациях к чтению, о том, какие жанры лучше подходят (разумеется, самому автору предисловия) для восприятия в дороге и даже о том, как критик делает выписки для будущей рецензии. Те начинающие, кто ещё рвётся в нашу странную профессию, – не пройдите мимо.

Осознанно ли, неосознанно, – но в ореоле искреннего имиджмейкерства Балла воспитывает новый критический язык: принципиально отличный, например, от языка Галины Юзефович с её искусственными эмоциональными гиперболами<sup>1</sup>, ощущением своего авторитета и влияния на читательское сознание. Коммуникативная стратегия Балла вводит чтение в по-

<sup>1</sup> Впрочем, и аудитории упомянутые критики, понятное дело, охватывают разные, но не далее как в день написания рецензии пришлось спорить с товарищем по поводу «иконы антиснобизма» – определения, данного Юзефович Умберто Эко; товарищу эти определения кажутся точными, мне же претит гламурная лексика, проникающая в критику.

вседневный ореол как особый вид культурного чудачества и даже – говоря словами Татьяны Бек об Арсении Тарковском, – «пассионарной неуместности» читающего – и захватывает самым погружением в материал (так что мы имеем дело, безусловно, с особым типом личности – несмотря на то, что к манифестарным и даже аналитическим статьям о литературном процессе Балла не склонна. Но навигационный тип критического сознания – роль «рыбы-лоцмана», апеллируя к названию одного из сборников Юзефович, – свойствен ей, как и Галине Леонидовне, – при куда большей «неочевидности» круга книжек и авторов, нежели у её «звёздной» коллеги, и при схожей склонности высказываться о книгах, а не картине литературы, – а если о последней, то через конкретный рецензионный объект<sup>2</sup>).

Если же говорить собственно о критическом языке, Балла создаёт особый род направленной на себя смысловой практики: как пишет она о Юлии Говоровой, «способ качественного самопонимания и самоосуществления» (вообще, сложно избежать соблазна говорить о Балла её языком – настолько её голос чувствуется за её формулировками: одновременно быстрый и подробный, какой-то инокультурный. Впервые я почувствовал это, беседуя с Балла по телефону в конце 2017 года: чувствовалась секундная скорость реакции с точным, внятным выговариванием «своего» вслед за интенциями собеседника, как бы поверх говоримого им). Такова она и в критике – метко поименованная Дмитрием Бавильским на презентации «Пойманного света» «экзистенциальным писателем»; мы сказали бы об особом роде *самоустраняющегося эгоцентризма*. Художественный, первичный язык, как не раз признавалась Балла, ей не подвластен (что отчасти опровергает сборник «Сквозной июль», о котором скажем позже), и выговаривание собственных смыслов через язык вторичный – критический – в её практике тем более ценно, что далеко от эссеистического самовыражения, когда предмет разговора становится лишь отправной точкой разговора. Идя вслед за собеседником, как

<sup>2</sup> Да и само название «Библионавтика» – не эхо ли «...рыбы-лоцмана» и «Таинственной карты» Юзефович?..

в том телефонном разговоре, Балла проговаривает скрытое и важное не через «я» (слишком хорошо осознавая границы жанра, чтобы ставить себя в центр повествования: для этого есть соцсети и её дивная психологическая проза). И – не о ней ли самой наблюдение по поводу Александра Чанцева об «особенной этике высказывания» («он предпочитает говорить через чужое, по поводу чужого, отражённым светом: рецензиями, интервью, комментариями... (Разновидность осторожности? Или – что, впрочем, то же – стремление к большей обоснованности собственных высказываний, к их обеспеченности как можно большим объёмом культурного материала?)»?.. «Пойманный свет» – «отражённый свет»...

Что же до героев писаний, то привлекает её всё «неожиданное и нетиповое» (и, чудится мне, в этом Балла сближается с уже упомянутой Татьяной Бек, вряд ли даже знакомой лично, но ставшей героиней одной из рецензий Ольги в «Знамени»). Если в манифесте поэта – отсылающем всё к тому же Тарковскому с его «пассионарной неуместностью» – пылкое обещание: «Я красотой наделю пристрастно / Всякие несовершенства эти! / То, что наверняка прекрасно, – / И без меня проживёт на свете», – то критик заинтересован в контекстуализации взаимосвязей, порождаемых этим нетиповым, маргинальным, немейнстримным, – назовите как хотите (мне вот понравилось процитированное ей слово Александра Скидана – «инакопирующие»), – но в итоге становящимся «лазейками в сложившихся и слежавшихся смысловых массивах»<sup>1</sup>. То, с каким тщанием Ольга Балла исследует области, где чувствуется «таинственность мира, принципиальная невмещаемость в человеческое

разумение», позволяет видеть в ней исследователя именно периферийных областей литературы (которые, как мы знаем из Тынянова, имеют свойство перемещаться из периферии в центр)<sup>2</sup>. «Вызывает сопротивление, как всё массовое», – проговаривается она в одной из статей. Однако здесь далеко до снобизма – можно говорить лишь о нонконформности и, не побоимся сказать, особом роде полемизма. (Последнее – полемизм – правда, довольно неочевидное слово по отношению к Балла: к риторическим оценкам она не склонна – разве что походя отметит излишность спора Михаила Эпштейна с «убогой концепцией Ричарда Докинза» – и то это словечко «убогой» выглядит у неё столь инородным вкраплением, что словно бы вставлено за неё редактором).

В разнонаправленных книгах и авторах её интересует не только «одинокостоящая нетипичность» (как едва ли не тавтологически – и тем усиливающе – говорит она о Мариам Петросян) или единство личности, – а сверхзадача, далеко выходящая за пределы конкретной книги или даже суммы текстов: «выговаривание устройства мира, образующих его сил, его оснований и истоков и взаимодействие с ними человека», – так, обобщая, цитируя её высказывание об Андрее Таврове, можно было бы сказать, чего она ждёт от объектов своего внимания. Более того, Балла можно назвать синтезирующим типом критика, видящим героя на органическом перекрестье амплуа, – и кое-где, конечно, додумывающим, выводящим особый тип «исследовательской работы» из обычного проживания повседневности. (Задумался – не есть ли такой способ видения форма личной тоски критика по невозможному, род белой зависти к тому, кто не закреплён единым амплуа и может позволить себе реализовываться в разных сферах? Их, этих сфер культурного участия, у Балла две – критическая и смежная,

<sup>1</sup> «Я – складка тёмная на теле бытия, / В его суставе тяжкий вывих я» – эти строки из «Сквозного июля» звучат очень по-бековски – став частью смысловой программы, реализовавшейся у Балла в дальнейшем, но заметной в основном в психологической прозе. Прежде всего здесь важно осознание неудачничества (или, точнее, того, что понимается его носителем за таковое) как продуктивного – которое, будучи возвращённым на продуктивной базе саморазвития и труда за десятилетия (что мы и видим у Балла), способно дать мощные всходы.

<sup>2</sup> Отдаю себе, впрочем, отчёт в некоторой условности сказанного – точнее, в идентификации понятий «одинокостоящее» явление и «немейнстримное»: «пассионарная неуместность» вполне может стать мейнстримом при соответствующем критическом обеспечении, а может – именно в силу той же непохожести ни на что вокруг – оказаться незамеченной литературным процессом, и последнее, увы, встречается чаще.

редакторская, поэтому, если об ограниченности и можно вести речь, то весьма условно: скорее – о цельности типе проживания, фанатической приверженности единому роду занятий, – что, как ни крути, всё же удачнее для восприятия публикой, нежели разорванность на множество ипостасей. На этом месте рецензент горько вздыхает – осознавая, сколь тонка граница между экспансивностью и калейдоскопическим восприятием твоей работы в глазах публики).

Хотя и слово «работа»-то в контексте такого типа проживания неточное – даром что часто употребляется у Балла в соседстве прилагательного «культурная», в высоком смысле. Не могу не сделать отступление. В начале моей работы в журнале «Литература», в 2014 году, мне приходилось часто отвечать на неловкие вопросы авторов о гонорах: тогдашний главный редактор всё обещал и обещал и гонорары, и зарплаты, хитро отодвигая сроки, – журнал тем временем набирал популярность благодаря усилиям целого коллектива авторов и редакторов разделов, и отказаться от редакторства у меня не было никакой моральной возможности (даже к моменту, когда окончательно стало понятно, что все обещания о деньгах – лишь уловка). Задала вопрос о гонорах и Ольга Балла, будучи приглашена мной писать для нас, а получив мой извиняющийся отрицательный ответ, прокомментировала: «Можно же к этому относиться как к блогу»; в ответ же на моё полувозмущённое: «У нас не блог, а серьёзный журнал!» пояснила, что акцент сделан на словах «можно относиться» – то бишь воспринимать обозреваемое не как работу, а как естественный способ дыхания, оправдываемый чистым удовольствием и ответственностью по отношению к себе и читателю (деньги, по этой логике, воспринимаются как счастливое приложение к тому, что ты делал бы и так, для души. И может ли быть позиция мудрее?..). Этот эпизод живо вспомнился мне при чтении её рецензии о Василии Авченко, где она пишет, что «устанавливать связи, выявлять закономерности – не его работа; его дело – улавливать жизнь». В случае с Балла это представляется не только равно необходимым, но и нераздельным; мне уже приходилось писать в её случае об особом роде

материнства – бережной защите книги от невнимательного прочтения, которого ещё нет, но которое словно бы заранее представляется критику вредным для книги.

Эта захваченность процессом, неотделимость жизни от работы напоминает об Ирине Роднянской (ныне огорчительно редко пишущей) с её умением оставаться пристрастным читателем в сколь угодно аналитичной рецензии, радоваться и негодовать (хотя, как мы отметили выше, с негодованием у Балла меньше всего общего); от неё же – и здоровое снижение критического пафоса, которое выглядит особенно уместно, когда читатель видит и блестящий филологический анализ, и индивидуальный критический стиль. На мой вопрос в интервью «Формаслову», есть ли кокетство в этом самоупадении, Балла ответила прямо: «Честное слово, было бы глупо кокетничать в мои печальные лета, довольно уж и иных наделанных глупостей. Если откровенничать, то мне действительно очень издавна знакомо (вполне обоснованное) стойкое чувство неудачничества, того, что жизнь валится из рук и что руки совсем не так складны и цепки, как стоило бы, – и да, конечно, это стимулирует к тому, чтобы что-то с собой всё-таки делать, другой себя не дадут, будем работать с имеющимся материалом. – Единственный ли это корень всего процесса? – Ну, такой редукционизм мне тоже не мил, – ведь бывает же (и постоянно бывает) и просто интересно; есть и азарт проживания текстов, азарт мышления и высказывания. Связанный со всем этим внутренний огонь»<sup>1</sup>. (И всё же лукавит, перегибает палку в самоиронии и самоупадении – говоря в предисловии к «Библионавтике», что, мол, «библиофил» и «библиоман» – люди с «высоким коэффициентом культурного участия», в отличие от «варварского» библиофага, делающего пометки на полях книги и превращающего их в личный дневник, – и всё это на основании, мол, того, что их коллекции имеют шансы отправиться в библиотеки после их смерти. Нет, Ольга, Вам ли не знать, что подобное «варварство», «хищное» присваивание гораздо более осмысленно, чем собирательство без отдачи

<sup>1</sup><https://formasloff.ru/2020/03/01/olga-balla-nesby-vsheesya-velikaya-vesh/>

в мир.) (Кстати, не предвесье ли подобного «улавливания жизни», эмоционального соучастия в жизни книги – написанные ей в 1980 году строки о слитности сущего: «И в каждом нерве бытия дрожит / Биенье слова и биенье крови»?..).

«Я в кулаке кусочек прошлой жизни, / Чтоб не пропал, не вылетел, не вытек, / Немного подержу – и отпущу», – говорит Ольга Балла в своих очень внимательных к миру, вбирающих его подробности ранних стихах – словно бы предвосхищая этим и собственную будущую критику с её консервацией смыслов, сохранением их в культурной памяти; с её «слепками, и очень подробными, с тех периодов жизни, в которые они [книги] были прочитаны». Теперь эти слепки есть у нас в виде книг, и это счастье. В первой же рецензии «Пойманного света» она употребляет свой любимый оборот «отчаянно жаль». Зная Ольгу Балла, мы верим, что в её случае это «жаль» и «отчаянно» – не пустые слова. Мне же отчаянно – и утопически, и по-редакторски жадно – жаль одного: что не все рецензии, вошедшие в эти книги, были опубликованы в подведомственных мне разделах изданий.

### Наталья ЧЕРНЫХ

#### ТРОЙНАЯ ОПТИКА ОДНОГО РОМАНА С БРОДСКИМ

**Вадим Месяц, Дядя Джо. Роман с Бродским. – М.: Русский Гулливер, 2020. – 368 с.**

*Пропускная система сломалась.  
Бессмертия больше нет.*

Бывают книги, в которых шум и ярость времени почти приручены и больше похожи на только что открытое шампанское, чем на стихию. «Дядя Джо. Роман с Бродским» Вадима Месяца именно такая книга. Но это не значит, что она вводит читателя в мир безопасный, как музей современного искусства. В этой книге все люди и действия происходят здесь и сейчас, без возможности вернуть изображение назад. Персонажи – звезды того, что можно назвать «советская контркультура» – исчезают, затем

появляются снова; наконец, растворяются в небытии, чтобы вынырнуть из него внезапно. Эрнст Неизвестный ждет свой гоголь-моголь, чтобы добавить в него водки. Сексапильный Курехин возникает на фоне океанских волн. И только Бродский, надменный, недоверчивый, разговаривающий порой через губу, болезненно скучающий, великий и близкий (как Ленин) не исчезает. Он всегда где-то недалеко. Даже после пережившей жизнь рассказчика «смерти тирана». «Теперь все будет по-другому. У вас – особенно», – говорит главному персонажу романа писатель Милославский в финале. Да, по-другому. Но это не значит, что без Бродского.

Бродский в этом романе, кроме реального лица, жившего в означенное время и оставившего после себя некий корпус текстов, – дух, живая легенда. Это то, что заставляет случайных собутыльников рассказчика читать Дилана Томаса (которого Бродский не любит). Это те стечения обстоятельств, благодаря которым рассказчик затевает странный праздник поэзии на другом конце мира. Здесь поэзия кочует из заштатных библиотек в тюрьмы (похожие на музей), потом на улицы и в модные мастерские. Это тот воздух и тот ветер, который идет с небесного побережья, особо с человеческим выбором не согласовываясь. Пафосно, не по-бродски, но что делать, таково присутствие в нашем мире Дяди Джо.

«Дядя Джо. Роман с Бродским» в аннотации назван «тарантиновским»; да и сам автор поигрывает авантюрной мышцей, включив в эпиграфы высказывание Тарантино. Действительно, это довольно динамичное – и криминальное – чтиво. Персонажи, пейзажи, интерьеры, страны и времена летят на огромной скорости, на грани аварии, а сам автор, будто ему ничего не грозит, любит себя со стороны. Или нет, смотрит на себя глазами Бродского. Получается тройная оптика: рассказчик, персонаж, похожий на рассказчика – и Бродский. Тарантиновский роман с Бродским. Бродский бы не одобрил. Но Месяцу можно.

«Это, вообще, книга с новым устройством письма и непривычным типом повествования, “портрет художника в юности” на фоне его взлетов и падений», – пишет о «Дяде Джо» Андрей Тавров.



В случае «Дяди Джо» я все же больше читатель, чем эксперт. Книга пленила. Прежде всего прозой: «У берега вода была мутной, словно уха на плохо очищенной рыбе». Короткие тропы (автор поэт милостью Божией, но его романов, повестей и рассказов никто не отменял). Мне нравится, как здесь струятся, подобно отпущенным на волю лентам, предложения. Иногда одно, иногда два или три сворачиваются в орнамент, самодостаточный, татуировкой. Все тело этого романа – в изысканных татуировках.

*«За своей внутренней жизнью я уследить не мог, так же как за работой почек или печени. Я считал, что иметь какую-то особенную внутреннюю жизнь неприлично. Роскошь. Излишество. Я был уверен, что самые интересные вещи берутся ниоткуда».*

Бродский (в 2020 скорее популярный персонаж современной литературы, чем культовая фигура) здесь для меня возвращает утраченное величие, – несмотря на то, что показан глуповатым (порой выглядит глупее автора, предпринимчивого шалопая), неловким, самолюбленным и в общем мало что в жизни понимающим человеком.

*«Он снисходительно принимал экскурсию, постоянно делая какие-то круговые движения языком во рту. То ли ему недавно вырвали зуб и он зализывал ранку, то ли – нервный тик».*

Отличие от молодого оппонента, который вгрызается в жизнь, как в кусок мяса, и ему вкусно.

Бродский здесь (потому что роман с ним, а не с кем-то другим) сохраняет любезное мне явление единственности, о котором в отношении Гиппиус как-то обмолвился Блок. Это тот старший собеседник, которого уже нет, и с кончиной которого во вселенной автора осталась большая дыра. Дыр этих много. Например, Парщиков, с которым у автора (да и у Месяца самого) намного больше общего. Но только Бродский смог установить «американскую связь» для автора. Это было нечто вроде второго рождения. На одном из фото тридцатисемилетний Бродский в полосатой майке выглядит совсем мальчиком, длинноногий и легкий, он совсем не похож на величественные изображения более поздних лет. Вот эту остроту, легкость, моментальность Бродского Вадим Месяц и поймал.

*«– Будьте моим дядей. В огороде – бузина, в Нью-Йорке – дядька. Идет? Не отказывайтесь! Я все равно не отвяжусь. “Мы ответственные за того, кого приручили”».*

*– Вы определенно ненормальный, – Бродский нервно вздохнул.*

*– Будьте мне дядькой! – повторил я.*

*– Ладно, – он помолчал, катая языком конфетку во рту. – Дядькой так дядькой. Можете звать меня Дядя Джо. Подходит?»*

В «Дяде Джо» есть все признаки в полном, даже викторианском, смысле слова романа становления. И даже больше – это роман становления поэта (которое словно бы не до конца состоялось, но автору нравится дым недосказанности). Молодой поэт впервые появляется перед читателем студентом-физиком, затем авантюрно настроенным бродягой, затем превращается в известного писателя. Отечественные восьмидесятые, девяностые и нулевые раскладываются как веер, подробно, в наиболее характерных мелочах. Повествование о жизни автора-рассказчика идет неторопливо, но не замедленно (*как магнитная пленка*), разворачивается плавно, но расслабляться не дает. И был бы добротный, вкусный, автобиографичный роман. Но вмешался Бродский. Как неземная по происхождению специя. Как мескалито у Кастанеды. Как стихия. Но Бродский и есть стихия, что в романе отлично показано.

*«Подборку его стихотворений я увидел впервые в журнале “Огонек” – и скривился. В поэзии я искал живой, искрящейся фактуры. Выхода за пределы бытового сознания. Здесь таких задач не ставилось. Единственный урок, который я извлек из чтения, – это то, что писать можно по-разному. Нужно настаивать на своей правоте – и всё. Постепенно я привык к этим отстраненным интонациям, где скепсис мешается с горечью, но свет в конце туннеля все-таки брезжит».*

Любопытная параллель в первой части романа. Насколько живо и чувственно протекает телефонный диалог рассказчика с Бродским – настолько же мертвенно, адски холодно идет диалог с Ельциным.

В романе семь частей, каждая из которых распадается на несколько эпизодов, и в каждом – прямо или косвенно – возникает ракурс Бродского. Если прибегнуть к метафоре – ро-

ман-фотоальбом. Каждый эпизод как фотография. Оформление книги (с мрачноватыми и мягкими иллюстрациями Александры Николаенко) соответствует этому фото-образу.

«Дядя Джо» довольно необычно решает задачи мемориальности и автобиографичности в прозе. Здесь нарциссизм – художественный метод. «Я» здесь включает в себя всех персонажей, кроме Бродского, инородность которого автору (да и всему миру) дана очень скупыми, но точными художественными средствами. Метод нарцисса, назову для краткости, не нов. Достаточно вспомнить «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», например. И это несомненная удача книги, ее крупная игра в современном литературном мире.

Мне очень приятно, что в «Дяде Джо» Бродский именно такой, как описал его рассказчик, не прибегая к портретной живописи словом. Я именно таким и представляла Бродского, таким он казался мне на фото и таким я его запомню.

*«Через несколько лет после смерти Бродского я прочел в газете “Новое русское слово”, что магазин “Камкина” объявляет распродажу – цены снижены на 30 процентов. Я очень пожалел, что находился в то время в Сан-Франциско. Через неделю цены были снижены на 50 процентов. Еще через неделю на 70 процентов! Потом было объявление, “Заберите русские книги даром!” Самый большой магазин русской книги закрылся, а книги были переданы в Нью-Йоркскую публичную библиотеку»,* – этой цитатой из рецензии-мемориала старожилы отечественной литературы Сергея Алиханова можно закончить рассказ о книге.

*Ольга БУГОСЛАВСКАЯ*

...AND JUSTICE FOR ALL

**Лев Гурский. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020. – 288 с.**

Корпус произведений о торжестве некогда попранной справедливости очень велик. Объединяет их один общий мотив – торжество справедливости часто происходит благодаря вмешательству волшебства, сверхъестествен-

ных сил или ещё чего-то такого, чего в реальной жизни не встречается, как не встречается и сама справедливость. Эдмон Дантес достигает успеха благодаря волшебному кладу, тайну которого ему сообщает аббат Фариа. В романе «Мастер и Маргарита» гарантом справедливости выступает дьявол. В классическом детективе правосудие обеспечивает индивидуальный гений Шерлока Холмса, мисс Марпл, Пуаро и т.д. Пример поближе – в сериале «Молодой папа» справедливость находится в руках Папы-чудотворца. В ряде произведений, среди которых «Граф Монте-Кристо», «Десять негритяг» (новое название – «И никого не стало») или сравнительно новый роман Юлии Яковлевой «Вдруг охотник выбегает», царящая несправедливость столь вопиюща и непобедима, что единственной возможной формой протеста против неё становится ответное преступление или самосуд. Всё описанное в этих романах зло вполне реалистично, а вот воздаяние за него – фантастично. Поэтому, будучи вполне жизнеутверждающими и оптимистичными на поверхности, все эти вещи при чуть более близком рассмотрении весьма и весьма печальны, чтобы не сказать безнадежны.

«Министерство справедливости» Льва Гурского (Роман Арбитман) относится к числу именно таких произведений. В нём изображена «прекрасная Россия будущего», которая пыгается избавиться от «тяжёлого наследия прошлого», то есть нашего настоящего. В результате Славной революции пал преступный режим президента Дорогина, страна возвращается на цивилизованные рельсы: «Давным-давно в одной отдельно взятой галактике на планете Земля жила-была страна. Называлась она Россия. Так уж вышло, что история её никогда не была особенно счастливой. Страну не замечали, страну боялись, стране сочувствовали, а в последние четверть века она превратилась в такое гнилое болото, что мир предпочёл отгородиться от неё и уже почти махнул рукой. К счастью, ситуация изменилась после известных событий, получивших название Славной революции 4 декабря. Борьбаться за гниль никто не захотел, поэтому ржавые скрепы рассыпались. Подлый мир буквально за неделю канул в небытие». Главные злодеи, на которых опиралась власть Дорогина, сменили имена и пу-

стились в бега. Теперь на их розыск брошены силы специального подразделения, «маленькой организацией», члены которой называют её Министерством справедливости. Задача Минсправа – «восстановить равновесие и вернуть этому миру устойчивость», поколебавшуюся из-за того, что вокруг накопилось «слишком много неотмщённого зла». Главную роль в организации принадлежит персонажу по имени Роман Ильич, который обладает редким даром – он способен приводить в действие механизм мировой справедливости: когда он оказывается рядом с человеком, чья совестьотягчена преступлениями, внутри него срабатывают некие весы, которые и являются частью того самого механизма. В результате на голову преступника обрушивается кара, отмеренная в точном соответствии с тяжестью содеянного. В связи с вопросом о происхождении такого таланта вплывает семейная легенда о том, род Романа Ильича восходит ни много ни мало к самой богине Немезиде. У потомка богини справедливости есть трое помощников – Ася, Димитрий и Нафталин (этот персонаж отличается самоиронией). Все они тоже обладают сверхспособностями: Ася – полиглот, в чьём «рабочем активе четырнадцать языков, а в режиме архива – ещё восемь», Нафталин – оперативник, виртуозно владеющий холодным оружием, Димитрий – компьютерщик и навигатор, способный обнаружить любой объект в любой точке земного шара. К выполнению одного из заданий привлекают ещё человека, умеющего летать. Силами отряда этих супергероев в расштатившемся мире постепенно восстанавливается Великая Вселенская Справедливость. Отсылка непосредственно к ВВС позволяет несколько ослабить прорывающийся то и дело мотив самосуда.

Каждое отдельное задание – поиск и наказание, чаще всего ликвидация, очередного злодея государственного масштаба – самостоятельная детективно-приключенческая история, в которой присутствует выраженный карнавалыный элемент – высмеивание: автор с удовольствием выставляет фигурантов уголовных дел в самом жалком и забавном виде, заставляя их бояться, скрываться, унижаться. Все линии связывают две большие интриги, которые составляют конструктивную основу

романа. Построен роман вообще здорово. Он лёгкий, лаконичен, в нужных пропорциях сочетает философию и увлекательность, жанровые составляющие, злой юмор и гротеск. В описание современной России и гипотетической России будущего очень удачно вплетаются история, связанная с сумасшедшим домом, психическими расстройствами и карательной психиатрией. Этот мотив, без которого картина не была бы убедительной и полной, наводит множество мостов между романом, с одной стороны, и произведениями других авторов, от Гоголя до Кена Кизи и Милоша Формана, с другой. Но всё же главное достоинство романа в его безоглядной смелости, прямолинейности и вызывающей дерзости.

Общая картина распадается на две части – изображение того, что будет, и того, что есть сейчас. Первое – прекрасная мечта, второе – чудовищная явь. Различия между первым и вторым – список пожеланий избирателей и необходимых изменений, которые давно назрели и перезрели в диапазоне от конфискации награбленного и внедрения выборной системы до отмены мигалок. Из «клиентов» Минсправа, имеющих очевидных прототипов, можно составить перечень наиболее одиозных действующих лиц российской политики и пропаганды. Топ списка – Рогозин, Пригожин, патриарх Кирилл, Соловьев...

Акцент в романе стоит на прекрасном будущем, что и определяет его жизнеутверждающий тон. Но если сконцентрироваться на портрете современности, то от позитивного настроения не останется и следа. Уберите из романа Славную революцию и команду волшебников на службе правосудия – и вы увидите крайне неприглядную и при этом вполне узнаваемую и реалистичную картину, где наша страна предстаёт зоной тотального и доходящего до абсурда беззакония.

Для рядового читателя «Министерство справедливости» – источник вдохновения, а также инструмент психотерапии и способ выпустить пар. Что может сообщить роман Льва Гурского власти предержащим? Во-первых, те могут узнать, что о них думают и чего им желают. В этом смысле автор безусловно является «выразителем мнения определённых слоёв нашего коллектива». Во-вторых, увидеть раз-



ницу между тем, что они делают, и тем, чего от них ждут. А в-третьих, укрепиться в уверенности, что им абсолютно ничего не угрожает. Что объединяет Романа Ильича и, скажем, Робин Гуда? И тот, и другой – мечта, желаемое, далёкое от действительного. Их порождает бессилие и отчаяние. Читатель бывает очень рад, когда, например, Шерлок Холмс распутывает очередное дело и обезвреживает злоумышленника, но при этом он прекрасно понимает, что в реальности ему встретится не Холмс, а Лестрейд.

*Денис ЛИПАТОВ*

НА ЛУННЫХ БАТАРЕЙКАХ

**Изяслав Винтерман. Пчеловек: Сборник стихотворений. – М.: Воймега, 2019. – 68 с.**

Книга Изяслава Винтермана «Пчеловек» производит странное впечатление. Это словно не русские стихи, написанные на русском. То есть как инструмент русский язык применён здесь для описания понятий и образов, не то чтобы ему совсем не знакомых, но непривычных, традиционно не попадающих в поле зрения русского поэта. Это не хорошо и не плохо, но, по крайней мере, интересно. Например, в книге есть стихотворение с таким нетривиальным названием, как «Автобусная молитва в понедельник», а, скажем, стихотворение «Фантазмагория» начинается так:

Мэром – женщина. Лейтенант –  
из отдела особо тяжких –  
темнокожая. Город Нант  
дал карт-бланш ей: в многоэтажках  
уничтожить и спрос и сбыт...  
Жесть! Тридцатые по ней плачут...

Далее появляются «детектив с пээмэсом» – «глазки-молнии, стрелки-губки», и консультант-гей, появление которого приветствуется возгласом «наконец-то!» и «ура, гейюр!», что, как поясняет автор в сноске, является игрой слов, означающей, что этот весёлый консультант, кроме того что гей, ещё и ис-

поведует иудаизм, так как «гейюр» образован сращением *гей* и *гиюр*, а *гиюр* – этот как раз и есть процесс обращения в иудаизм. Согласитесь, мизансцена для русского стихотворения необычная. В финале становится понятен и смысл названия, и смысл самого мини-сюжета: вся картина дана глазами вновь прибывшего эмигранта, человека уже не молодого, с устоявшимися ценностями, и которому ещё всё здесь в диковинку, но внутренне он уже напуган новым миром, происходящей в нём «фантазмагорией»:

Смерть на кону и сердец джихад –  
и не шалом им или лехаим!  
Опасный народец... Под треск цикад  
мы на развалинах отдыхаем  
и вспоминаем минувшие дни,  
будущие... В пять часов пополудни –  
в новый мир – пусть цветут все огни! –  
добро пожаловать!.. О, как безлюдно...

Здесь, как мне кажется, чуть ли не прямым текстом обозначен главный мотив всего сборника: духовной неприкаянности героя в новом мире, чувство чужеродности себя для него, непреодолимого в нём одиночества. Возглас «О, как безлюдно!» после череды таких ярких персонажей говорит сам за себя. Развалины, на которых под треск цикад отдыхает лирический герой в финале стихотворения – безусловно, развалины старого, привычного мира, хотя по времени ещё и недавнего, но в какой-то степени уже античного – настолько молниеносны и необратимы перемены, настолько ослепительны фантазмагии, происходящие в мире новом.

Попробуем же проследить, как развивается этот мотив. Уже название книги – «Пчеловек» – даёт нам некоторые подсказки. Что это за странный гибрид – пчелы и человека? И что в нём от пчелы, а что от человека? Пчела, она ведь тоже в своём роде неприкаянная, вечная странница – от цветка к цветку, в поисках нектара, которым в итоге сама не пользуется, стараясь для других. Но нам трудно вообразить, чтобы пчела могла по этому поводу рефлексировать, поскольку она не обладает личностью, она только миллионная частица другого, большего организма – улья – она не сама

по себе. Для нас и для улья ни одна пчела не уникальна, они абсолютно взаимозаменяемы. Не то человек. Именно осознание своей уникальности, своей личности и делает человека человеком. Получается, от человека в «пчеловеке» – личность. От пчелы вечные странствия и неприкаянность, от человека – способность это отрефлексировать, осознать. То есть «пчеловек» – это пчела, которая почувствовала свою личность, свою самость, осознала (а с точки зрения улья – возмнила) себя уникальной единицей, а не взаимозаменяемой частичкой целого. Разумеется, ни в каком улье такая пчела не нужна. Как следствие, духовная неприкаянность усиливается вполне реальными одиночеством и бездомностью, пчеловек везде и всем чужой:

Я бы отрастил не живот, а жабры  
(надо меньше пить, надо меньше есть).  
Я бы спал на дне. Ноябри-декабри  
проплывут, как тень, сколько их, не счесть.  
Стал бы я далёк там, на дне и глубже.  
(И не надо есть, и не надо пить,  
трепыхаться зря...) Рыбка, приголубь же,  
ну, прости-прости, глупо торопить.  
**Я и здесь чужой**, я глотаю пену.  
То один такой, то уже не счесть...  
Тени кораблей приплывут на смену,  
я взойду на борт, принимая честь.  
(«Я бы отрастил не живот, а жабры...»)

Соответственно, с обретением личности меняется и зрение, и понятийный аппарат. Пчела не может оперировать такими понятиями, как: «любовь», «боль», «вера». Не может оценить, насколько хрупок и раним окружающий её мир, она, в конце концов, лишена способности сочувствовать. Пчеловек же всё это обретает вместе с личностью:

Я вижу мир прозрачным: колесо  
вращается и подгоняет воду.  
И звери гор, долин, полей, лесов –  
стекаются к цементному заводу  
и предъявляют счёт полубогам,  
людишкам из большого профсоюза.  
Я вижу, как прозрачны шум и гам  
и требуют не веры, а эскуза;

как мир раним и хрупок, а не твёрд...  
Железные к душе не дали яйца,  
чтоб наплевать на всю шеренгу морд,  
не чувствуя, как адской болью мается  
зверьё, людье, ослепшие кроты.  
И бог, сошедший в сонные долины  
между мирами, – лишь перекасти –  
любовь... Храни её, ещё путь длинный.  
(«Я вижу мир прозрачным:  
колесо...»)

Удивительно и то, а может быть, и закономерно, что пчеловек не становится своим и среди людей. Двойственность его природы не позволяет в полной мере ощутить себя сопричастным жизни людей, их стремлениям, их горю или радости. Самим пчеловеком это ощущается даже на уровне энергообмена:

**Кто на солнечной батарейке, а я на лунной.**  
Кто слезами жив, кто жемчужным смехом.  
И смешная жизнь кажется юной  
приезжей за счастьем и успехом.  
(«Кто на солнечной батарейке, а я  
на лунной...»)

Ещё одним приобретением пчеловека, идущим «бонусом» к личности, является, конечно, душа. Это открытие поначалу его озадачивает. Пчеловек, прислушиваясь к себе, пытается разобрататься, что же это такое, свойственно ли это только ему, или она есть у всего живого:

Ты внутри меня,  
как внутри коня,  
как внутри кота и бурундука, –  
значит, вместе мы раздуваем ноздри  
и глядим вокруг  
на траву и луг.  
И природа вся, как твоя, – дика,  
и бросает в нас кто-то с неба звёзды.

И подумаешь: может быть, это бог...  
Но и смертный тоже такое мог:  
и создать,  
и сам оценить: «Прекрасно!»  
То есть полюбить, как отец и мать,  
то есть всё принять с головы до ног:  
первый слой – Рублёв,  
а второй – Пикассо.

А снаружи свет, и трава, и снег.  
 Я дышу, люблю и вдыхаю счастье.  
 Но копытом бьёт, убыстряя бег,  
 раздувая ноздри, не человек,  
 бог весть кто – но он ко всему причастен.  
 (*«Ты внутри меня...»*)

Попутно, разбираясь с тем, что же такое душа, пчеловек осознаёт свою смертность, приходит к идее бога, к идее своей сопричастности всему живому и, как следствие, идее сотворчества богу, которое выражается в самых простых действиях: «я дышу, люблю и вдыхаю счастье». И, наконец, он поднимается до способности и права оценивать, сказать об окружающем мире: «Прекрасно!»

Обретение вместе с личностью души принимается пчеловеком как самая ценная метаморфоза, произошедшая с ним, которая перевешивает все остальные «минусы»: неприкаянность, одиночество, бездомность, ощущение чужеродности. Примат души над телом для него безусловен. Даже в моменты нервных срывов, как, например, в стихотворении «Надёжнее Крыма прохладный Париж...» пчеловек об этом помнит:

...как я ненавижу то Крым, то Париж,  
 дней пену цветную и кружев.  
**А тело откажет – душой воспарись,**  
**Откажет душа – будет хуже.**

Само же это стихотворение является своеобразным апофеозом в книге, в котором звучат все ранее услышанные нами мотивы, хотя и звучат они каким-то смятением и смешением: Россия, Париж, англичане, славяне, Крым, Коломна, какие-то Анжу и Филипп – всё здесь перемешано, словно дикая или взбесившаяся пчела носится в отчаянии от цветка к цветку:

Надёжнее Крыма прохладный Париж.  
 Все сто англичан на учёте.  
 Никто не плывёт по реке между крыш,  
 не падает с крыши, в полёте  
 крича: «Подымайтесь, день славы настал,  
 к оружию, братья-славяне!..»  
 Но я из России, я дико устал,  
 я дик по природе – не встанем!\*  
 Я жив-полумёртв, то есть полужу,

пою про Анжу и Филиппа.  
 Понятно всё-всё про меня и ежу,  
 но всё это чистая липа:  
 я тайный агент, я продался врагам  
 за домик в Крыму и в Коломне,  
 за рыжий закат над Парижем, за грамм... –  
 но совести чистой вколлот мне...  
 Я имя огласке его не предаю,  
 я больше не в пятой колонне... и т.д.  
 (*«Надёжнее Крыма прохладный Париж...»*)

(\*Не знаю, запланирован ли автором комический эффект, который возникает в этой строчке при сочетании прилагательного «дик», совпадающего по звучанию с английским ругательством, равнозначным самому обиходному русскому, тоже из трёх букв, и глагола «не встанем», но он есть.)

Далее идёт пассаж о ненависти, производящий впечатление истерики или нервного срыва, в середине которого мы встречаем уже цитированное четверостишие о душе и теле, а заканчивается стихотворение как будто библейской гравюрой Дюрера:

Я всё это помню, но память пуста,  
**И носится дух, неприкаян.**

Как видим, пчеловек заплатил сполна за привилегию быть личностью и обрести душу. Мотив неприкаянности оказался лейтмотивом всей книги.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о книге и о поэте вообще. Изяслав Винтерман поэт замкнутый, скрытный, даже холодный, словно и правда на лунных батареях. Его поэтике не свойственны какие-то автобиографические ноты. Например, не зная его биографии, а прочитав только стихи из «Пчеловека», мы никогда не смогли бы сказать, что он родился в Киеве, что прожил там значительную часть жизни, а теперь живёт в Израиле. Нет в стихах и каких-то специфических украинских или еврейских мотивов, что, в общем, прекрасно согласуется с темой неприкаянности. Винтерман предпочитает не говорить в стихах «о личном». И, надо сказать, эта позиция вызывает уважение: не всякому

понравится, когда к нему на шею кидаются с исповедью, и сама по себе пресловутая «исповедальность» не является обязательным признаком хорошей поэзии, может быть даже, в последнее время наоборот.

Нельзя не заметить склонность Изяслава Винтермана к словотворчеству: кроме самого «пчеловека» мы встречаем у него «хот-бога» (так называется первый раздел книги) и, например, «пораженщину» (в стихотворении «В этом времени было и будет в другом?..»). Интересно, что само слово «пчеловек» ни в одном стихотворении не встречается, а используется только как название книги и второго её раздела.

В небольшой рецензии на «Пчеловека» в журнале «Гостиня» (№106, 2020) Эмиль Сокольский пишет: «... Винтерман прежде всего остаётся для меня автором отдельных строк, которые сразу “цепляют” и даже запоминаются – именно в силу юмористически-иронической окраски: “Все с мобильниками – как на горячей линии, / откровения ждут мирового масштaба”; “То ветка дерева, то ветка разговора – стучат в меня...”; “Там, я январе, от чёрного пруда, / где животами мерились сугробы...”; “Я застрял на северной границе, / не могу проснуться, / возбудиться деревом и птицей, / неба блюдецem”. С другой стороны, нельзя не сказать, что если читать стихотворения целиком, то они рассыпаются на словесно-смысловые об-

ломки; правильность речи – как ни парадоксально, чужда природе Изяслава Винтермана». Всё-таки, не могу согласиться с таким мнением. И сама книга «Пчеловек», и стихи в ней показали мне вполне цельными, не рассыпающимися ни на какие «словесно-смысловые обломки». Именно собранные вместе, эти стихи как бы подхватывают друг друга, логически дополняют, развивают, ведут к одной цели, к заветной авторской мысли, вот той самой: «откажет душа – будет хуже». Ну а способность поэта создать или увидеть такой замечательный образ, как «меряющиеся животами сугробы» уже является надёжной гарантией высокого уровня стихов Изяслава Винтермана, своеобразным «знаком качества». Изяслав Винтерман щедрый поэт. В аннотации указано, что он автор более десяти книг стихов. Интересно, что первая книга, изданная в 1989 году, называлась «По дороге со всеми». Любопытно было бы в неё заглянуть. Как видно из «Пчеловека», позже эти дороги сильно разошлись, и поэт Винтерман решил идти не со всеми, что, в общем, закономерная эволюция для любого уважающего себя поэта – доказать свою уникальность, невзаимозаменяемость, обрести свою творческую личность, пусть даже «на лунных батарейках», пусть даже и ценой неприкаянности, превратившись в причудливого, невиданного никем «пчеловека».

Сергей БОРОВИКОВ

САРАТОВЦЫ

Взял для справки книгу «Писатели Саратова» (1985) и понял, что надо рассказать о них.

Книга состоит из двух разделов: I – члены СП, кого уже нет, II – члены СП, кто ещё есть, но теперь и из них в живых, включая меня, осталось четверо.

I

Виктор Бабушкин (1894–1958). Однажды видел его у нас дома на М.Казачьей. Запомнилось, что он всё время курил, причём лежа на моём диване, и громко ругал уж не знаю, сына или внука, копируя женский голос: «Витенька, сделай!» Сейчас понимаю, что был он нетрезв.

Вениамин Богатырев (1908–1985). Однажды (см. «Пустая полка», Волга, 2018, №7-8<sup>1</sup>) я уже написал о нём, что знал. Но только сейчас вспомнил, что Г.Ф. говорил, будто отец «Богатыря» служил в Хвалынске в полиции.

Павел Бугаенко (1908–1983). Написал немало в той же «Пустой полке», а ещё прежде, в 85-м небольшой мемуар «Павел Андреевич», но дополню.

В «Полке» я почти не вспоминал Павла Андреевича-человека. Произвести он мог впечатление заносчивого сухаря, но это был стиль, возможно выработанный после военных и послевоенных отсидок (см. публикацию А. Голицына «Война, плен и лагерь филолога Бугаенко» на сайте Free News Volga<sup>2</sup>). Был же он прост и порой до смешного наивен. Как-то мы в один срок жили в Коктебеле. Я поначалу чуть стеснялся ежедневного общения, так как постоянно употреблял, но был мой недавний ректор (точнее и.о.) настолько прост в общении, что винный напряг исчез. Он поведал, что сам давно находится в завязке. Обожал жену Веру Николаевну и так сообщал о её хозяйственности: «В магазин только войдём, а она уже знает, где что: “Павлик, это купим и это возьмем!”» Однажды неожиданно встретился с ним и его дочерью Светланой в вестибюле ЦДЛ. Они уходили, а я только вошел. Оба, особенно она, были приятно возбуждены, он возмущался тем, что сейчас при них в ресторане Евтушенко кричал на официанта.

Михаил Котов (1907–1972). Когда я пришёл в «Волгу», он был заместителем главного редактора. В нём было – не скажу, что приятное – соединение закоренелого советского чинуши с ценителем поэзии. Как чиновник был он в крайней степени исполнителен и послушен. Любовь к поэзии проявлялась в придирках к стихам, как отвергнутым, так и принятым. Наслаждался руководством популярного в 60-е поэтического турнира при газете «Заря молодёжи», где либерально курил в президиуме, о чем рассказывали ходившие туда мои одноклассники Боря Фаликов и Илюша Петрусенко.

В молодости Котов прославился тем, что забраковал в Смоленске поэму Твардовского «Страна Муравия», что не помешало ему сотворить книгу (1963) «В мастерской стиха Твардовского». Страдали же мы, когда к концу дня со смущенным лицом Михаил Поликарпович обходил кабинеты, приглашая всех в кабинет главного редактора в его отсутствие. Там, с неизменной сигаретой, заикаясь сильнее обычного, он читал свои новые пародии на стихи волжских поэтов. Что было ему сказать? Молчали.

Своё заикание, как мне рассказывала Ольга Гладышева, сам Котов объяснял тем, что его подростком вывели с дедом на расстрел бандиты кулаки, да пожалели.

<sup>1</sup><https://magazines.gorky.media/volga/2018/7/pustaya-polka.html>

<sup>2</sup><https://fn-volga.ru/news/view/id/132164>

Незадолго до войны уже в Саратове он случайно угодил на крупные неприятности: нечаянно, из-за часов, опоздав на 40 мин. на работу, и попал под закон, по которому опоздавшие более чем на 20 минут увольнялись, а его ещё и исключили из партии. Впрочем, тогда исключение из партии ещё не ставило на человеке крест, и в 1941 году его восстановили (сообщено Голицыным).

Был Котов малого роста и предельно щеделушен, похож на седую птичку. Не зол, вплоть до беззащитности. В последние месяцы жизни часто говорил, что в ванне ему представляется, будто лежит в гробу.

Александр Матвеев (1894–1954). Знаю о нём очень мало. Фишкой Матвеевко были абхазские сказки, так как он жил в Сухуми в 20-е годы. Его тексты встречал в тонких журналах 30–40-х годов. Кажется в «Красной Ниве» видел его очерки о знаменитом обезьяньем питомнике.

После ждановского постановления сорок шестого года, было велено искать местных Ахматову и Зощенко. Позтесс в Саратове не было, а на роль Зощенко определили Матвеевко. Почему именно его? Мне пришло в голову смешное, но по тем временам вполне вероятное объяснение: он тоже писал про обезьян...

Николай Милованов (1927–1981). Он недолго жил в Саратове и почему переехал из Москвы, не знаю. Рассказывая о столичной жизни, сыпал байками типа «Тут мне Женька Евтушенко и говорит...» Все почему-то придавали значение тому, что его сын снимался в сериале «Место встречи...» Был в завязке. Переводил стихи националов, особенно много башкиров.

Борис Неводов (1900–1957). В детстве я видел его и помню лишь постоянную улыбку и неопрятность, живо вижу его белые полотняные брюки, на уровне моих глаз все в желтых пятнах. Кажется, Г.Ф. рассказывал о таких моментах, как его служба в белой армии. Судя по всему, до приезда Коновалова ходил в первых романистах Саратова. Имел жену-стоматолога, у которой лечилась моя мать, и сына Юрия, который успел повоевать, чудаковатого старого холостяка, жившего с матерью. Он преподавал на филфаке и на потеху студентов носил не портфель, а небольшой фибровый чемодан с металлическими уголками.

Борис Озерный (1911–1958). Был одним из немногих друзей моего отца по охоте и рыбалке до появления в газете «Молодой сталинец» (1949) его статьи «В стороне от жизни». Дело не в справедливости или спорности критики, а в том, что статья шла Г.Ф. политику. Вот некоторые цитаты: «Совершенно ясно, что писатель взял для рассказа не типичное явление, исказил действительность. Бережное отношение к социалистической собственности стало неотъемлемой чертой поведения советского человека. В рассказе же, начиная от председателя колхоза и до Максима с Федором, которые предложили бросить все, чтобы спасти себя, – видно полное пренебрежение к этому незыблемому закону нашей жизни. <...> Комментарии, как говорят, излишни, если автор утверждает, что в степи все погибнет, кроме полынка и ковыля. Каждому ясно, что это не так, что описанную степь автор увидел через кривые стекла аполитичности, что это – искажение действительности принижает советского человека, значение его труда. Это плод досужей фантазии, которую Г. Боровиков пытается выдать юному читателю за правду жизни. Писатель Г. Боровиков отстал от событий, отстал от жизни, попал в плен случайностей, не имеющих ничего общего с характерными явлениями развития социалистического общества. В результате получается литературный брак».

Когда Озерный приходил потом, выпивши, то, стоя во дворе, просил прощенья, утверждал, что к подлости его вынудила жена, журналистка Роза Берлин (после смерти мужа превратила литературный псевдоним в свою фамилию). Так что позволю себе чуть оспорить утверждение моего друга кн. Голицына: «встречались люди порядочные, не подписавшие ни одного коллективного письма, не написавшие ни одной жалобы ни на кого вообще: например, поэты Борис Озерный и Николай Корольков». Печатный донос стоит письменной жалобы.

Хоть статью и признали на собрании писателей зашутательской, своей цели супруги достигли: с 50-го года Озерный стал опять (уже был в 45–47 г.г.) ответсекретарем.

Погиб он в Астрахани, попав под поезд.

Евграф Покусаев (1909–1977). На филфаке русский 19-й век вместо Покусаева нам читала А.А. Жук, так что Евграфа Ивановича я знал по отзывам других студентов, которые его любили. Помню рассказ Валерки Виноградского, который был у него в спецсеминаре, как они пришли поздравить его с шестидесятилетием, и Евграф, послушав недолго, велел заглянуть в угол, где стояла водка в ящике. Иногда я наблюдал его на редколлегиях «Волги», где все, начиная с Шундика, относились к нему с большим пиететом. Как-то, унохав табачный дым, эмоциональная Ольга Авдеева закричала: «как не стыдно Евграфа Ивановича обкуривать!», но обнаружилось, что курит именно он. Был человеком большого обаяния и редкого для провинциального вуза научного веса.

Сергей Розанов (1900–1977). Впервые я его увидел в 57 году в поселке Дедеркой под Туапсе, куда мы приехали по его рекомендации: у него там был дом. Место было дикое. Через 52 года, получив в газете долгожданный отпуск, я решил побывать на море и отправился в Дедеркой, чтобы вскоре оттуда сбежать, от мёртвого моря и невыносимых пляжников. Перед отъездом по памяти нашел розановский дом, и в дворе старушку, которая его помнила.

В 1977 году на собрании по приему в Союз писателей обычно молчаливый Сергей Константинович резко выступил против меня.

Валентин Смирнов-Ульяновский (1897–1982). В жизни Валентина Александровича было два знаковых события. Одно он вспоминал часто и до конца дней. Как об этом написано в книге «Писатели Саратова»: «Ему выпало счастье быть делегатом третьего съезда комсомола. Он слышал историческую речь Ленина “О задачах союзов молодежи”».

Об этом он десятилетиями рассказывал на собраниях и встречах на предприятиях и колхозах, институтах и школах. Особое удовольствие, думаю, ему доставляло поправлять, если учитель или вожатый скажет, что на съезде Ленин произнёс знаменитый лозунг «учиться, учиться и учиться». Нет, веско говорил живой свидетель, это слова в работе такой-то, а я сам слышал, как вождь сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которое выработало человечество».

О втором событии он не любил вспоминать. До 1924 года гражданин Смирнов подписывался Смирнов-Симбирский, а вслед за переименованием города переименовался и он.

У меня воспоминания о Валентине Александровиче юмористические. В детстве слышал, как мама говорила, что с ним невозможно сидеть за столом, потому что после второй рюмки он расстегивает брюки, чтобы показать послеоперационный шрам. А когда от месткома я был послан поздравить его с 75-летием, за столом юбиляр, с полным фужером в руке, начал говорить здравницу жене, выжившей его после операции, она стала довольно злобно вырывать у него сосуд.

Моя вторая жена была лечащим врачом у См.-Ульяновских, о чём я узнал, когда она с насмешкой отозвалась о моем обыкновении сберегать бумаги. «Зачем? – спросила Тамара Ивановна, – чтобы потом в мусорку?» На неё произвело впечатление, когда вскоре смерти писателя вдова выкинула на мусорку бесчисленные его грамоты.

Говорить всерьез о двух пьесах Валентина Александровича не приходится.

Георгий Соловьёв (1911–1972). В книге сообщается, что в Саратов он переехал в 1959 году, но это не так. На фотографии, сделанной моим отцом, стоят Соловьёв, Г.Н. Вирич и я, мне там не больше пяти-шести лет, стало быть это не позднее 1953 года. Фото сделано летом, мы на фоне дачного крыльца. Это дом матери Вирича Марины Калинниковны, где жил Соловьёв до получения квартиры. Помню его и на водном празднике на старой волжской набережной, помню очень ярко, потому что впервые видел вблизи (на Соловьёве) морскую в золотом шитье форму, а главное кортик. Фоном возникали хлопающие высоко на ветру разноцветные флажки. Думаю, это День Военно-морского флота, который в СССР отмечался 24 июля.

В конце 60-х Соловьёв получил квартиру в доме на набережной, где уже жили Тобольские и мы. В то время случилась ссора Г.Ф. и Соловьёва, который обозвал по телефону мою маму. На-



блюдал я Георгия Ивановича, когда вовсе не в форме, а часто и в пижаме, он направлялся в кафе «Ветерок», расположенное в наше доме.

Его жена Евдокия Анатольевна при встречах жаловалась моей маме на то, что пенсия уходит ему на выпивку: раньше бутылка коньяка в день, теперь две бутылки портвейна.

Был Соловьев участником ВОВ. В «Писателях Саратова» сообщено об этом так: «Во время Великой Отечественной войны Г.И. Соловьев защищал Ленинград, командовал дивизионом катерных тральщиков на Волге». На сайтах Минобороны «Подвиг народа» и «Память народа» тому есть подтверждение: с декабря 41-го был на Волге, с октября 42-го в Ленинграде. Но есть и существенное уточнение, особенно интересное, если вспомнить агрессивный патриотизм Георгия Ивановича, который однажды обернулся его дракой с товарищем по писательской организации и тоже участником ВОВ поэтом Тобольским.

9 мая 1965 года в застолье в СП в Доме книги Исая Григорьевич, не выдержав постоянных реплик Соловьева про ташкентских партизан, бросился на него с кулаками.

В нашем детстве почти у всех отцы были фронтовики. А у Ильи Петрусенко мать-еврейка прошла всю войну военврачом. Невозможно представить какого-то другого саратовского писателя способного на подлую ложь о якобы скрывавшихся в тылу евреях. И вот здесь надо уточнить военную биографию Соловьева.

В справке в «Писателях Саратова» нет лжи, но есть умолчание о том, что (цитирую сайт минобороны) «Капитан 3 ранга СОЛОВЬЁВ весь период Отечественной войны работает на ответственных должностях КНВМФ и КВФ<sup>1</sup>.

Работая Начальником ВМЦ<sup>2</sup> Штаба КБФ<sup>3</sup> с августа месяца 1943 года проделал большую работу по укреплению цензуры на КБФ.

Под его руководством улучшилась работа цензоров и совместителей в большинстве частей и соединений. Случаи разглашения военной тайны через печатные издания значительно сократились.

Капитан 3 ранга СОЛОВЬЁВ в период продвижения наших частей на запад лично выезжал в части...» и т.д.

Здесь я узнал еще об одном значении слова «совместитель», надо полагать, так назывались добровольные стукачи.

Понятнее делается его пламенный патриотизм: это профессиональное.

У отца были подаренные им книги «Морская служба» и «Отец», ни ту, ни другую я не читал, но сейчас заглянул в начало романа «Отец». «Придя домой на обед и едва заглянув в комнаты, Александр Николаевич догадался, что происходит необычное. Все в квартире сдвинулось, сорвалось со своих мест: стулья вверх ножками громоздились на голом столе; кровати стояли с обнаженными полосатыми матрацами; зеркало на стене, замазанное зубным порошком, как бы закрылось бельмом, а окна без занавесок и гардин казались лупоглазыми» - оказалось, что приезжает дочь «отца».

Виктор Тимохин (1909–1967). На войне Виктор Александрович был корреспондентом и носил звание капитана административной службы и имел, в отличие от того же Тобольского с его медалью «За отвагу», лишь «За победу над Германией», которой в 45-м награждали всех.

Как-то брал книги в СП (ещё на Вольской), и там надо было расписываться. Выводя фамилию в край страницы, я слишком размахнулся и не хватило места закончить: БОРОВИ... и я не знал, как быть. Рядом стоял Тимохин, который с улыбкой взял у меня ручку и дописал второй строкой ...КОВ. Он всегда казался добрым, да и не слышал я о нём дурного. Добрым и сонным. Казалось, вот-вот заснёт. Говорили, что с водки он перешёл на таблетки.

<sup>1</sup> Управление контрразведки (СМЕРШ) военно-морского флота, Каспийская военная флотилия.

<sup>2</sup> Военно-морская цензура.

<sup>3</sup> Краснознаменный Балтийский флот



Думаю, если издать полное собрание его сочинений, не наберётся и сотни страниц, а известен в Саратове он был очерком «Подвиг Зинаиды Львовой» о стрелочнице, спасшей жизнь мальчика ценой потери обеих ног.

Николай Чаусов (1913–1982). Не знаю ни одного человека, включая себя, который с ним встречался. В Саратов переехал в 1965 году. Умер в 82-м. Я в «Волге» работал с 71 года, когда и СП был в одном с нами помещении, но Чаусова там не видел ни разу. Почему, будучи призывного возраста, он не был на фронте? В Сети есть в эл. виде его роман «Сибиряки», 65 года. Посмотрел: писал он, конечно, не так, как Соловьев, в советское время такое письмо доброжелательный критик даже мог бы назвать и крепким.

Нина Чернышевская (1896–1975). Не видел её никогда, в дедушкином музее был однажды уже в 80-е годы, провожая туда писателя Дмитрия Жукова с женой. Её дочку, и стало быть дедушкину правнучку, Веру Самсоновну звал.

## II

Владимир Битюков (1933–2005). С его лицом можно было играть в кино предводителя разбойничьей шайки, или южнославянского вождя. Не зря его боялись редакторши. Отвергая замечания, он вскакивал во весь рост, сжимал кулачищи, а цыганские глаза делались страшны.

Я почти ничего о нём знаю, полагаюсь на то, что сообщено в «Писателях Саратова». Говорили, что в силу охотничьей страсти Владимир Николаевич чуть не месяцами пропадает в лесу.

Когда я заведовал в «Волге» отделом прозы, у нас шёл его роман «Тоска по стеклу». То, что делал этот писатель, моему анализу неподвластно. Порой казалось, что он других писателей никогда и не читал, настолько в заурядной прозе возникало вдруг ощущение полной независимости. Позднее сходное впечатление у меня вызывала проза Валерия Володина, только тот погружался в собственную диковатую языковую стихию, а Битюков находился внешне в рамках, даже в стандарте тогдашней прозы, но не оглядывался на правила. Повесть «Лесничиха» начинается так: «В войну кроме тоски по вольной мирной охоте, когда ты выслеживаешь зверя с полной уверенностью, что он не встретит тебя смертельным огнем, Порфирий познал еще и томление по никогда не испытанной чистой любви и боялся, что так и не доведется ее испытать: бои уносили тысячи человеческих жизней». Всё-таки в 1971 году, описывая фронтовика, было принято говорить не о тоске по охоте и бабе, а о защите Родины.

Языком проза Битюкова не блистала, но вдруг встречалось: «тесные глаза», безрукое плечо при работе шевелилось, «словно очень хотело помочь здоровой, но такой одинокой мужичьей руке», хрупкая учительница выжимала белье «болезненно, будто выламывала себе руки».

Восхищаться, может, особо и нечем, но загляните выше в «прозу» Г.Соловьева, которая была тогда самой типичной для саратовских прозаиков.

«Тоска по стеклу» тоже во многом диковата, но так там про завод, что бывало уже редко, гл. редактор Палькин попробовал выдвинуть роман на премию ВЦСПС, были даже какие-то напрасные ходы через Чалмаева.

Николай Благоев (1931–1992). Ему посвящён мой очерк «Третий»<sup>1</sup>.

Владимир Бойко (1933–2005). Пожалуй, к тому, что написал о нём в «Пустой полке», добавить нечего. Его аккуратные стихи были не хуже и не лучше, чем у других, но в них очень бросалась в глаза начитанность.

Павел Булгин (1933–2020). Жил он в Вольске, я редко его видал. Впечатление: открытый, хоть и мрачноватый, работяга. Стихи как у всех.

Ольга Гладышева (1936–2020). Я долго работал с Ольгой Николаевной в редакции журнала «Волга», о чем написал мемуар «Пика, тrefа, бубна, черва», напечатанный в моей книге «Пу-

<sup>1</sup> <https://magazines.gorky.media/volga/2020/1/tretij.html>

стая полка» (2019). В 1979 году отрецензировал в газете «Коммунист» её критический сборник «Почерки». Последние годы они с Б. Дедухиным жили в Хвалынске и писали вместе и по очереди исторические романы из серии «Рюриковичи».

Владимир Гришин (1926–1995). В основном наши общенья определялись тем, что Владимир Семёнович был главным редактором Приволжского книжного издательства, где вышли четыре мои книги и я был членом редсовета, а он был членом редколлегии «Волги», Ну и СП, где мы по должностям были несменяемые члены бюро.

Не скажу, что были близки, однако ни единым дурным штрихом не помечены наши отношения. Вообще, Владимир Семёнович был человеком мирным и покладистым, что в писательской среде редкость. Тесно дружил с Владимиром Казаковым. Однажды они с жёнами и я с сыном Денисом жили в Коктебеле и там не ссорились, несмотря на вздорный нрав Казакова.

Стихи Гришина были вровень со стихами лидеров саратовской поэзии Тобольского и Палькина, но он приехал к нам только в 1967 году и их популярности не достиг.

Борис Дедухин (1931–2005). Вот уж кого я знал долго и близко, но уже написал об этом в той же «Пустой полке».

Леонид Иванченко (1939–2007). По-моему, главным в его произведениях было постоянное, не обязательно фактическое, а духовное возвращение к войне, которую он пережил ребёнком при немцах.

Я мало его знал, полагал, несмотря на постоянную озлобленность, человеком порядочным и искренним, и был огорчён, когда опубликовал в 90-е статейку, где обвинял меня в редакторском произволе, убирая из его текста пьянки, хотя знал, что это тогда делала цензура в дни горбачевской борьбы с пьянством.

Самое интересное, что об Л. Иванченко знаю, так это его авторство популярных игрушечных автомобильных копий. Не он их, конечно, придумал, по всему миру этим занимались, но в Саратове именно он, как конструктор и художник-любитель.

Владимир Казаков (1926–2003). Человек большой оригинальности и литератор, хорошо знавший, что ему надо писать, а чего не следует, а это редкость у советских писателей. Но я уже написал о нём в «Пустой полке».

Людмила Каримова (1939–2019). О Люде Каримовой у меня светлые воспоминания. Я знал её по СП, знал, что была геологом, что пишет какие-то стихи, и всё. Но однажды мы три дня провели рядом. В отделение саратовского СП обратилась станция юных туристов с предложением писателям поучаствовать в поездке их детей в Волгоград. Согласились Каримова и я. У меня отец воевал в Сталинграде, и её отец там воевал и погиб.

Вот моя дневниковая запись 1984 года: «19-21 мая на “Кларе Цеткин” Областной литературный праздник “Россия, Родина моя!”. О.Л. Ковнер – станция юных туристов, Л. Изр. – учительница, ещё насупленный начальник станции юных туристов. Выставки, очень трогательные. Но огорчающие тем, кого ребята “изучают”: “К нам в посёлок приезжал Вас. Пав. Кондр.”, “Мы встречались с сестрой композитора Е. Бикташева».

Это были хорошие дни. Устроители поездки нас с Каримовой не обременяли: она охотно читала стихи, и я разок пробундл что-то ребятам. Мы с ней сблизились. Я-то поехал просто так: в редакции тогда не работал, времени свободного много, а она каждый год бывала на Мамаевом кургане. Ничего особенного в наших беседах на палубе при пробегающей за бортом волне не было, но повторю, осталась светлая теплота.

Василий Кондрашов (1937–?). Он стал известен в 90-е своей гражданской активностью, которая в основном сводилась к буйному антисемитизму. Член РНЕ, Вася, по свидетельству очевидцев, даже в трамваях размахивал флагом с партийной атрибутикой.

Когда набрал его в поисковике, чуть не первым выскочило: «Группа саратовцев обратилась к прокурору области Анатолию Бондару с просьбой проверить местные синагоги и еврейские школы на наличие книги “Кицур Шулхан Арух”. Если она будет найдена, они просят обратить внимание на содержащиеся в ней “экстремистские и человеконенавистнические призывы”. В чис-

ло подписантов входят журналисты Владимир Вардугин и Александр Климов, писатели Василий Кондрашов и Михаил Муллин, пенсионеры Иван Самойленко и Василий Соснин, предприниматель Александр Сукманов. В заявлении они написали, что «иудейская религия и еврейская нация в России не должны находиться в привилегированных условиях». «Саратов-СП».

Ну, ладно, здесь всё ясно. Оригинально же не общественно-политическое и даже не летчицкое прошлое Кондрашова (как написано в книге, «служил в авиационных частях Советской армии, летал на реактивных истребителях и вертолётах»). А то, что вряд ли кто, кроме меня, знал его литературного крёстного отца.

«Исидор Григорьевич Винокуров (р. 1907) – советский прозаик и сценарист». (Википедия).

Я не читал ни прозы, ни сценариев Винокурова, но с ним встречался. А Вася написал повесть «Рыжий – не рыжий», в 1976 году опубликованную журналом «Юность», где Исидор Григорьевич не тогда, а много раньше служил заведомо писем. Ну и что?

А то, что и в 60-е, и в 70-е годы прозой там заведовала Мэри Лазаревна Озерова, мать известного журналиста-международника Михаила Озерова.

Ну и что?

А то, что она была супругой Виталия Михайловича Озерова, секретарем которого после «Юности» стал Исидор Григорьевич. А это уже что.

Так называемых рабочих секретарей в правлении СП СССР было несколько, и вес у них был разный. У Виталия Михайловича очень большой. Соответственно и у его секретаря. Думаю, малоуспешный писатель Винокуров был до конца дней благодарен своей «юношеской» коллеге Мэри Лазаревне за то, что порекомендовала его своему супругу. Рассказывали, что он идеально вошёл в роль и даже стал говорить, как все преданные слуги, не он и я, а мы. Даже так: «Мы вчера говорили с Леонидом Ильичом...» И поди не поверь, если у «бульдозера»<sup>1</sup> связи необъятные.

Мэри Лазаревне почему-то очень понравилась повесть застенчивого и отощавшего видимо от недоедания саратовского парня, и она поручила его другу Исидору. И стал Вася ездить по всяким молодым совещаниям, где его отмечали и дальше рекомендовали, а Вася, чтобы не остаться в долгу, стал обеспечивать отдых на Волге супругам Винокуровым с внучатами, чему я был свидетелем.

Каюсь, что получилось длинно, но как иначе донести своеобразие Васиного пути от крыши Исидора до крыши РНЕ.

Григорий Коновалов (1908–1987). О нем писано-переписано, да и я не раз это делал.

Иван Корнилов (1935). Корнилов начал сразу как профессионал, да и всю последующую жизнь так писал и жил. Но, как ни странно, это не сделало его прозу подлинной. Он не мог ни провалиться, ни взлететь. И ведь не просто писал, но в подражание Золя изучал тему будущей книги не наездами-наскоками, а непосредственно включив её в собственную жизнь, например, нанявшись ночным грузчиком в Крытый рынок. Но из того, что в результате написал, в «Волгу», как помню, мы так ничего и не взяли.

А разве не плюс то, что он никогда не был в тогдашних СП-лагерях: публиковался и в «Юности» и в «Молодой гвардии». Словом, одни плюсы, но его книги не радовали открытиями, почему?

В поисках ответа я вернулся к имени Золя. Когда-нибудь кого-нибудь волновали его романы? Писал их всю жизнь, а восторженных читателей приобрёл за статьи. И один русский писатель пришел на ум – Юрий Нагибин. Его ценили, но впервые взволновала многих лишь публикация распахнутого «Дневника». Любопытно, но сейчас, по делу, я набрёл на очень похожие мысли у двух критиков именно в отношении Нагибина и Корнилова.

«Смутила в рассказе молодого писателя уверенность, что такой утилитарный подход к писательству (сегодня вечером посидел с девчонкой, завтра вставил её в свой рассказ» (В. Кочетков о Корнилове).

<sup>1</sup>Эпиграмма: «Рожденный от двух бульдозеров Виталий Михайлович Озеров».

«Приведу лишь пример, как опытного писателя путь поисков рождения классических образов в непосредственно бытовых реалиях приводит упрощенному результату. В “Сне о Тютчеве” <...> идёт поэт и сочиняет: “бреду”, болят у него ноги – “тяжело мне, замирают ноги”, вечереет – в стихах тут же появится «Улетел последний отблеск дня» (С. Боровиков о Нагибине).

И закономерно, что именно Иван Михайлович много лет руководит в Саратове объединениями молодых писателей, где учит их азам литературного мастерства.

Павел Лебедев (1926 – 2014). Мальчишкой он ушел на фронт, и война стала смыслом, содержанием его жизни, а профессией было собирание военного фольклора. В «Писателях Саратова» написано так: «В противогазной сумке постоянно носил толстую тетрадь с поговорками и песнями. Одни из них пели солдаты батальона, другие услышал от участников дивизионной агитбригады. Третьи “перекочевали” из военных газет. Записи беспрерывно пополнялись».

Лебедев издал десятки сборников «Песни Великой Отечественной», «Пословицы и поговорки Великой Отечественной» и т.д.

Я принимал это как данность, пока однажды Дедюхин мне не сказал: «Он всё новый фольклор без конца находит, а где его берет? Вот мы печатаем “Песни, рожденные в траншеях”, это что, какой-то дед очнулся и спел их Павлу Фёдоровичу? Да и кто сочинял песни в окопах? бред! Он из старых газетных подшивок армейских и дивизионных газет берёт песни и поговорки, а писали их политруки в редакциях – вот тебе и весь фольклор!»

И я открыл один из принесенных Лебедевым сборников пословиц:

«За советскую нашу свободу мы готовы в огонь и в воду».

«Мы всегда готовы в бой за Союз наш трудовой».

«Где власть народа, там победа и свобода».

«За народное дело бейся смело».

Иван Малохаткин (1931–2011). Писал о нем всё в той же «Пустой полке».

Валентина Мухина-Петринская (1909–1993). Вспоминать сейчас Валентину Михайловну стала в связи с голицынскими разысканиями о предвоенной жизни саратовских писателей, их доносах и их допросах, ссылках, посадках и расстрелах. Тогда Мухина была из немногих, кто не сдался.

Она и в старости производила впечатление силы на собраниях, где я единственно её и видел, в «Волгу» она не приходила.

Её книг я не читал.

Таисия Наполова (1924 –?). Она жила в доме рядом со 2-м почтовым отделением, где я бывал почти ежедневно, и мы часто сталкивались, но только здоровались. Однажды она меня тормознула и предложила к ней зайти. Я, конечно, отказывался, но Таисия Тарасовна уверяла, что нам крайне необходимо поговорить. Чего-чего, а настырности в ней было с избытком, как и во мне вялости: постоял, томясь от зноя у раскаленной телефонной будки, и наконец сдался. Мы поднялись на высокий, кажется пятый, этаж. Едва вошли, она предложила располагаться и сразу указала на сервантик, уставленный, по-западному, бутылками, и предложила отведать. Я понял, что ей чего-то от меня надо, и она, прослышав о моей склонности, решила с неё и начать. Примитивно вроде, но в её духе. Пить я отказался, а она заговорила. Оказалось, что мне необходимо помочь, ведь я только что стал заведующим отделом критики, а это большая ответственность, и она, как более опытный и расположенный ко мне человек, берет на себя смелость дать несколько советов.

Советы свелись к тому, что мне надо окружать себя людьми правильных взглядов, строже подходить к подбору авторов, а главное, не допускать на журнальные страницы сионистов.

Если вы спросите: как я реагировал, отвечу: никак, всегда предпочитая не спорить, а не обращать внимания.

И ещё раз она сделала попытку вразумить меня, уже в бытность мою главным редактором. Это было после публикации большой работы Геры Макаровской. Смешно, но тогда же на меня наехала на редколлегии профессор Е.П. Никитина. Но там была старинная филфаковская вражда,

а Наполова, как оказалось, ненавидела Геру неистово, заклиная не верить этому страшному по её словам человеку.

Последний же эпизод, связанный с Наполовой, относится к 1990-му году, когда, осознав, что новый Закон о печати даёт такую возможность, мы, т.е. трудовой коллектив (по инициативе Владимира Потапова), решили сами стать учредителем журнала, выйдя из принадлежности СППо примеру «Октября». И был собран пленум правления СП РСФСР. Послушав там, как громят Ананьева, полюбовавшись на спавшего в соседнем кресле Евгения Носова с новенькой «гертрудой» на пиджаке, я вышел из зала, чтобы выпить в «пестром» буфете. Я предавался известной Наполовой слабости в коньячном формате, когда объявили перерыв и в буфет повалили писатели. Не помню кто, увидев меня, закричал: «Сидит, а там его разоблачают!»

Оказывается, после «Октября» принялись за «Волгу», для чего на трибуну вышла приглашенная из Саратова Наполова.

Критических статей ее я не читал, но когда из Сети узнал, что, словно в пику тандему Дедюхин-Гладышева, Таисия принялась за историческую романистику, полюбопытствовал. Как вам такое начало: «Он правил Россией в “бунташное время”. Силу при нём взяли “временщики” – столичные властные лица, получившие особые полномочия при дворе. Они держали в руках самого царя и находили разные способы “затеснить и обидеть многими обидами простой народ”. Как и прежние государи, Алексей не считался с мнением народным, подавлял бунты и усердно молился Богу».

Это об Алексее Михайловиче Романове, отце Петра Великого, сам же роман «Царица-матушка» о его матери Наталье Кирилловне Нарышкиной. А когда дальше встретим: «За высоким забором каменной кладки в тени разросшихся лип прятался известный в придворных кругах своими журфиксами особняк», то на страницу, как говаривал Бунин, хочется плюнуть. В середине XVII века, по мнению романистки, бояре тешились журфиксами,

Но вернусь к книге «Писатели Саратова», где в биографии Наполовой меня озадачила скорость её пути наверх. До 19 лет уроженка черниговского села успела получить педагогическое образование и поработать в двух средних школах двух областей. А вскоре была вызвана в едва освобожденный Харьков (сентябрь 43-го), чтобы по заданию ЦК комсомола Украины отправиться на работу в областную газету еще бывшего под немцами Чернигова, где, недолго поработав в «Деснянской правде», понадобилась «Комсомольской правде», направившей её в Сталинград.

Что ж, время было военное, и всякое случалось.

Юрий Никитин (1935). Написал о нем в «Пустой полке».

Николай Палькин (1927–2013). Не раз писал о нем и мог бы сослаться на «Пустую полку», но вспомнив, что за Палькиным предстоит Исай Тобольский (1920–1995) – решил написать о них в связке.

Они были в Саратове соперниками и недругами. Оба были, конечно, людьми одаренными.

Палькин начал со свежих песенных строк, которые легко ложились на музыку, её писали хорошие композиторы и фирма «Мелодия» даже выпустила диск, где их исполняли Зыкина, Трошин, Кобзон и Воронеж. Некоторые песни живы до сих пор, как «По тропинке снежком запорошенной», но по мере набора профессионального, а главное общественного, веса Николай Егорович всё больше тяготел к громким словам:

Когда я шёл к тебе подростком  
Через луга, через ручьи,  
Зажгли во мне любовь к берёзкам  
Твои, Россия, соловьи.

Даже Волга стала у него какая-то общественно-политическая:

Там, вдали, встаёт из-за туманов Горький,  
Кремль его и вал,  
И Казань, где юноша Ульянов  
Азбукой борьбы овладевал.

Тобольский начинал тоже с простых, но не любовных, а детских стихов. Однако к велеречивой назидательности всегда тяготел.

И укрощая вал девятый,  
Его неистовый разбег  
Летел под парусом крылатым  
И спорил с бурей Человек!

Удивительное сходство стихов этих непохожих людей нагляднее всего проявилось в том, что оба, часто помяная природу, никак её, извините за выражение, не конкретизируют. Если у одного тасуются условные берёзки и соловьи, то для второго столь же условные рощи, горы и поля повод воскликнуть:

Ищите радость!  
Отправляйтесь в рощи,  
Шагайте в горы,  
Шествуйте в поля,  
Торжественней,  
Таинственней  
И проше  
Там говорит  
И думает земля.

Ладно, чего уж там: в России даже Андрей Дементьев имел много поклонников, а наша парочка с ним одного поля ягода.

Виктор Политов (1935–2004). Вновь адресую к «Пустой полке».

Владимир Пырков (1935–2010). Аналогично.

Екатерина Рязанова (1915–2002). В книге «Писатели Саратова» цитируется безымянный «соратник по перу»: «Самой замечательной чертой Е.М.Рязановой как писательницы и как человека, следует считать её активное, наступательное вторжение...» Не знаю, как писательницы, я её книг не читал, но о человеке в самую точку, и ключевое слово здесь «наступательное».

Екатерина Михайловна была женщиной крупного телосложения, часто и не очень добро улыбавшейся, и если дать одно определение, то – долговязая. Думаю, в бытность учительницей ученики её слушались.

Я наблюдал её исключительно на собраниях, в журнал она не ходила, а профсоюзные и партийные собрания у нас с СП были общие. И ей очень шла роль председателя, со всеми этими «Будем голосовать списком или поимённо...» и проч. Однажды мне довелось видеть очень её рассерженной и услышать её коронную фразу: «Я знаю: все вы придёте плясать на мою могилу!»

Виктор Сафронов (1938–2012). См. «Пустую полку».

Владимир Стрекач (1930–2003). См. «Пустую полку».

Владимир Чекменёв (1938–1989). Я довольно выпукло описал его в какой-то главе «Русского жанра».

Михаил Чернышев (1937–1998). Я лишь раз видел его на собрании, когда нас принимали в СП, так как он, с трудом передвигавшийся инвалид, почти не выходил из дома. Стихов его не знаю,

но порадовался, когда в «Литпамятниках» вышло наиболее полное собрание Д. Веневитинова с его комментариями.

Константин Шилов (1945). Удивительно: и почти ровесники, и Костя, и на ты, а он был и остался для меня загадкой. Давно уехал в Москву, а на днях я случайно узнал от своего главного информатора кн. Голицына, что живёт Костя в Переделкино. А пред тем по ТВ случайно увидел фильм про Марка Бернеса, автором и ведущим комментатором которого был Шилов. Нет, я ничего сейчас про Шилова не знаю, а в далекие года нас разделяли, как мне казалось, уж очень разные вкусовые пристрастия, и прежде всего отношение к Борису-Мусатову. Я не понимал и не понимаю его значения для русского искусства, хотя могу повторить читанное на этот счёт. И не то что не люблю, нет, скорее симпатично, но не более. Сомов и тот по-моему был значительнее, а уж в великом ряду других мирискусников его не вижу. Когда Шилов выпустил о нем книгу в ЖЗЛ, я грешным делом подумал, что они и внешне схожи, ростом, фигурой, лицом.

Куда большее впечатление на меня произвел подготовленный им двухтомник П. Анненкова «Материалы к биографии Пушкина».

Галина Ширяева (1932). Написал о ней в мемуаре «Пика, трефа, бубна, черва».

Иван Шульпин (1945–2018). Я уже писал о нём («Пустая полка», Волга, 2028. №7/8). У нас за долгие годы не было ни вражды, ни дружбы, ни, как я полагал, взаимного интереса. Однако оказалось, что с его стороны был, притом весьма специфический.

Вот что писал мне в начале 90-х известный историк патриотического лагеря Сергей Семанов: *«Недавно тут были ходоки из Саратова, с одним, очень интеллигентным, поговорил, он примерно Ваш ровесник. Спросил его, почему – вопреки Писанию – Вы сделали из Павла Савлом? – Как, разве Вы не знаете? – спросил он, а далее, как писали в старинных романах, «поведал тайну вашего рождения».*

*На языке Семанова это означало: узнав, что я скрытый еврей, он понял, почему оторвался от их лагеря.*

Я рассказал о письме Семанова Наталье Шульпиной, когда в редакции она делилась впечатлениями супруга о поездке в Москву. Растерявшись, стала уверять, что Семанов произвёл на Ивана неприятное впечатление своими разговорами про евреев.

Словом, нашли общую тему.

\*\*\*

Вот и весь мой обзор книги «Писатели Саратова» и её героев.



Алексей ГОЛИЦЫН

## ДВОРЯНИН ЮСТИЦКИЙ И БЕСПРИЗОРНИК ГОРШЕНИН

*Несостоявшийся побег из Саратова через афганскую границу*

В середине декабря 1934 года в Саратовское управление НКВД на ул. Дзержинского поступило заявление о подготовке к преступлению против советской власти.

*«Посещая квартиру известного мне скульптора-художника Горшенина Николая Петровича по Ленинской улице в доме № 125 я несколько раз заставал у него каких-то неизвестных мне лиц называвших себя студентами венгерского института Спиваком, Минеевым, и Пигаревым.*

*Они вели между собой контр-революционные разговоры. Один из них Спивак высказывался за необходимость убийства вождей партии. Они же сговаривались для каких-то контр-революционных целей нелегально бежать за границу и пытались в это вовлечь меня. Прошу принять меры к этим врагам СовВласти»<sup>1</sup>.*

Рукописный текст не датирован, но дважды подписан: «Юстицкий. Мой адрес Гоголевская 97 кв 2. Юстицкий В.М.».

К моменту написания этого заявления художник Юстицкий находился в фаворе. За несколько недель до событий, 26 октября 1934 года саратовский крайком выдвинул его во всесоюзный оргкомитет художников и направил в отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) следующую характеристику:

*«Тов. Юстицкий Валентин Михайлович имеет производственный стаж художника и педагога 17 лет. Среди художников Саратова считается одним из талантливых и культурных художников и пользуется авторитетом среди художников и студентов художественного техникума. Принимал участие в заграничных и московских выставках, имеет ряд ценных работ. Ведет педагогическую работу в художественном техникуме, активный общественник. Работает в качестве члена Оргкомитета художественной выставки»<sup>2</sup>.*

Скульптор Николай Горшенин, приглашавший гостей, по иронии судьбы, в будущий Дом художника, напротив, имел основания для недовольства властью. Его карьера достигла пика в 1932 году, когда горсовет доверил ему сделать памятник борцам революции. Проект уже был принят, газета анонсировала открытие монумента к 15-й годовщине революции, но что-то пошло не так, и предыдущий деревянный памятник, на месте которого должно было быть установлено произведение Горшенина, продолжал ветшать на центральной площади Саратова. Скульптор, ваявший ранее композиции «Звуки», «Ветер», а также бюсты Сталина, жил теперь, по собственному признанию, «частными заказами госучреждений и лиц».

Биография его нестандартна.

Николай Петрович Горшенин родился 9 мая 1904 года в Покровской слободе, родителей не помнил, беспризорничал. В 1919 году вступил в комсомол и отправился на фронт вестовым штаба 4-й армии. Служил конвоиром в Одессе, причем попал под трибунал за пьянство и продажу поясного ремня. Недолго был курсантом 12-й Ульяновской краснознаменной пехотной школы. В 1924-м демобилизовался, с 1925-го учился в Саратовском художественном техникуме и в 1930-м окончил

<sup>1</sup>Здесь и далее цитируется уголовное дело ОФ-35155.

<sup>2</sup> ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 112.



Одесский художественный институт. Стал скульптором, вернулся в Саратов, участвовал в выставках, получал заказы, не бедствовал, нанял подмастерья.

Женился на бывшей воспитаннице детдома на 10 лет моложе себя, получил квартиру в шикарном доме на центральной улице Саратова и зачем-то поселил у себя трех юнцов, выгнанных из ветеринарного института.

В начале декабря 1934 года в гости к Горшенину стал заходить «профессор живописи», как он представлялся, Валентин Юстицкий. Что объединяло 41-летнего дворянина Юстицкого, 30-летнего беспризорника Горшенина и первокурсников-ветеринаров, непонятно. Однако в компании часто выпивали и вели такие разговоры, что в конце концов Юстицкий решил не ждать, пока его арестуют, а самостоятельно пойти в НКВД. В противном случае ему грозила уголовная статья за недонесение.

20 декабря Юстицкого допрашивал начальник IV отделения секретно-политического отдела УНКВД Лихачевский.

*«Горшенина я знаю несколько лет. Он бывший беспризорник. По профессии скульптор-художник. Его политические убеждения мне до последнего времени были не известны. Спивака, Минеева и Пигарева – студентов Ветеринарного Института, как они себя называли, я не знал совсем. Познакомился с ними в квартире Горшенина в первых числах декабря 1934 года. Наше знакомство началось с того, что Горшенин, отрекомендовав мне Спивака, Пигарева и Минеева как хорошо ему знакомых приятелей, просил, чтобы я достал для Спивака и Пигарева, через какого-либо знакомого врача справки о том, что они больны малярией в течении целого месяца с ноября по декабрь. Я на это ответил, что такие справки врач, не видя больных, не даст. Я никакой помощи в том им не оказал. По приглашениям Горшенина, цель которых стала для меня ясной только впоследствии, я в течении декабря с/г посетил его несколько раз – 4 или 5.*

*4 декабря я, будучи у Горшенина, спросил его: думает ли он ваять Кирова. Горшенин ответил утвердительно, а воспользовавшийся этой темой разговора Спивак заявил: «Сегодня у всех траур, а у нас радость» и тоном сожаления добавил: «Мы думали, что уже Сталин лежит, а оказывается только Киров. Надо всех убивать и в первую очередь Сталина».*

*Это злобное, гнусное <онтр>-Р<еволюционное> заявление Спиваком было сделано в присутствии Горшенина, Пигарева, меня Юстицкого и жены Горшенина – Нины, находившейся в комнате. Меня ошеломило такое заявление Спивака. Я тут же сказал присутствовавшим о недопустимости таких контрреволюционных заявлений, сказал, что за такие намерения привлекут к ответственности. И при этом спросил Спивака, который рекомендовал себя комсомольцем: “Как же вы комсомолец, а имеете и заявляете о таких намерениях?” На это Спивак ответил: “Ну и что же, я комсомолец, а смотрел, как я думаю” От Горшенина я вышел одновременно с Спиваком. Куда он направлялся, я не знаю, но пошел по пути со мной. Дорогой Спивак опять мне заявлял, что существующие условия в жизни в СССР нужно изменить, что для этого необходимо убрать – уничтожить руководящее ядро партии и советского правительства, что только тогда будет лучше. Тут же он мне говорил, что с такими убеждениями он не один, что у него есть единомышленники. Что он имеет возможность достать оружие. Что в случае какой-либо неудачи, он легко может нелегально перебраться в Румынию не только сам, но и помочь своим единомышленникам. В выходной день примерно дня через два, т.е. 6 декабря я зашел к Горшенину. Дома оказался сам Горшенин, его жена Нина, ученик Горшенина Сибикеев Михаил и названные мной студенты Спивак, Пигарев и Минеев. Я начал обсуждать с Горшениным вопросы его работы, а Спивак и Пигарев в это время, взяв тетрадь Горшенина, писали в ней фамилии членов правительства и контрреволюционно объясняя значение каждой буквы. Я, возмущившись этим, вырвал у них тетрадь, а Горшенин, взяв её у меня, вырвал лист, на котором они писали, и уничтожил его.*

*Спустя несколько дней, семь или восемь, кажется 14 декабря меня Горшенин пригласил зайти к нему. Я пришел перед вечером. <...> В разговоре Спивак стал говорить, что он родился в Галиции, что в 1933 году он был за границей в городе Вильно, где пробыл две недели, что он нелегально не-*

сколько раз переходил границу. Рассказал, как это делалось. Подробности я хорошо не помню. Затем Минеев сказал, что он тоже был за границей, что он якобы нелегально уходил в Афганистан, имея при себе много золота. И Спивак, и Минеев расхваливали жизнь за границей и заявили, что они намерены вновь бежать за границу и совместно с Горшениным стали уговаривать меня присоединиться к ним. Я категорически отказался, обругал их и отозвав Горшенина в его мастерскую, устроенную в теплом коридоре, стал ему упрекать в том, что он связался с какими-то неизвестными, крайне подозрительными и явно контрреволюционными типами.

Горшенин ответил мне, что этих людей он знает хорошо и им доверяет. Поняв, что меня хотят вовлечь в какую-то контрреволюционную авантюру, я оделся с тем, чтобы уйти. Тогда Минеев и Спивак начали меня предупреждать, чтобы о происшедшем я нигде ни слова никому не сказал, угрожая в противном случае убийством.

Встретив на улице, на второй или на третий день после этого, Горшенина, я, пользуясь тем, что он один, еще раз пытался указать ему на недопустимость его поведения. Я ему говорил: "Ты советский скульптор, советская власть дала тебе знания, положение. Ты можешь создать себе известность, уже начал создавать. Что тебе делать за границей, зачем тебе связываться с какими-то преступниками и т.п." Говорил, что даже сам нелегальный переход границы, по-видимому вещь не такая простая, чтобы это можно было бы легко и безнаказанно сделать. Но Горшенин в ответ на это мне заявил, что им нужно бежать за границу, что там они будут жить не хуже, чем в Советском Союзе, что Спивака, Минеева и Пигарева он знает, как опытных людей в этом деле».

25 декабря арестовали и скульптора Горшенина с женой, и трех живших у них студентов.

Горшенин сразу же стал рассказывать о планах бегства за границу, и чем они были вызваны:

«Я был связан с Спиваком Петром, Минеевым Алексеем и Пигаревым Александром студентами Саратовского Ветеринарного института. Основой нашей связи была общность антисоветских взглядов. [Они заключались] в стремлении жить по-буржуазному, а у отдельных из нас в частности Спивака Петра в резко выраженном контрреволюционном отношении к соввласти – ярким показателем этого является одно из заявлений Спивака Петра сделанное среди нас: "Надо уничтожить всю руководящую головку, тогда будет лучше". Это относилось к вождям компартии и совправительству. <...>

В первых числах Декабря м-ца с/года, в моей квартире, по Ленинской улице в доме № 125 Спивак Петр и Минеев Алексей подняли вопрос об организации бегства из СССР. Намерение это ими видимо обсуждалось еще раньше, т.к. подняв об этом вопрос Минеев Алексей и Спивак Петр сразу же начали излагать план перехода границы. По их плану нам необходимо было собрать около ста тысяч /100000/ рублей денег с тем чтобы обменять их на золото, достать оружие и выехать всем в г. Кушка, Туркменской ССР, в районе которой совершить переход границы. Минеев говорил, что совзнаки на золото можно будет обменять через какого-то ему известного контрабандиста, живущего в Афганистане и занимающегося переброской контрабанды из Афганистана в СССР и обратно. После перехода границы мы должны были издать брошюрку с провокационными сообщениями о СССР.

На мое замечание, высказанное в момент осуждения этого плана, а если нас во время перехода границы поймают, то ведь расстреляют, Спивак ответил: "Ну и что же, пусть расстреляют".

Я, вначале колебаясь дать согласие на их предложение, спросил: "А как к нам отнесутся за границей".

Минеев меня успокоил, заявив: "пустьки они будут гордиться тем, что из Советского Союза бегут художники"».

На допросе также выяснилось, на какие средства заговорщики планировали перебраться через границу. Еще до переезда к скульптору Спивак, Минеев и Пигарев похитили из конторы Зернотреста две пишущие машинки, чтобы продать их в Астрахани за 30 тысяч рублей. Плюс

Горшенин рассчитывал выручить за свои скульптуры 12 тысяч. *«Недостающую сумму мы должны были получить путем совершения грабительских налетов на Урале и в Туркмении»*, – записано в протоколе допроса Горшенина.

О пишемашинках студенты узнали от Алексея Минеева, чья мать работала машинисткой в Зернотресте. Он же, вероятно, предложил бежать из страны через южную границу, т.к. летом 1932 года ездил к отцу в Ташкент и прожил у него месяц.

*«Взяв карту, мы определили целесообразным организовать нелегальный переход границы в районе одного из городов, расположенных на афганской границе. С целью получения средств, я внес предложение похитить пишущую машинку в Саратовской конторе Зернотреста. Я Минеев, Спивак и Пигарев совершили покражу, но не одной, а двух пишущих машинок»*, – зафиксировано в протоколе допроса Минеева.

*«Первоначально возникшую мысль о переходе западной границы СССР, мы отвергли по настоянию Спивака, доказывавшего, что западная граница СССР тщательно охраняется и нелегальный переход ее немислим. Мы решили совершить нелегальный переход Юго-Восточной границы СССР в сторону Афганистана, считая, что в этом отношении она представляет больше возможностей, как якобы менее бдительно охраняемая»*, – через несколько дней подтвердил ранее сказанное Минеев.

Во время следствия также выяснилось, что никто из заговорщиков никогда не был за пределами СССР, за исключением разве что Юстицкого, который родился в Вильно, учился в Париже и жил в Берлине и Вене.

Алексей Минеев признался, что *«за границей я нигде не был, но признаю, что на квартире Горшенина – ему, Спиваку и Пигареву в момент обсуждения плана организации нелегального перехода границы, я говорил, что будто бы был в Афганистане, границу которого нелегально переходил при содействии одного знакомого мне контрабандиста, с которым якобы познакомился в г. Ташкенте. В Ташкенте же я действительно был в 1932 г. Это обстоятельство способствовало тому, что нелегальный переход границы, мы решили совершить именно в сторону Афганистана в районе г. Кушка, в местности мне якобы уже известной. Тем более, что Пигарев Александр говорил, что он также хорошо знает окрестности города Кушка»*.

Александр Пигарев, бывший комсомолец, отчисленный из ветинститута за прогулы, дал характеристику подельникам:

*«Горшенин мне известен, с его слов, как бывший беспризорник, он старался завоевать авторитет у руководящих работников края. Для отдельных учреждений делал сравнительно за недорогую плату скульптурные работы»*.

Минеев Алексей – способный в академической успеваемости студент. На подготовительных курсах в ВУЗ был старостой группы. Как-то летом текущего года говорил мне что плохо живет с семьей, состоящей из его матери и неродного отца и какой-то старухи. Подробности своих неполадок в семье он не рассказывал.

Спивак Петр – непонятный для меня замкнутый человек. До последнего времени <...> он не нуждался в средствах, т.к. у меня не было денег, он оплачивал все мои расходы и записывал их в свою записную книжку. <...> Спивак, резко критикуя наше неважное материальное положение, упрекал меня и Минеева в том, что мы не умеем жить и при том высказываемся о стремлении попасть за границу. В такого рода обсуждениях принимал активное участие и поддерживал Спивака Минеев, говоривший, что он якобы однажды уже был за границей в Афганистане. Перспективами более лучшей жизни они предложили мне бежать вместе с ними за границу. Я на это дал свое согласие».

Со слов Пигарева выходило, что идеологом группы был Спивак:

*«Я, Пигарев, до знакомства моего с Спиваком не был антисоветским человеком. В процессе знакомства с ним, он в ряде бесед о положении в СССР доказывал мне, что при советской власти свободы личности нет и хорошо жить невозможно. Роскошно жить можно только за границей. Впоследствии на этой почве я уже разделяя К.Р. убеждения Спивака, согласился на его предложение принять участие в К<онтр>-Р<еволюционные> работе. Предложение Спивака сводилось к тому, что нам не-*

*обходимо бежать за границу, с тем, чтобы там начать К<онтр>-Р<волюционную> деятельность, направленную против СССР. Спивак в квартире Горшенина Николая Петровича говорил: "Переждем границу, явivism там к властям, заявим о том, что нам Советский строй ненавистен, и предложим свои услуги использовать нас для борьбы с ним"».*

Арестованная жена Горшенина Нина Сергунина объяснила, откуда в переполненной коммуналке, где, кроме них с мужем, жили ее мать и сестра, взялись отчисленные студенты. Пигарев работал в жилотделе при горсовете и, вероятно, каким-то образом способствовал семье скульптора в получении квартиры.

По словам Сергуниной, студенты «на занятия в институт не ходили и говорили, что у них сейчас отпуск и занятий нет». Жена Горшенина вспомнила день, когда к ним домой пришел Юстицкий: «13 декабря была устроена выпивка, на которой присутствовали: Горшенин, Спивак, Пигарев, Алексей, профессор-художник Юстицкий и я. Алексей рассказывал о том, как он был за границей и хорошо там жил один месяц. Алексей сказал, что он и Спивак собираются поехать за границу и начали вместе уговаривать Горшенина и Юстицкого ехать с ними за границу. Юстицкий к такому предложению отнесся со смехом и назвал их глупцами».

Нина уточнила, что у Минеева была кличка Алешка Тайфун, и все трое студентов «играли в лото, в карты, раза три устраивали выпивки, практиковались метанием ножа в дверь и иногда хулиганили». А также чистили пишмашинки, запирая при этом двери и запрещая хозяевам квартиры рассказывать об увиденном. Чистить хрупкие механизмы пришлось потому, что при переезде в квартиру Горшенина студентов остановил милиционер и поинтересовался, что они несут. Напуганные похитители утопили пишмашинки в двореком сортире, а затем несколько дней подряд приводили их в товарный вид.

Конспираторы они были никудышные, поскольку об украденных машинках узнал даже подмастерье скульптора 16-летний Михаил Сибикеев. Он же рассказал чекистам, что студенты называли Николая Горшенина кличкой Колька Шабарша.

Следствие закончилось. Горшенин, Спивак, Минеев и Пигарев обвинялись в подготовке побега за границу. Им вменялись статьи 58-11 и 58-11 «а» УК РСФСР (всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений).

Сергунина, по версии следствия, «знала о подготовке указанных лиц к совершению этого преступления и укрывала последних, что подпадает под признаки ст. 58-12» (недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении).

11 мая 1935 года в клубе им. Дзержинского началось судебное заседание, которое длилось с перерывами два дня.

Трое «студентов» признали себя виновными в хищении пишущих машинок, Пигарев – в том, что вел разговоры о поездке за границу, Спивак – в том, что не донес об антисоветских разговорах. Горшенин признался, что «скрыл воров», а его жена – единственная – вины не признала.

На суде Минеев вспомнил, что «во время выпивки Юстицкий стал рассказывать, что он родился в г. Вильно, бывал за границей. Спивак на это сказал, что он тоже был за границей. Спьяну я сказал, что тоже был за границей и весь вечер рассказывали друг другу, кто как жил за границей. Никто, конечно, этот разговор всерьез не принимал, никаких планов перехода границы мы не обсуждали. Выражаясь попросту, только "трепались" – и все. Был еще один случай разговора на эту же тему, но говорили о жизни за границей вообще и никаких конкретных планов перехода границы не обсуждали, никаких мотивов и причин для побега за границу у нас не было и мне казалось, что никто этих разговоров всерьез не принимал, средств на это не изыскивали».

Отвечая на вопросы членов трибунала, Минеев еще раз повторил: «Разговор о заграничье первым начал Юстицкий, он говорил, что там хорошо живется, а затем этот разговор был подхвачен остальными. У кого первого возникла мысль побега за границу – не знаю, считаю, что никто всерьез переходить границу не собирался. Это было просто пьяная болтовня, разговор велся бесцельно и безотносительно. Что бы мы стали делать за границей, об этом разговора не было. Спор о том,

какая граница лучше охраняется восточная или западная был, но это совсем не связывалось с вопросом перехода границы, я действительно в момент разговора подходил к карте, но не затем, чтобы показать, где перейти границу, а показывал, где я жил за границей. На самом деле я не жил там – это только болтовня пьяного человека и хвастовство».

Пигарев: «Горшенин мне говорил в этот момент, что надо сказать ребятам, что бы они бросили болтать о загранице, а то узнает НКВД и могут подумать, что тут на самом деле что-то есть серьезное. Позднее в разговорах в пьяном виде Минеев говорил, что он жил в Афганистане, встречался там с турчанками и англичанками, ухаживал за ними. Я лично не придавал этому никакого значения, зная, что Минеев вообще любитель похвастать. Разговор о Кушке был, потому что я жил в Кушке в интернете. Никакого плана перехода границы у Кушки мы не намечали».

Антисоветские проявления отрицал и Горшенин:

«Я говорил Спиваку, Пигареву и Минееву – “Ребята, бросьте разговор о загранице”, – всячески старался их от этого удержать. “Уж если вам хочется за границу, заплатите по 50 коп. и поезжайте в Немреспублику”.

Спивак был действительно сложная фигура, его трудно было разгадать. Он говорил, что у одного старателя на Урале есть 6 пудов золота, это золото надо достать. <...> Был такой случай, когда Спивак на листе бумаги напасал фамилии СТАЛИНА и ВОРОШИЛОВА и стал их расшифровывать в контрреволюционном смысле. Я у него эту бумажку вырвал и предложил ему убраться с квартиры. Когда читали газету об убийстве КИРОВА, Спивак сказал – “Мало их бьют” – Это все, что я слышал от Спивака.

У меня на квартире была выпивка, где присутствовали я, Спивак, Юстицкий и Минеев. Во время выпивки Юстицкий завел разговор о Вильно, Англии; разговор этот подхватили остальные и с этого началось. Начали говорить, что бывали за границей Минеев, Спивак. Цель и задач о переходе границы мы не ставили и за границу бежать не собирались».

Николай Горшенин простодушно рассказал судьям о сделке со следствием, и удивительно, что эти сведения также попали в протокол: «То, что записано в показаниях, этого на самом деле не было. Это уловка следователя. Следователь рекомендовал давать ему эти показания для разоблачения кулака Спивака. Для этой цели я и давал эти показания. Я считал, что это моя обязанность, тем более, что следователь относился ко мне хорошо. Когда у меня не в чем было ходить, он дал мне туфли, которые сейчас на мне. Следователь мне даже обещал дать свидание с женой. В свою очередь, я шел следователю на уступку. Так, мы долго с ним ряздились по вопросу о том, сколько я обещал денег на цели побега за границу, и сошлись на 12 тысячах рублей. На самом деле, я никаких денег давать не собирался».

Горшенин счел нужным пояснить свою гражданскую позицию: «Я заверяю трибунал, что никогда за границу бежать не собирался. Мне нечего там делать. А если бы мне надо было поехать за границу, я мог это сделать официальным путем, мне правительство Немреспублики давало значительную командировку как художнику. Я выращен, воспитан и выучен советской властью и Красной армией, и никогда мои действия не были направлены против советской власти. Все мои произведения были направлены на борьбу с классовым врагом на пропаганду идей социализма, в искусстве я стою на точке зрения социалистического реализма и веду беспощадную борьбу с футуристами».

Очередь давать показания дошла до Валентина Юстицкого лишь вечером:

«Зайдя однажды на квартиру Горшенина, с которым я давно знаком, застал там выпивающими Горшенина, Спивака и Минеева. Во время этой выпивки они завели разговор о том, что они собираются перейти границу. Разговор носил резко контрреволюционный характер. Было это вскоре после убийства тов. Кирова. Наиболее остро в этом разговора вел себя Спивак. Все они, т.е. Горшенин, Спивак и Минеев собирались совершить побег за границу. Когда же разговор зашел об убийстве тов. Кирова, Спивак сказал “надо и других вождей партии убить”.

Из их разговоров я заключил, что они предлагают и мне вместе с ними бежать за границу. После этих разговоров я стал говорить Горшенину: “Одумайся, на что вы решаетесь”. Горшенин мне ответил, что он знает этих людей и знает, что делает.



Разговор о переходе границы был не один раз, но подлинные их планы мне известны не были. Слышал, что они для этой цели изыскивают средства. <...> По общему тону их разговора я заключил, что у них были серьезные намерения и держались они в этом отношении конспиративно. Верно, разговоры большей частью происходили во время выпивки, но сами выпивки были умеренными, и компания себя вела строго. <...>

С Горшениным я знаком лет 7-8. Раньше за ним ничего контрреволюционного не замечалось, по своим политическим взглядам он вполне советский человек и его последний поступок, связь с этой подозрительной группой людей – для него нехарактерен. Что творчество вполне советское и ярко-агитационного направления и содержания. Для меня кажется очень странным, как Горшенин мог впутаться в это дело. Жил Горшенин то очень шикарно, то слишком бедно, часто выпивали, а когда выпивал, то едва ли разбирался в компании, хотя определенно об этом сказать не могу. <...>

Конкретно они мне не предлагали ехать с ними за границу, а говорили, что такой художник как вы за границе был бы ценен. Я это понял, как приглашение ехать вместе с ними. Вначале я к этому отнесся как к шутке, а позднее понял, что это не шутка. <...>

С Горшениным я дружил, как с человеком живым, общительным и всегда считал, что он способен делать ценные и хорошие в смысле художественном вещи. В то же время недостатком его считал его малый кругозор, отсутствие работы над собой. Он даже не читал художественной литературы. <...> При правильном направлении в работе из Горшенина выйдет хороший и способный художник».

В результате Спивак был признан виновным в контрреволюционной агитации. Горшенин, Пигарев и Минеев – в недоносительстве на Спивака. И кроме того, Спивак, Пигарев и Минеев – в краже имущества из государственного учреждения. Сергунина была оправдана.

Спивак получил 6 лет лишения свободы, Минеев – 4 года, Пигарев – 3 года. Горшенин был приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы, но в итоге, с учетом отбытого – к исправительно-трудовым работам сроком 10 месяцев и 9 дней с оплатой 80% заработка.

Спивака, Минеева и Пигарева оставили в тюрьме, а Горшенина выпустили под подписку о невыезде.

Валентин Юстицкий был уволен из художественного техникума еще 30 января 1935 г. «За систематические прогулы (первый квартал 52 часа), срыв производственной программы, за игнорирование административных распоряжений, за злостное умышленное игнорирование общественной работы (нежелание участвовать в педагогических совещаниях, заседаниях). За разлагающую работу среди студенчества, пьянку и стягивание студентов, тов. Юстицкого снять с работы преподавателя живописи», – говорилось в приказе за подписью В.И. Никитина<sup>1</sup>.

Через 10 лет, в «Заметках об училище»<sup>2</sup> Никитин написал об истинных причинах увольнения Юстицкого: «Формализм, другие измы, богема процветали в то время в училище. Учебы серьезной не было, а было натаскивание, вкусовщина. Была ставка на мастера, хотя это ничем не обеспечивалось: ни программами, ни постановкой педагогического процесса, ни методами воспитания. Авторитеты художников-классиков не существовали, их не признавали, будь он русский, француз, итальянец любого века. Репина Юстицкий называл иллюзионистом и т.п. <...> Представители педагогического коллектива поддерживали идеологическую направленность «Искусство для искусства», «Искусство беспартийно и т.п.» (Уткин, Юстицкий). И так было до 1930 года. <...> Оказавшись у небольшого руля, я принял следующие меры: 1) стал создавать более или менее здоровый, квалифицированный коллектив педагогов. Для этого настоял на приглашении в училище Щеглова И.Н., закреплении Белоусова и обязательном введении общеобразовательных дисциплин <...> 2) Добился введения школьного режима <...> и даже ввел звонки (что крайне возмущало Юстицкого)

<sup>1</sup>Никитин Владимир Ильич (1896–1960-е?) – с 1923 г. педагог, с 1928 г. – завуч Саратовского художественного училища. Член Союза художников с 1939 г.

<sup>2</sup> ОХАМ СГХМ им. А.Н. Радищева. Ф. 369. Оп. 2. Ед. хр. 160. Л. 119-120.

*<...> Переходить к этому было очень трудно, так как заражены были измами, левизной не только педагоги (Юстицкий, Егоров и др.), но и целое поколение учащихся».*

Чем Юстицкий занимался после января 1935 года – пока не установлено. 3 октября в газете «Коммунист» появилась заметка о том, что «Саратовский краевой санаторно-курортный трест приступает к художественному оформлению курортов края. Организована специальная бригада художников под руководством худ. В.М. Юстицкого... Вся предварительная работа должна быть проделана в течение зимы с таким расчетом, чтобы художественное оформление было закончено к началу курортного сезона 1936 года». Однако известно, что Юстицкий покинул Саратов в 1935 году и переехал в Каширу.

Встречались ли после суда дворянин Юстицкий и беспризорник Горшенин, неизвестно.

Как сложилась судьба осужденных «студентов», не смогла выяснить и Саратовская областная прокуратура, которая реабилитировала их в общем порядке в 1993 году.

Памятник, установленный в центре Саратова на братской могиле жертв революции, надолго стал головной болью для местных властей. В первую годовщину переворота, 7 ноября 1918 года, над кирпичным склепом установили деревянный обелиск с тремя винтовками и шлемом на вершине. Захоронения там производились с 26 мая 1918 до 21 мая 1921 года. Тогда памятник находился недалеко от задней стены Радищевского музея.

Монумент по проекту Горшенина, как мы помним, в ноябре 1932 года так и не был воздвигнут.

*«Могилы борцов революции на площади Революции никем не охраняются. Венки растащены. Склеп превращен в притон “шпаны”. Такое позорное отношение к памятнику революционерам не терпимо. Нужно немедленно обеспечить охрану могилы и сурово наказать людей, допустивших безобразия»,* – писала газета «Саратовский рабочий» 4 ноября 1932 г.

Весной следующего, 1933 года «президиум горсовета предложил... в 5-дневный срок привести в порядок памятник и сквер и обеспечить ежедневную уборку сквера. Лесопарковый комбинат разбивает вокруг памятника газон. К первому мая сквер будет освещен. В сквере установлен круглослужбный пост милиции»<sup>1</sup>.

В мае 1934 г. горсовет объявил новый конкурс на памятник, на этот раз с участием «комиссии красных партизан и красногвардейцев». И опять ничего не вышло. Деревянная конструкция продолжала ветшать и рассыпалась в 1935 году. На ее месте долго лежала каменная плита, которая исчезла при строительстве бомбоубежища под площадью Революции. Современный памятник работы скульптора В.И. Перфилова был открыт лишь 7 ноября 1957 года.

Рядовой Николай Горшенин ушел на фронт 5 сентября 1941 года. Стрелок был призван Кировским райвоенкоматом в команду № 350, и дальнейшая судьба его неизвестна. Жена не получила от него ни одного письма. В 1951 году военком сообщил Нине Сергуниной: «Считаю возможным учесть Горшенина Николая Петровича пропавшим без вести в ноябре 1941 года».

<sup>1</sup>Саратовский рабочий, 27 апреля 1933 г.

**Контакты:**

**Анна Сафронова** (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

**Алексей Александров** (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

**Алексей Голицын** (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

**Олег Рогов** (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

**Алексей Слаповский** (*проза*)

*Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>*

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:

<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 19 октября 2020 г.

Журнал отпечатан в типографии  
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.